

Хэмоуел

SEATTLE PUBLIC LIBRARY



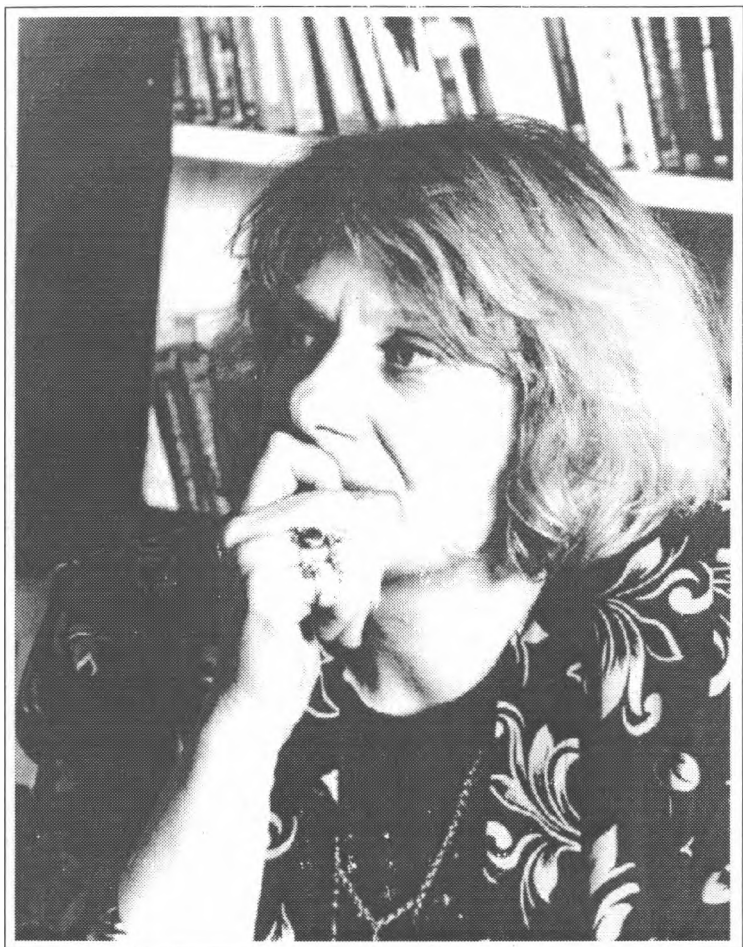
0 01 00 3824384 5

Людила
Петрушевская

Название

Людмила
Петрушевская





Homework

Татьяна
Любимая
Петрушевская

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ПЯТИ ТОМАХ

Т **Л**юдмила
Пе́тр^ушевская

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ 2

ИЗ ПЯТИ КНИГ

РЕКВИЕМЫ

В САДАХ ДРУГИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ПЕСНИ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

ТАЙНА ДОМА

КАРАМЗИН (ДЕРЕВЕНСКИЙ ДНЕВНИК)

**HUMANITIES DEPARTMENT
SEATTLE PUBLIC LIBRARY
1000 - 4TH AVENUE
SEATTLE, WA 98104**

**ХАРЬКОВ · ФОЛНО ■ МОСКВА · ТКО АСТ
1996**

Серия «Настоящее»
основана в 1995 году.

Редактор
Инна Борисова

Иллюстрации
Ирины Затуловской

Художественное оформление
Веры Хлебниковой

Оформление суперобложки
Юрия Модлинского

На суперобложке использована
авторская фотография
Бориса Михайлова

Координатор издательской программы
«Настоящее»
Михаил Топоринский

Петрушевская Л. С.

ПЗ0 Собрание сочинений. В 5 т. Т. 2. Из пяти книг/
Худож.-ил. И. Затуловская; Худож.-оформитель В. Хлеб-
никова.— Харьков: Фолио; М.: ТК0 АСТ, 1996.— 367 с.—
(Настоящее).

ISBN 5-7150-0316-4.

Второй том собрания сочинений Л. Петрушевской включает рас-
сказы, известные и новые, объединенные в циклы «Реквиемы», «В садах
других возможностей», «Песни восточных славян», «Тайна дома», а также
деревенский дневник в стихах «Карамзин».

П 882000000

ББК 84(2Рос-Рус)

ISBN 5-7150-0316-4 (т. 2, Фолио)

ISBN 5-7150-0314-8 (общ. Фолио)

ISBN 5-88196-798-4 (т. 2, АСТ)

ISBN 5-88196-796-8 (общ. АСТ)

- © Л. Петрушевская, 1996
- © Иллюстрации. И. Затуловская, 1996
- © Художественное оформление. В. Хлебникова, 1996
- © Суперобложка. Ю. Модлинский, 1996
- © Фото на суперобложке. Б. Михайлов, 1996

ИЗ ПЯТИ
КНИГ



РЕКВИЕМЫ

▪

В САДАХ
ДРУГИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

▪

ПЕСНИ
ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

▪

ТАЙНА ДОМА

▪

КАРАМЗИН

(Деревенский дневник)

■
РЕКВИЕМЫ
■



Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ

С течением времени все его мечты могли исполниться и он мог бы соединиться с любимой женщиной, но путь его был долог и ни к чему не привел. Единственно, что сопровождало его весь этот долгий и бесплодный путь, была журнальная картинка с фотографией любимой женщины, причем только у него на работе некоторые были в курсе того, кто сфотографирован там: ноги и ноги, и все, довольно пухлые, босые, в босоножках на высоких каблуках: она сама сразу признала себя, и сумочку свою, и подол своего платья. Откуда она могла угадать, что фотографируют именно ее нижнюю половину, фотограф выскочил на улице и щелкнул раз и другой, а опубликовали только юбку и ноги. Он, тот человек, о котором идет речь, держал эту фотографию у себя дома над столом на кнопках, и жена ни в чем ему не перечила, хотя была строгой женщиной и повелевала всем домом, даже матерью, а затем

и детьми, не говоря уже о дальних родственниках и своих учениках. Однако, с другой стороны, она была добрая, хлебо-сольная, щедрая хозяйка, только что детям не давала спуска, и мать при ней жила смиренно, лежала на койке, читала внучатам, пока могла, наслаждалась теплом, покоем, телевизором, да и потом смиренно и долго умирала, уже почти неживая, но затем тихо убралась.

Он же, схоронив тещу, теперь терпеливо дожидался, пока умрет жена. Почему-то он знал, что она умрет и освободит его, и готовился к этому очень активно: вел здоровый спортивный образ жизни, занимался по утрам бегом, баловался даже гирями, ел все только по системе и при этом успевал много работать и дослужился до заведомо, ездил по заграницам — и все ждал. Его избранница, хорошенькая пухлая блондинка, мечта каждого мужчины и чуть ли не Мерилин Монро, работала у него прямо под боком и иногда выезжала с ним в командировки, и там-то и начиналась настоящая жизнь: рестораны, гостиницы, прогулки и покупки, симпозиумы и экскурсии. Как он тосковал по ночам, вернувшись из рая в ад, в теплое, небогатое гнездо, где клубилась громоздкая неповоротливая семейная жизнь, где болели, сходили с ума и бесновались дети, мешая сосредоточиться, и их надо было усмирять, и дело доходило до ремня, после чего отец чувствовал себя еще более униженным и оскорбленным; жена сама кричала на детей, жена не успевала ничего, еле поворачивалась, в доме, как полагается в каждом порядочном семействе, жили еще кошка и собака, и кошка хрипло вопила по ночам, когда приходило ее время, а маленькая собака лаяла на каждое пришествие лифта, и именно ночами отцу этой семьи приходилось особенно несладко: он лежал в своей постели и, погружаясь в тоскливые мечты, жаждал тепла, покоя, прелести, исходящих от его незаконной подруги в период командировок, — в остальное время блондинку тоже доставала жизнь, муж и свекровь буквально садились ей на шею, свекровь заставляла по субботам скрести всю квартиру вплоть до протирки кафеля в ванной аммиачным спиртом! Муж напиивался и не пускал бедную на служебные вечеринки, на дни рождения и т. п., всегда скандалил перед командировками, подозревал, они вдвоем со свекровью сжимали ее, как Сцилла и Харибда, и кроме этого, они еще и скандалили между собой, муж и его мать. Свекровь донимала бедную блондинку, почему ее муж никогда не закусывает и вообще мало ест, даже это

ей ставилось в вину! Блондинка на работе жаловалась вскользь, была потаенная и ничего не вываливала ему прямо в морду, как это делала жена. Бывают же такие женщины, думал, разметавшись на постели, одинокий муж, а за стенкой приплакивали и вскрикивали во сне его дети, мальчик и девочка, и храпела его жена-сердечница, все более старая и все более любящая. Вот уж уму непостижимо, как она, старая старуха сорока с гаком лет, его любила и ему угождала! Она-то, похоже, и вообще никогда не верила в то, что он ее любит, что этот шикарный, с седыми висками мужчина ее муж, и вечно тушевалась и отказывалась с ним ходить куда-либо вдвоем. Шила себе платья сама по единому незатейливому фасону, длинные и мешковатые, чтобы скрыть полноту и латанные чулки, на которые вечно не хватало денег. На языке многочисленных гостей и родни это называлось «одеваться скромно и со вкусом», гости приваливали толпами на все праздники, обожали ее пироги, пышки и салаты — это были все ее гости, ее одноклассники, сверстники, родственники — они помнили ее молодой, симпатичной, с ямочками, с толстой косой, и не замечали, что она уже не та, уже погасла.

Действительно, она давно уже плюнула на свою косу и ямочки, ухаживала за мужем и за матерью, следила за детьми, преданно бегала для хозяина своей жизни на базар, никуда не успевала, но приходила всюду каким-то чудом вовремя, так старалась жить по порядку — и естественным образом ночами просиживала на кухне за книгами, уложив всю семью, или прирабатывала теми же ночами на той же кухне, или готовилась к занятиям. Придя с работы, она рассказывала байки о своих студентах и иногда готовила ведро котлет и ведро каши, и к ней приходили ее ученики, приносили цветы, робко галдели, съедали абсолютно все и тешили свою преподавательницу пением несуразных коллективных песен. Но это бывало, если господин уезжал в командировки, только так.

Когда родились дети, мальчик и девочка, то и тут первая ее мысль была о муже: его проводить с завтраком на работу, его встретить горячим обедом с работы, выслушать все, что он хочет рассказать. Был только один перерыв, когда начала умирать и в течение трех лет умирала ее мать, тут было все брошено и кое-как шло, неизвестно как, и отец семьи завтракал один тем, что ему было поставлено, и обедал тоже один, сам себе накладывал и уходил в свою комнату туча тучей, но все же гроб нес первым, в ногах покойной, и был неотличим в своей непритвор-

ной тоске от остальных. После похорон мамашина комната стояла пустая, закрытая, не было сил, да и хозяйка тихо сопротивлялась, спала в большой комнате с детьми, вернее, сидела все так же на кухне, сон от нее ушел.

У мужа тоже, одновременно, это был тяжелый период, его любовь стала капризничать и требовать полной, независимой семейной жизни, отказывалась с ним ходить под ключ в пустую квартиру к знакомым, как он уже наловчился ее водить в обеденный перерыв, и даже пошла дальше: кокетничала с соседними комнатами и в буфете, и мужички, почуяв, что она «ослабла на передок», по выражению коллег, проторили в ее комнату тропу, и телефон звонил, и кто-то заезжал за дамой на машине и т. д. Наш муж принял муки ада, любовь и долг прогрызали его насквозь, он занял твердую и неуступчивую позицию в адрес своей подруги, хотя и иногда облегченно плакал у нее на плече, если удавалось. Что было делать! Жена при всем своем отчаянии все-таки заметила, что муж как-то подсох, что глаза его нехорошо остановились и он весь как бы улетает. Жена очнулась, быстро сделала ремонтик в материнной комнате и поселилась там с детьми, а большая комната снова стала местом встреч, бесед и малых праздников, и муж выходил к гостям как отец чудных детей и глава дома (а не бездомная брошенная собака), и любимый, почитаемый в виде божества муж (а не третий с конца претендент на собачьей свадьбе). Теперь завтрак подавался ему прежде всех, было даже вдруг шито несколько новых платьев из штапеля, по воскресеньям жена стала уводить детей в долгие походы, то в парк, то в цирк, то в планетарий. А в комнате мужа все висели над столом пухлые босые ножки под юбкой и на каблуках: он не сдавался.

Наконец грянул гром, и тот муж блондинки, наш муж, как его звала между собой незаконная парочка, совсем разошелся, разбушевался, погнался за блондинкой с топором, та заперлась в ванной до вечера, а вечером как-то ушмыгнула из дому, звонила нашему герою из автомата, он срочно убежал к ней, вернулся чуть ли не под утро, утром его опять снял с постели страшный, как все известия на рассвете, звонок: того мужа его родная мать обнаружила в петле на двери. Разумеется, следующий месяц бедная новая вдова провела в какой-то сердобольной семье друзей, к себе ее наш герой пригласить все-таки не решился, да и там, в той дружеской семье, хозяйка как-то собралась с силами и проводила вон из дому к другим

людям печальную блондинку, слишком хорошенькую в своей траурной бледности, что было невыносимо наблюдать со стороны, тем более что хозяин дома начал испытывать к блондинке платонические чувства дружбы и сострадания, что гораздо более опасно, чем простая человеческая грязь, попихались-разошлись.

Не скоро, но все обошлось, блондинка получила отдельную квартиру, кому-то пришлось по душе разоренное жилье старухи-свекрови, ее уговорили поменяться со страшного места куда-то рядом с племянницей, блондинка получила подальше и похуже, но свое, и тут наш муж, наш герой, должен был решить окончательно, да или нет, и приняться за ремонт, мебель, проводку, утепление окон и т. д. в новейшей квартире своей избранницы. Вместо этого он с удвоенной энергией стал устраиваться в собственном доме, поклеил со своими ребятами обой в большой комнате, опять принялся за зарядку, обливание и бег, стал усиленно заниматься детьми и муштровать уже их, поскольку потомство незаметно подросло и стало мешать, вот в чем дело. С блондинкой он остался в роли советника и посетителя, она все устроила сама, это заняло ее, она советовалась, показывала какие-то чертежи, и уже был на стороне кто-то, кто возил ей на машине метлахскую плитку для ванной и кухонную мебель. Блондинка кое-что смекнула и не упускала из виду никого, имея перед собой перспективу одиночества.

Картинка по-прежнему висела над столом, уже установился тот день, когда муж посещал блондинку, — он, кстати, теперь перешел в другой институт, где дали большой оклад, да и отношения в предыдущем месте работы сильно осложнились, так как блондинку нужно было двигать вверх, и она получала повышение, но не получила из-за гнева масс. Он же в знак протеста ушел и обещал ее со временем перетащить к себе, а жена ничего не поняла и облегченно сияла, и в доме был праздник, и пеклись пироги, что наконец-то муж ушел от Той, но картинка все висела.

Он ушел и хорошо устроился на новом месте работы, детки росли, спортивные, подтянутые, вымуштрованные, как это бывает, когда в семье прочно устоялся культ отца, усиливаемый обожанием и подчинением добровольно сдавшейся матери. Слово отца было закон, и они так и шли сомкнутым строем: папа впереди, дети плечом к плечу, а сзади незаметная клуша мать, руководящая семьей дистанционно. Радостно

было смотреть на них, а фотография ножек тем не менее присутствовала.

Мать семейства дождалась, когда мальчик, младший, поступил в институт, и тут сдалась полностью, как и ее мать однажды. Стоя на кухне, она завалилась на глазах у всех вечером, завалилась, захрипела и хрипела трое суток, увезенная в больницу. Семья, дисциплинированная и трудовая, перегруппировалась, было установлено дежурство плюс подключились старые друзья и родня, бывшие и все еще преданные ученики, и из полной могилы, из смерти и забвения муж вытащил свою жену. Когда ее привезли домой, она уже была маленькой старушкой, шевелила только правой рукой немного, говорила что-то невнятное, и часто-частенько ее глаза источали слезы. Она как будто извинялась всем своим видом за это положение, извинялась за всю прошлую жизнь, что не могла создать своему божеству ничего и в конце вляпалась в эту историю с параличом и втянула его. С течением времени домашние привыкли к этой тяжелой ляжке, хотя иногда раздражались и покрикивали друг на друга: все же все эти подкладные судна, ежедневные обтирания, пролежни и невольные мысли о том, сколько же лет это может протянуться, такое животное или растительное существование, — эти мысли мучили. А отец как бы успокоился вдруг, его душа словно бы устоялась, все движения его вокруг жены были плавными, терпеливыми, голос мягкий. Дети еще покрикивали друг на друга и на мать, у них была своя неопределенность, они лишились матери, то есть фундамента и подпорки, и стали неоперившимися, еще слабыми родителями для своей мамы, они чувствовали, что здесь что-то не то, нет перспективы, вернее, она есть, но ужасная. Дети обвиняли друг друга, выводили на чистую воду, о горе, при матери! Но рвение их не угасало, больная у них лежала чистая, свежая, ей под ушко клали радиоприемник и иногда читали ей вслух, но все-таки она часто плакала, совершенно невпопад, и что-то пыталась сказать одними гласными, без языка.

В ночь, когда она умерла и ее увезли, муж свалился и заснул, и вдруг услышал, что она тут, прилегла головой к нему на подушку и сказала: «Я люблю тебя», и он спал дальше счастливым сном и был спокоен и горд на похоронах, хотя сильно исхудал, и был честен и тверд, и на поминках, уже дома, при полном собрании людей, сказал всем, что она ему сказала «я люблю тебя». И все замерли, потому что знали, что это чистая правда — а картинки уже не было. Картинка исчезла из его

жизни, все то испарилось, стало как бы неинтересным в тот момент, и он неожиданно, тут же за столом, стал показывать всем маленькие, бледные семейные фотографии жены и детей — все эти походы, в которых он не участвовал, все их развлечения, бедные, но счастливые, по паркам и планетариям, которые она устраивала детям, все ее попытки построить жизнь на том малом, что еще ей оставалось, на том островке, где она прикрывала собой детей и где надо всем возвышалась в пространстве, все заслоняя, проклятая картинка из журнала, — но ведь оно ушло, все кончилось хорошо, и фразу «я люблю тебя» она все-таки успела ему сказать — без слов, уже мертвая, но успела.

ЕВРЕЙКА ВЕРОЧКА

Нас познакомили на предмет шитья брюк, сказали, что есть великолепная брючница Вера. Времена были далекие, и брюки только-только вошли в моду, и уже одни брюки я сшила у заливчатской брючницы, первой предпринимательницы в Москве, звали Н. Она сделала выкройки на все размеры, наняла швею, сняла квартиру, у заказчиц спрашивала только размер, сорок шесть или сорок четыре, и я была у нее два раза. Дым стоял коромыслом, скромная швея строчила в другой комнате, а Н. (булавки в зубах и говорит сквозь зубы) придумала гениально: скроив и сметав на живую нитку такой-то размер, она надевала этот полуфабрикат на выворот на живую клиентку и где было широко — тут же прихватывала булавками, раз-два — и завтра приходи за брюками. Но что-то с этими брюками вышло плохо, их надо было в результате прикрывать свитером, и в следующий раз, через

два года и перед отпуском, я и набрела через знакомых на Верочку.

Верочка приняла меня в своей комнате, где-то на проспекте кого-то большой генеральский дом, роскошные окна и высокие потолки, но комната у Верочки была одна, а за стеной, видно, жили соседи. Комната у брючницы Верочки была на диво хороша, как комната молодой художницы, много книг, зеркал, портьер, все темное и сверкающее, ковры и подушки. Сама Верочка меня тоже поразила: маленькая, изящная, личико как светлое яичко в гнезде темных стриженных волос, огромные зеркальные, очень спокойные глазки. Она-то все делала как заправская мастерица, обмерила-записала; один раз я пришла на примерку, на следующий я уже получила роскошные белые брючки, в которых затем и шеголяла много лет: плохо только, что тряпка была дешевая да и белая, стирала я их часто, потом штопала, а потом и выкинула, но спустя много лет.

Я носила эти брюки и как светлую мечту лелеяла планы еще раз посетить Верочку, которая, кстати, оказалась не брючницей, а студенткой и редактором в издательстве. Брюки были для поддержания жизни, так как (поняла я) Верочка ушла от родителей, богатых людей, получила от них свою богатую комнатку и дальше должна была жить одна.

Жила она и зарабатывала честно и блестяще, но больше я никогда так ее и не увидела, дела мои шли, в свою очередь, далеко не блестяще, было не до брюк.

Однако спустя сколько-то лет снова наступила весна и с ней страшная проблема, что нечего носить. Я все лелеяла в душе воспоминания о чудесной Верочке, о новом Робинзоне, о благоустроенном острове среди житейских бурь — и о белых брючках, которые служили мне единственной формой одежды летом, надел — и человек, надел — и не стыдно и так далее, а как это важно для молодой дамы, не стыдиться своей внешности, не сжиматься, не прятаться по углам.

Хорошо Верочке, думала я, она как кинозвезда со своими зеркальными шоколадными глазами, одета просто, английская принцесса, шьет и вяжет и сама для себя все устроила, как ей было нужно.

Короче говоря, я ей позвонила.

— А вы не знаете? — сухо сказала какая-то женщина. — Верочки здесь нет. Давно уже нет. Вы что, знакомая?

Я стала говорить, что очень далекая знакомая, Верочка мне что-то шила.

— Шила! — горестно воскликнула женщина. — Шила! Верочка умерла, вы что, не знали?

Пауза.

— Верочка умерла три года назад от рака груди.

Боже мой, маленькая Верочка!

— Верочка очень хотела родить, но ей запретили из-за рака груди, но она не сделала аборт, а родила. Она умерла, когда ребенку было семь месяцев. Она не пошла под облучение и не принимала никаких лекарств, чтобы ему не повредить во время беременности. Верочка! Это такое было дело.

Женщина замолчала. Я тоже молчала.

— Верочка ведь родила одна, — сказала она, — без мужа. Она очень любила одного человека, но он был женат.

— А что же ребенок теперь?

— Мы, евреи, — сказала соседка, — мы детей своих не бросаем, да. Отец его навещает. Покупает что ему надо, да там и своих денег некуда девать. Там за ним глядят.

Видимо, Верочкины родители взяли ребенка к себе.

— Родители взяли, они его взяли, — подтвердила соседка, — хотя отношения были плохие. Верочка от них ничего не брала.

Это я помню.

Соседка медленно со мной попрощалась, медленно и значительно, а Верочка глядит теперь с небес на своего ребеночка и беспокоится о нем, они все там о нас беспокоятся, все, кто нас любил. Еврейка Верочка — неизвестно в каком раю.

ДАМА С СОБАКАМИ

Она уже умерла, и он уже умер, кончился их безобразный роман, и, что интересно, он кончился задолго до их смерти. Задолго, лет за десять, они уже расстались, он жил где-то, а она приехала и поселилась в Доме творческих работников как напоказ, одна и с собакой. Поскольку о ней здесь жила старая память, о ее эскападах и скандалах, об их попойках на весь мир, о том, что она жена крупного деятеля искусств — но была. Однако вспоминали, что она еще и дочь крупного деятеля прежних времен: и, не в силах ничего поделать, выделили ей апартамент, и она въехала туда с собакой и жила тихо, громко разговаривая лишь с собакой. «Ты сошла с ума», — говорила она ей на балконе (соседние балконы слышали ее необычайно громкий голос, есть такие деятели с прирожденно громкими голосами, как бы

вожди, полководцы и ораторы, но, как правило, просто скандалисты).

Соседние балконы раньше слышали оттуда сочные поцелуи приветствий, стук каблучков, громкие (тоже) голоса гостей, подвигание стульев и звон стаканов, особенно раздражали всех сочные, ясные, далеко разносящиеся, по-актерски природно поставленные голоса, которыми они страшно скандалили. Говорят, утюги летали по комнате, но все осталось цело, руки и головы. В один прекрасный момент разнеслась весть, что они разошлись, это он бросил все к черту и ушел к какой-то бабе. И вот вам явление дамы с собакой, вернее, с собаками, ибо она неоднократно появлялась, неся какую-то низменную, грязную, явно не в своей тарелке находящуюся постороннюю и сконфуженную собаку, перевешенную у этой дамы через плечо в виде лисьего меха, трепаного и пожранного молюю как бы. Дама выговаривала своему пуделю, что он не имел права гнать эту несчастную, эту падаль, если ее хотят подкормить. Все имеют право жить, кричала (тихо выговаривала, как ей казалось) эта Брижит Бардо, нельзя никого гнать! Не гони, и не гоним будешь!

Она так шла, и от нее буквально шарахались живые люди, так разительно она сама напоминала трепаное, рваное животное, какое-то гонимое и, несмотря ни на что, ни на какие обеды в столовой, голодное. Она несла на плече смущенную рвань в виде дворняжки с грязными по локоть ногами, а рядом бежал ухоженный, тоже глубоко смущенный пудель, и все вокруг отводили глаза, смотрели вовсю только дети. Детей, кстати, она ненавидела, со своим довольно взрослым ребенком жила тоже в скандалах и, люди слышали, часто повторяла, что животные — единственные существа, которые ее не ругали никогда.

Внешний вид ее со времен развода сильно изменился, опала пышная когда-то грудь, руки увяли, как картофельные плети, волосы она раньше носила гордо и с прямой спиной, а теперь прятала под повязками, и единственное, что у нее осталось, — это любовь к побрякушкам, которые действительно качались на ней и брякали повсюду — в ушах, вокруг шеи, вокруг костлявых запястий. Собаки ее не ругали, бижутерия ее любила, и это все, что ей оставалось.

Только однажды она сорвалась, чего не было никогда, и показала свою новую сущность ханжи и старой девы: когда на балконе выше этажом собрались гости, застучали каблуками, заговорили громкими, сочными голосами, зазвенела посуда, полилось, забулькало — она выждала до полуночи, тайно негодуя, а затем сочно, трезво и раздельно сказала на своем балконе одну фразу, которую никто не разобрал и которую одни передавали как «мешаете спать моей собаке», а другие — «даже собаке надо отдыхать». Короче, что-то несообразное и нелепое по своей ханжеской сущности, но ясное по намерениям: пришло время праздновать следующему поколению, к которому она уже никакого отношения не имела, как ни к чему вообще. Уже все знали, что у нее нет средств к существованию, муж ей оставил квартиру и все, работать она уже не могла, как не могла и вернуться в свое учреждение после психбольницы, куда она угодила, вынутаая из петли. В этом учреждении ее и вообще уже терпели едва-едва с ее яркими одеждами, бижутерией, дикой косметикой, опозданиями и прогулами, с ее пышными обещаниями повернуть то или иное дело с помощью влиятельных знакомых, а также со странной историей исчезновения чужих денег в ее комнате. Нашу даму никто не ловил на месте преступления, но слух пошел, ее начали опасаться всерьез, хотя виду не показывали, боясь совсем убить это глубоко раненное животное. Дальше — больше, она позвонила двум-трем женщинам, семейным и занятым, глубокой ночью, что сейчас повесится и дверь не закрыта, пусть приходят и вынимают. Женщины все как одна стали ее отговаривать, но когда она позвонила третьей, две первые созвонились и вызвали психперевозку, которая приехала, распахнула дверь, и наша дама от страха прыгнула со стула с приготовленной петлей на шее и с телефонной трубкой в руке — прыгнула именно от неожиданности, увидев белые халаты. Так бы, может, она и не прыгнула, думали ее сослуживицы. Но санитар перехватил суицидницу, ловко поймал, позвонки не порвались в ее хрупкой лебединой шее, и в штаны она не наложила, и язык не прикусила — никакого этого безобразия с ней не произошло.

Никто не знает, однако, как она умерла на самом деле, на какой койке угасла, кажется, от рака и в муках. Чем-то это все должно же было кончиться, эта безобразная жизнь, искалечен-

ная неизвестно чем, но слишком шумная и бурная для наших условий. Однако, как говорится, ни одна собака ее не пожалела, все только слегка вздохнули, внимая отдаленным слухам, а куда делась ее собственная старая собачка, ее пудель, последний в роду, и выла ли собака над ее трупом, сидела ли над ее могилой — все эти басни из рассказов о животных можно не принимать во внимание, никто такого не позволит в наши времена, ясно только одно: что собаке пришлось туго после смерти своей Дамы, своей единственной.

МИСТИКА

Это была абсолютно спокойная женщина с большими деньгами, судя по рассказам посторонних, и обязательно что-нибудь всегда покупала, и, приходя за своей девочкой к частной учительнице английского языка, мерила то сапоги, то вытаскивала свертки из сумки. Девочку свою она постоянно таскала с ее пяти лет на частные уроки, и, по рассказам же очевидцев, набиралось два педагога по крайней мере, уже упомянутая англичанка плюс почему-то учительница рисования где-то у черта на рогах, в Черемушках, причем дело происходило зимой в самый гололед, а на английский девочку она возила на Динамо, тоже не ближний конец, если учесть, где она жила со своей несчастной семьей. Такое складывалось впечатление, что они жили в крайнем богатстве, строили дачу вместо сгоревшей (за которую получили по страховке, в сущности, ко-

пейки, учитывалась стоимость дачи еще до войны), и обшили дачу внутри, вернее, Рита обшила, светлой фанерой, и в комнатах было, по словам Риты, как в посылочном ящике. Может быть, впереди были планы с обоями, кто теперь знает, ибо несчастная Рита никому теперь ничего не расскажет, а ее муж вообще частенько застывает в позе статуи Свободы, как бы тшась достать до потолка и с измученным лицом, и за это получил вторую группу по шизофрении, ибо и в больнице ничего не выдал, как партизан, ничего и никого, кому он там протягивал вверх руку.

Несчастливая Рита только по фактам была как бы несчастна, поскольку грабеж и пожар дачи для некоторых много тянет, и одна постройка новой дачи и купля фанеры обходится тяжело, не говоря уж о статуе Свободы на дому по разу в день, но, странно, Рита всегда была весела, на постройке дачи ходила свободно в купальном костюме при жаре и объясняла свой вид тем, что в детстве много занималась пластикой по системе Алексеевой в группе детей Дома ученых. Соседи старались не обращать внимания на жалкий вид тонконогой и толстой Риты, которая всегда сутулилась, стараясь визуально убрать излишний вес. Соседи отводили глаза и говорили с ней как с человеком, ибо она живо всем интересовалась, что у кого на дачах происходит, то есть вела себя наравне с остальной стройной и подтянутой дачной молодежью, к тому же и прилично одетой, хоть не в городское, но все же. Рита не видела в себе недостатков — ни в фигуре, ни в лице, ни в профессии дешевого переводчика статей для рефератов, три копейки в базарный день. И откуда-то были деньги, вот в чем вопрос. Даже строители у нее трудолюбиво кропали, не отвлекаясь, деловитые и серьезные плотники, какие-то баснословно дорогие непьющие работяги, шабашники периода капитализма в России, ни у кого таких не было, кругом стоял стон из-за пьянства и воровства рабочих за любые деньги, а у Риты все было о'кей. Они строили, она ходила по соседям в трусах с голым пузом и в лифчике шестого размера и развлекала публику, к примеру, просто скроенными рассказами о своей невестке, жене брата, которого Рита воспитывала одна после смерти матери в свои отроческие годы, а ему было двенадцать. Так эти две сироты и жили, пока наконец брат не женился на красавице из города Хабаровска, юной, строй-

ной, как хлыст, но к тому же неосознанной лесбиянке, ибо девушка тут же рассказала мужу, выйдя замуж, что в общезжитии ее очень любила другая студентка, и так далее, что по описанию подымало волосы на голове и вызывало смех мужа, а также — затем — и смех Риты и ее мужа в промежутках между его протягиваниями руки помощи вверх, когда ему было не до смеха. Ничто не удерживалось в этой бедной семье, в среде сестры, брата и их юных мужа и жены, все вываливалось и запросто обсуждалось, даже мелкие неприятности в виде повышенной сексуальности маленькой Лизы. Обсуждалось все и обесценивалось, лишнее тайны. Семья жила открыто, но откуда-то брались деньги, и зимой Рита таскала маленькую Лизу по урокам, терпеливо, в часы пик так в часы пик, как удобно педагогам, в темноте, по снегу, по гололеду, а Лиза плакала и кричала на всех прохожих, девочка с наследственностью, бедная, возбудимая крошка, глубоко, видимо, несчастная, как будто все беды ее родителей и родни валились ей на голову, и они жили, а она мучилась и вопила. В дальнейшем, все годы спустя, она толковала на дачных улочках в компании соседских детей, что ждет маму, мама придет, а все соседские дети знали, что мать Лизы не придет, никогда не придет к ней, и возражали, несмотря на запреты взрослых, но Лиза по всем улицам звонила насчет приезда матери упорно, кричала и плакала, когда ее дразнили, «Нет, моя мама придет!»

А Рита тем временем давно лежала в могиле, сплюснутая снегоуборочной машиной, которая во тьме прижала ее к стене дома, а Рита-то как раз посторонилась. Рита мчалась за девочкой к учительнице рисования. Машина проехала, а Рита все упорно стремилась к дочери, взобралась на этаж, позвонила и упала, но зато успела все сказать, успела за дочерью, потому что, видимо, ее вела мысль, что как же ребенок останется один. С этим она и прожила последние пять минут в сознании, увидела ребенка, попрощалась с полу в последний раз.

Теперь все они живут с бабушкой со стороны статуи Свободы, и мало этой бабушке мучений видеть больного сыночка и сироту-внучку, мало ей этого, она ведь и мужа потеряла три года назад, горькая вдова, и ее сыночек и тронулся с тех пор, с похорон отца, вернулся домой к Рите с протянутой вверх рукой, не выдержал горя.

В этом мире, однако, надо выдерживать все и жить, говорят соседи по даче, как это делала Рита до последней минуты, свято веря в свою долю счастья и в свою пластичность по Алексеевой. Тем не менее Риту действительно все помнят, все окружающие, и буквально не в силах забыть. Ходят слухи, что мать Риты была очень хорошим человеком, это она оставила ей деньги, и какая-то ее тень лежит поперек всей Ритиной горькой судьбы, какая-то защитная тень, тень великой любви. Чуть ли это не она ли, мать, позвала Риту чуть ли не отдохнуть, но это все, конечно, мистика.

СМЫСЛ ЖИЗНИ

Один врач начал лечить себя сам и долечился до того, что вместо одного мизинца на ноге у него потеряла чувствительность вся ступня, а дальше все поехало само собой, и спустя десять лет он очутился на возвышении в отдельной палате с двумя аппаратами, из которых один всегда ритмично постукивал, давая лежащему искусственное дыхание. Все продвигалось теперь без участия лежащего, потому что у него была полная неподвижность, даже говорить он не мог, ибо его легкие снабжались кислородом через шланги, минуя рот. Представьте себе это положение и полное сознание этого врача-бедняка, которому оставалось одному лежать целые годы и ничего не чувствовать. Целое бессмертие в его цветущем возрасте мужчины тридцати восьми лет, который внешне выглядел краснорожим ефрейтором с белыми выпученными глазами, да ему никто и не подносил зеркало, даже когда его брили. Впрочем, мимика

у него не сохранилась, его как бы ошпаренное-лицо застыло в удушье, раз и навсегда он остановился, в ужасе раскрыв глаза, и бритье оказывалось целым делом для сестричек, дежурящих изолированно около него по суткам. Они на него и не глядели, шел большой эксперимент сохранения жизни при помощи искусственных железных стучающих каждую секунду легких — а уши у больного работали на полную мощность, он слышал все и думал Бог весть что. По крайней мере, можно даже было включить ему его собственный голос при помощи особого затыкания трубочки, но когда ему затыкали эту трубочку, он ужасно ругался матом, а заткнуть трубочку обычно можно было быстрее всего пальцем, и палец сам собой отскакивал при том потоке площадной ругани, который лился из неживого рта, сопровождаемый стуком и свистом дыхания. Иногда, раз в год, его приезжала навестить жена с дочерью из Ленинграда, и она чаще всего слушала его мертвую ругань и плакала. Жена привозила гостинчик, он его ел, жена брила мужа, рассказывала о родне и тех событиях, которые произошли за год, и, возможно, он требовал его добить, мало ли. Жена плакала и по обычному ритуалу спрашивала врачей при муже, когда он поправится, а врачей была целая команда: например, кореянка Хван, у которой уже была предзащита кандидатской диссертации на материале соседней палаты, где лежало четверо ее больных энцефалитом, четыре женщины с плохим будущим, затем в команде был старичок профессор, который впал в отроческие годы и обязательно, осматривая каждую лежащую женщину, клал руку ей на лобок, а осматривал он также другую палату, где находилась другая четверка, теперь уже юных девушек, сраженных полиомиелитом. Он их таким образом как бы ободрял, но они ведь ничего не чувствовали, бедняги, они только иногда плакали, одна за другой. Вдруг заплачет навзрыд, и нянечка уже тяжело подымается с табуретки и идет за судном, квачом и кувшином мыть, убирать и перестилать. Чистота была в этой больнице, опорном пункте института неврологии, чистота и порядок, а энцефалитные бродили как тени и заходили к живому трупу на порог, ужасаясь и отступая перед взглядом вытарашенных в одну точку глаз, эти же энцефалитные сживали в палате неподвижных девушек, где рассказывались анекдоты нежными голосками и лежали на подушках головы, в ангельском чине находящиеся, с нимбом волос по наволочкам. А то энцефалитные ходили и к малышам, в самую веселую палату, где бегали, кружась, дети с потерянными движениями рук, а за ними

припрыгивали дети-инвалидики, волоча ножку. Туда же от своего мечтателя о собственном убийстве переходила большая команда врачей, там летали шуточки, там царила надежда на лучшее будущее, а бывший врач оставался один на своем высоком медицинском посту, на ложе, и его даже со временем перестали спрашивать о самочувствии, избегали затыкать трубочку, чтобы не слышать свистящий мат. Может быть, кто-нибудь, подождав подольше, услышал бы и просьбы, и плач, а затем и мысли находящегося в чисто духовном мире существа, не ощущающего своего тела, боли, никаких тяжестей, а просто вселенскую тоску, томление бессмертной как бы души не свободного исчезнуть человека. Но никто на это не шел, да и мысли у него были одни и те же: дайте умереть, падлы, суки и так далее до свистящего крика, вырубите кто-нибудь аппарат, падлы и так далее. Разумеется, все это было до первой большой аварии в электросети, но врачи на этот случай имели и автономное электропитание, ведь сам факт существования такого пациента был победой медицины над гибелью человека, да и не один он находился на искусственном дыхании, рядом были и другие больные, в том числе и умирающие дети. Раздавались голоса нянечек, что Евстифеева разбаловали, полежал бы в общей свалке, где аппарат на вес золота, то бы боролся за жизнь, за глоточек воздуха, как все мы грешные. Вот вам и задача о смысле жизни, как говорится.

СИРОТА

Некоторым видится его умершее лицо на улицах и в метро. Вглядываются, не веря себе, обходят совершенно чужого человека со стороны и облегченно убираются, заметив все-таки разницу, ибо никто не видел Эрика в гробу, некоторым он звонил совершенно недавно, кого-то поздравлял, говорил, что что-то читал, и смеялся и плакал, вернее, не плакал, а так. А звонок-то уже был почти оттуда, если не оттуда уже, где он сейчас лежит, полностью ушедший в землю. Он что-то читал и плакал в последние дни, видимо, в больнице, а когда его при этом телефонном разговоре пригласили вполне конкретно приходить, он удивленно замолчал, как-то будто бы подавился, захлебнулся, но опустил приглашение, ничего не ответив, кроме задумчивого «спасибо». Ничего не ответил, промолчал и ушел умирать. Вообще-то он с самого начала

был блокадное ленинградское дитя и не жаловался на свое здоровье, жил и жил и иногда покрывался потом на работе в коридоре, согнувшись в три погибели. Поэтому сослуживцы и побегали и устроили его в больницу, где ему поправили язву желудка. А так он ни на что не жаловался, носился с какими-то планами, хотел стать ни много ни мало писателем и записать свою богатую жизнь сироты из детского дома. Но не получилось, его богатая бедствиями жизнь сироты осталась в виде устных рассказов в дырявом сознании сослуживцев, в особенности его поездка на родину, на место рождения, указанное в паспорте. Было такое место у него, некая деревня, куда он отчалил как-то в безумном порыве, потратив на это отпуск и приславши из своей деревни родной жене странную телеграмму: «Нашел семью». Жена по-бабьи восприняла эти слова, то есть что у Эрика там другая семья, в скобках новая жена, и звонила с этим сообщением, нашла куда, Алле Георгиевне, начальнице Эрика по работе, как раз попала пальцем в небо, поскольку Эрик если и хотел какую новую семью, то только Аллу Георгиевну, красавицу в очках, в жабо и с вечно засученными рукавами. Эрик затем вернулся, выпучив свои синие глазки, и сообщил, что он — Эдуард, что у него жива мать, тетки и пятеро сестер и братьев, не считая всей деревни родни. И как он шел там по лесам и полям и встретил женщину, которая его узнала, двоюродную сестру, и она, не признавшись, послала его прямо в родной дом. И как он плакал. И что они его искали как Эдуарда, а потом вообще, после того как ему исполнилось восемнадцать, искали его в армии или по тюрьмам, трезво рассудив, что куда русский парень-сирота пойдет в восемнадцать лет. А он вон он — выучился, вот тебе и раз, оказывается, в институте и далеко пошел, стал редактором и так далее, но не ушел далеко. Оказывается, он младенцем был отдан на житье богатому дядьке-директору, тот его переименовал и умер под медные трубы, а неродная мать опять-таки растила, но умерла от голода в блокаду, и наш Эрик в полной уверенности, что он сирота, оказался в детдоме. Эрик рассказывал об этом, блестя синими глазами, такой беленький-беленький в белой рубашке, и завершал всегда так: но чур, это моя тема. Он, оказывается, был привозим в Ленинград после войны на поглядение, целый состав детдомовских привезли и поставили на запасный путь, трое суток

объявляли по радио на весь город, что привезли детей, увезенных тогда-то и тогда-то, однако за детьми не явился никто. Все родные, видимо, умерли, и ночью, при погашенных огнях, состав тронулся и повез всех сирот обратно в Вологду под плач колес. Но это — Эрикова тема. Там, во мраке, он продолжает нам рассказывать свою небывалую историю удачливого сироты, и если бы не голод в детстве, то мало ли что могло произрасти на этой почве. Но рок, судьба, неумолимое влияние целой государственной и мировой махины на слабое детское тело, распростертое теперь уже неизвестно в каком мраке, повернули все не так. Сирота, сирота.

КТО ОТВЕТИТ

А кто ответит за невинные слезы Веры Петровны, за ее невинные, бессильные старческие слезы на больничной койке перед тем как Вера Петровна умерла?

Кто отомстит за кровь Веры Петровны — не буквально за кровь, кровь не была пролита и застыла в жилах, — но так говорится: кто отомстит за кровь и за то, что к концу жизни Вера Петровна от различных препаратов стала безумицей, стала мучиться совершенно безвинно от каких-то непонятных и странных мучений и говорила девушкам, своим сотрудницам: «Покажи трусики какие!». Девушки кружились в своих юбочках, ничего не охватывая умишками, не желая ничего охватывать, мало ли друг другу показывают женщины — лифчики-трусики, кто где купил и почем. Но это упорное, тоскливое «покажи трусики» на закате жизни, когда все знали, что В. П. умирает и умрет в мучениях очень скоро, — оно осталось звучать в ушах

и много после того, как В. П. умерла, лежа в гноище на сквозняках в коридоре в какой-то зачуханной больничке для хроников, для безнадежных, но к тому же еще и одиноких, за которых некому заступиться, чтобы их устроили в лучшую больницу, а не кинули так умирать на мокром, когда кругом сквозняки и всюду стон и смрад.

У девушек осталось в памяти и это тоже, поскольку они несколько раз ездили навещать В. П. далеко на окраину в эту больницу. Они робко клали В. П. на кровать продукты, а В. П. ругалась и плакала в полном сознании, ругалась на всю эту жизнь, на то, что не обращалась к врачам по поводу болезни и запустила. «Не запускайте, девочки», — говорила В. П., плача, как будто у девочек уже тоже что-то начиналось и им предстояло пройти весь тот путь, который прошла В. П. от немолодой, но бравой и крикливой женщины до этого бородатого, усатого существа, загнанного в коридор умирать черт знает на чем лежа.

Потом им же, этим девушкам, предстояло хоронить В. П., но на этом все и кончилось, и никакого памятника и посещения могилки в первый день Пасхи уже не было предусмотрено. Что же, вокруг В. П. образовались другие могилки, не так поросшие травой, и на них в какие-то дни все-таки приходят родные с выпивкой и закуской, все-таки там летают птицы и садятся на скромное пристанище В. П., все-таки растут деревья, а девушки, прежние девушки, уже выросли, созрели и тихо старятся, храня в душе то ощущение от слов В. П. «покажи трусики», когда они проглатывали свой страх и весело кружились, чтобы не дай Бог не показать вида и не обидеть старуху, у которой щеки уже знали бритву, но которая ни в чем не была виновата. Не виновата — как и все мы, добавим мы.

ГРИПП

Всему виной, очевидно, все-таки был грипп, хотя некоторые придерживаются иной точки зрения и говорят, что дело именно и обстояло так просто, как оно выглядело на первый взгляд после первого рассказа жены, и никаких глубин, подспудных причин, смещения разных обстоятельств в этом случае не следует доискиваться; тем более смешно выставлять причиной грипп — эту странную болезнь, которая у всех протекает настолько по-разному, что здесь можно даже говорить не о конкретной болезни, а о каком-то всеобщем предрасположении к болезни, к разным болезням, о всеобщей ослабленности, возникающей в одно и то же время, во время холодов.

Но причины выдвигались и сопоставлялись, уже начиналось небольшое, невольное следствие, и многие люди принимали в этом участие: это началось еще на кремации, когда вдруг неожиданно встретились разные знакомые, которые и не пред-

полагали, что их объединяло еще и знакомство с покойным. Народу было много, и это не считая еще и тех женщин, которые не пошли, зная себя, боясь впасть в истерику от этого ужасного зрелища; но те, что пошли, держались прекрасно, за исключением жены, которая не переставала плакать.

Но в ее плаче тоже не следовало искать никаких сложных, подспудных причин — никакого актерства и позы. Она не притворялась, какой ей смысл было притворяться и играть роль страдающей женщины, когда оно так на самом деле и было, хотя и было несколько не так, как бывает во всех нормальных случаях, когда женщина остается вдовой. Действительно, в положении жены все было чудовищно запутано и даже страшно, как-то нечеловечески страшно, и поэтому можно было понять тот испуганный плач, которым она оглашала своды крематория. Ее все жалели, конечно, но жалели опять-таки не той приличной, пристойной, но не глубокой, не вдающейся в смысл вещей жалостью, — ее жалели по-настоящему. Каждый мысленно терялся перед ее положением, потому что хуже всех — и неизвестно, заслуженно или незаслуженно — приходилось ей. И то, что случилось с ней, — от этого не был застрахован ни один человек, разве что только редко могло бы случиться именно такое совпадение случайных обстоятельств — грипп, голод, супружеская ссора, страшный мороз, отсутствие телефона, особая, обостренная чувствительность от всего этого и так далее, — а в остальном ведь все же как-то довольно спокойно расстаются даже после долгой супружеской жизни, когда уже все потеряно, все чувства, когда каждая ссора превращается в обыкновенную ссору двух любых случайно взятых людей, между которыми вспыхнула злоба.

Так и в этом случае все могло обойтись совершенно спокойно, потому что все уже давно знали, что они, эти муж и жена, живут между собой плохо. Они не стеснялись присутствующих, не говоря об их дочери. К ним даже редко ходили гости, чтобы не стать случайными свидетелями каких-то тяжелых, невыносимых сцен, но от этого ни у него не прекращались дружеские взаимоотношения со многими людьми, ни у нее. Их семейные дела никого не касались, не считались чем-то заслуживающим внимания. Он был прекрасным, нежным, чувствительным, легким на слезы человеком, с чуткой совестью, с большим вкусом. Он знал три языка и был хорошим специалистом в своей области и так далее — все, что можно сказать о человеке хорошего, все было сказано над ним во время кремации, а жена

его во время этих речей испуганно плакала, и впору было тут же начать хорошо говорить о ней, а то получалось настоящее судилище, а ведь она тоже была хорошим человеком. Но все, что говорилось хорошего о нем, все это было невольным, косвенным обвинением ей, хотя никто ничего не подразумевал. И в конце концов, это она могла лежать в неизвестном виде в гробу, это все зависело от случайности, разве что только исключить то, что она была женщиной и ее очень трудно представить в таком беспомощном состоянии, в каком находился он в течение этих пяти дней. Уж наверняка она, цепкая, как все женщины-матери, как-нибудь нашла бы выход из положения, не стала бы есть высохший чай из чайника и крахмал из банки. Она бы наверняка что-нибудь бы придумала, нашла бы выход из положения, раскрыла бы дверь квартиры и легла бы на пороге, чтобы кто-нибудь увидел, если уж не было сил выходить. А у него ведь были какие-то силы даже после этих пяти дней, сумел же он в конце концов вскарабкаться на подоконник! Она бы нашла выход из положения, потому что у нее была дочь, а это много значит не только в том смысле, что дочь стала бы ухаживать за матерью, нет: дочь была еще слишком мала, нет, дочь наверняка бы заразилась, и именно матери с ее температурой, бредом и бессознательным состоянием пришлось бы и идти в магазин и в аптеку, и готовить, и влажной тряпкой подметать в квартире, чтобы ребенку было чем дышать. Так что трудней было бы представить себе именно жену в гробу по такому малому, несерьезному поводу, как ссора. Но все равно, мало ли что бывает в жизни, ведь с женщинами тоже случаются такие казусы, как самоубийство, и едва ли не чаще, чем с мужчинами, только не с женщинами-матерями. Может быть, все то, что произошло с мужем, могло произойти и с женой, не будь у нее дочери, не будь ей необходимо жить во всех, любых обстоятельствах.

Но все равно, и ребенок, которого так всегда, во всех случаях женщины выдвигают как главный аргумент своей жизни, в этом случае не мог приниматься во внимание. И ведь никто не думал обвинять жену, что она осталась жива, и не нужны были никакие смягчающие обстоятельства типа наличия ребенка. Обвиняли ее только за одну небольшую вещь — и, как всегда в таких случаях, именно эту вещь никто не мог понять и все качали головами. Вернее, две вещи, из которых особенно первую никто не мог понять. Жену не обвиняли в том, что она не приходила ухаживать за мужем в течение пяти дней, пока он

лежал абсолютно один безо всяких продуктов и лекарств. В конце концов, люди поссорились, жена забрала ребенка и ушла в чем была, ничего с собой не взяв, и это в такие морозы — это о чем-то говорит, хотя бы о состоянии аффекта. И вполне понятно, что она не хотела приходить, хотя у нее не было ничего, кроме того, что на ней. Она, очевидно, хотела как можно дольше бы не приходить, потому что знала, что муж знает, что она должна когда-нибудь прийти за чемоданами и за вещами. Эта необходимость все-таки вернуться и то, что муж снисходительно знает, что жена никуда не денется и все-таки придет, несмотря на свою клятву больше не переступить этого порога, — все это могло задержать жену на больший срок, чем пять дней. Само сознание того, что к клятвенным обещаниям относятся с насмешкой, с убеждением в их актерстве, лживости, — это сознание может кого угодно именно подстрекнуть выполнить именно эти обещания, хотя насмешка может быть просто-напросто шантажом и подстрекательством именно выполнить эти клятвенные обещания.

Это все, правда, достаточно поверхностно, чтобы полностью объяснить те чувства, которые испытывала жена, все-таки придя за вещами. Жена, как видно, мучилась, что вынуждена все-таки прийти и что действительно ее клятва не приходить, произнесенная с яростью и слезами, оказалась обыкновенным актерством и пустой фразой.

Жена поэтому, не глядя в сторону мужа, который лежал на диване, стала быстро собирать необходимые вещи, особенно учебники дочери и ее всякие нужные в школе предметы. Жена, очевидно, старалась не обращать внимания на мужа, но все-таки она заметила и потом рассказывала, что он показался ей грязным, обросшим и очень худым, но она старалась не углубляться в это впечатление, занятая своим упорным трудом. Затем она увидела пустые коробочки и пакеты, валяющиеся на полу среди разлитой воды. Жена, вернувшись в комнату, сделала на эту тему замечание, и тут снова началась обычная ссора, совершенно обычная, и, когда он заплакал, жена пошла к шкафу и стала собирать свои вещи. Она обернулась, только почувствовав струю морозного воздуха. Муж стоял на подоконнике. И вот что, во-первых, вменяется ей в вину сейчас: вместо того чтобы подбежать и снять его с подоконника, она резко, демонстративно отвернулась и продолжала собирать вещи. Это должно было показать мужу, что она ему не верит, как он не верил ей, и считает этот его жест позой, пустым актерством, желанием

спекулировать, капризом и так далее. Но, с другой стороны, то, что она отвернулась к шкафу, теперь уже можно считать прямым подстрекательством к самоубийству. Вот в чем ее обвиняют, во-первых.

Во-вторых, когда он бросился вниз головой с седьмого этажа, она не побежала вниз сразу, а спустилась, только когда уже даже карета «скорой помощи» давно увезла его. Она говорит, что в это время собирала вещи. Сколько же прошло времени? Почти час, наверное, пока вызвали карету «скорой помощи» и так далее. Вот это вторая причина, по которой ее осуждают.

Но, в общем, в учреждении, где он работал, теперь говорят, что у них в учреждении было четыре с половиной человека, да и из тех один бросился с седьмого этажа, и, как это ни анекдотически звучит, это факт.

БОГЕМА

Из оперы «Богема» следует, что кто-то кого-то любил, чем-то жил, потом бросил или его бросили, а в случае Клары все было гораздо проще, хотя ее-то с полным основанием можно было назвать богемой, ибо она ни денег, ни пристанища не имела, училась восьмой год как-то заочно в библиотечном институте, ела три дня в неделю и только шаталась из дома в дом в компании таких же, как она, проходимцев, из которых ни с одним у нее не было никакого романа; однако именно она являлась единственной женщиной маленького круга богемы, самой высокой богемы в их городе, ибо они по-настоящему не имели ничего, ни крыши, ни чем прикрыться зимой, ходили кто в плаще, кто без шапки; летом пятки Клавдии повергали приличных людей в смущение, но таковы и были неприкрытые пятки много ходящей по улицам молодой жен-

щины и таковы должны были быть и ноги, и лицо, и такой, без претензий, молчаливой, должна была быть богема, которая нигде не остается, а всегда уходит и неведомо когда и где ест и ночует. Она писала то ли стихи, то ли романы, даже читала их, и в своем кругу она была не хуже любой поэтессы в любом кругу, какое время и какой круг ни взять; а летом они вдруг бурно срывались с места и находили себе пристанище где-нибудь на севере, по избам, и то ли собирали песни, то ли сами пели на свадьбах, во всяком случае, Клавдия как-то летом много ездила на попутных грузовиках Бог знает по каким дорогам, в том числе и по таким дорогам, на которых приходилось то подсказывать до крыши фургона, то ударяться теми же самыми пятками о дно кузова, и вот тут-то богему Клавдию и подстерегло совершенно непонятное дело: у нее страшно заболел живот. Однако надо было ехать, уж если снялись с места, такое было правило, и Клавдия с двумя сопутешественниками вынуждена была подвигаться все вперед и вперед, сидеть на каких-то гнилых обочинах в болотистых лесах, валяться на сеновалах, оправляться в кустах и на задворках, при этом еды Клавдии уже не нужно было никакой. Она хирела на глазах, если бы чьи-нибудь глаза за ней смотрели, но никто за ней не смотрел, ибо два ее попутчика решили уйти и ушли, а Клавдия себя не видела и не знала, что с ней. Но, во всяком случае, она добралась до пристани и села в четвертый класс парохода, в глубокую яму под водой, где пахло отработанным газом и где ее один раз даже побеспокоили контролеры, но отступились, чем-то увлекшись на стороне, какими-то громко кричавшими о билетах нерусскими людьми. Когда пароход пришел, Клавдия в полудреме вышла на свет Божий, добралась до электрички, а живот у нее все болел, и ехала, пока наконец не очутилась в родных местах на н-ской платформе. Здесь ее нашла лежащей на участке у дома мать, здесь Клавдия перебралась на чистую постель после долгих странствий и здесь, выйдя за малой нуждой рано утром под куст шиповника, она внезапно выпустила из себя струю крови, и все сразу разъяснилось, ибо это был выкидыш, и довольно крупный. Мать, провожавшая под куст Клавдию, сказала, что был мальчик, и Клавдия потом многим рассказала, что у нее должен был родиться мальчик — через столько-то месяцев, потом столько-то месяцев назад, она считала

свои сроки как настоящая мать, хотя и прибавляла при этом, что это все было делом случая и она раньше ни о чем не подозревала. Но все воспринимали ее расчеты и рассказы с каким-то странным чувством, и все дружно молчали в ответ, словно бы не зная, что с этим фактом поделаться. Поэтому и Клавдия со временем умолкла, и только мать ее, затратив много денег, зачем-то перенесла уборную на новое место, а на старом, засыпанном, посадила рябинку и березу.

МЕДЕЯ

Страшно рассказывать эту историю, а началась она с того, что я поймала такси. То-се, пожаловалась, что сегодня утром заказанное такси не явилось, даже не позвонили. Из-за этого, пожаловалась я, бабушка семидесяти трех лет опоздала на поезд, итого мы все переволновались, бабушку не встретили, дети поехали в Москву, а бабушка опять-таки на такси к ним в деревню, все разминулись, ушел целый день и много денег.

— Ну жалуйтесь, — сказал таксист, — напишите.

— Даже не позвонили.

— Я, — сказал таксист, — однажды тоже завяз в новом районе, попал в яму, автоматов нет, бегал-бегал, уже пять минут, как я должен, а я никак. Остановил другого таксиста, попросил его позвонить. До сих пор не знаю.

— Самое жуткое — это что бабушка переволновалась.

-
- Не самое жуткое, — ответил таксист.
 - Мало ли, какие бывают последствия.
 - Я тоже один раз оказался в Тропареве, а у меня заказ в Измайлово. Вот я гнал. Успел.

Таксист был лет сорока, такого слабого типа, в ковбойке с потрепанными обшлагами. Слабый рабочий, по словам одного умершего голубого, гениального режиссера. Слабый рабочий или молодой слабый рабочий, пальчики оближешь: не сопротивляется. Глаза как бы с поволокой, прикрытые и небольшие. Портрет здесь важен для дальнейшего. Ввалившиеся щеки, но в такси потом не пахнет. Слабые рабочие обычно редко моются, по субботам, и по субботам же совокупляются, после бани. Стало быть, этот не таков. Но дело не в том.

Дальше разговор потек в том смысле, что таксист как будто всем подтекстом уверял меня не жаловаться на того таксиста, все бывает.

- А вы завтра работаете?
- Работаю, — сказал он, насторожившись.
- Со сколько?
- С часу.
- А то у меня завтра такси заказано в аэропорт на шесть утра, боюсь, что не придет. Вот будет дело! Утром ничего не достанешь.

Он обошел этот вопрос стороной и сказал: то, что я ему рассказала о своей беде, ровно ничего по сравнению с тем, что бывает.

— Ничего-то ничего, — сказала я кисло, поскольку у каждого свое, — но, конечно, это не самое страшное.

- Не самое страшное, — эхом повторил он. — Бывает такое!
- Ой, не говорите. Знакомая рассказала про свою однокурсницу, она поехала с двумя детьми к свекрови в Сибирь. Зима, морозы, младший мальчик годовалый заболел пневмонией, больницы нет, она его повезла на станцию, сели в поезд, там он по дороге умер. Привезла мертвого мальчика и живую девочку пяти лет. Муж встречал на вокзале, увидел такое дело, избил жену, сломал челюсть, попал в тюрьму на четыре года. Она осталась одна с девочкой, сама не работала. Стала подрабатывать в газете, писала всякие мелочи. Рублей сорок — пятьдесят штука. Поехала с дочерью за деньгами в редакцию,

а дело шло к закрытию. Дочка упиралась. Она ее волокла и уже в вестибюле редакции дала девочке пощечину и попала по носу. У девочки пошла кровь. Вахтерша вызвала милицию. Девочку отобрали и лишили мать родительских прав. Все. На суде объявили ее психически ненормальной и недееспособной. Все.

Он как-то странно посмотрел на меня, как-то выразительно. Так однажды смотрел в мою сторону эксгибиционист в пустом вагоне ночной электрички. Я вошла, сослепу села неподалеку, обернулась, а он сидит и смотрит на меня, как бы гордясь, утомленно и выразительно, а в руках держит свое богатство. Ужас охватил меня.

Тем не менее мы уже приближались к моему дому. Схватила я такси на Каланчевке, там обычно столпотворение у трех вокзалов, стоит дикая очередь на стоянке такси, нервотрепка, узлы и чемоданы, оружие родители с детьми. А на другой стороне площади таксисты едут осторожно и выбирают седоков. Услышав, что мне недалеко, он и согласился. Тихий немолодой слабый рабочий. Жаловаться он меня не отговаривал (я жаловаться собиралась только ему), но заступался за шоферскую братию подспудно, не в лоб. Заступался так, что сердце переполнялось ужасом, и до сих пор он стоит перед глазами — сидящий, слабый, тихий и отрешенный. Грубые руки с сильными ногтями слабо лежали на руле.

— Спать хочется, — говорю я, — ночь собирала детей, эту ночь опять собираться.

— Это ничего. Это ничего, — сказал он в ответ. — Я не сплю уже месяц.

— Самое лучшее лекарство — валерьянка, — сказала я ему, как идиотка, ничего не зная. — Моя одна знакомая перепробовала все, остановилась на валерьянке.

— Не помогает, — откликнулся он, продолжая свою глухую защиту чести шоферов. — Не сплю.

— Главное, — продолжала я нападать на честь шоферов, — очень страшно за бабушку. Все-таки семьдесят три года!

— Ничего, ничего.

— Мало ли.

Он сказал:

— А я вот мучаюсь виной. Я виноват.

Я как-то глухо промолчала, переваривая это сообщение.

Он сказал следующее:

— У меня умерла дочь четырнадцати лет.

Так.

— Недавно, пятого июня.

Вот почему он не спит, бедный шофер.

Он посмотрел на меня своими бедными глазами.

Я почему-то сказала:

— Самое страшное — это первый год. Первый год самое страшное.

Он ответил:

— Прошел месяц. И я виноват.

Я потеряла вообще соображение, где, что и когда. Мы ехали.

— Может быть, вам кажется, что вы виноваты?

— Нет. Я много себе позволял. Я подготовил это. Я... Что говорить.

Я ответила:

— У меня есть знакомый, у него сын повесился, двенадцати лет. Позвонил ребятам: приходите, я вешаюсь, — а они не пришли. Он и повис. Мать пришла потом. Она не могла плакать. И отец не мог.

— Я уже выплакал все, глаза сухие. Сухие глаза.

Он посмотрел на меня своими сухими полузакрытыми от слабости глазами.

— Я виноват.

Я не могла ничего спрашивать, что спрашивают обычно люди из любопытства, как и что. Я кинулась в бой.

— Знаете, они три года обождали и родили еще сына. Сейчас ему десять.

— Знаете, когда человеку сорок четыре года...

— А жене сколько?

— Жене сорок два.

— Моя знакомая родила в сорок четыре года. Сейчас девочке уже семь лет. Хорошая такая девочка.

— Знаете, жена там.

— В психушке?

— Там. Врачи говорят, что это все.

— Тяжелое состояние?

— Да. Совсем.

— Значит, это еще поправимо. Буйное как раз вылечивается.

Далеко мы зашли с защитой чести шоферов. Что же такое с ним произошло и с его дочерью? Четырнадцать лет. страшный возраст. Не углядел. Он виноват.

— Знаете, — говорю я, — у Андерсена есть такая сказка. Не входит в сборник для детей. У матери умер ребенок. Мать пошла к Богу и говорит: отдай мне моего ребенка. Бог отвечает: пойдем в сад. Пошли. Там на одной грядке растут тюльпаны. Бог говорит: это будущие жизни родившихся детей, один из них твой. Посмотри в них: захочется ли тебе такой жизни для твоего ребёнка? Она посмотрела, ужаснулась и сказала: ты прав, Господи.

— Я не верю, что она на небе. Вы когда-нибудь теряли сознание?

— Теряла.

— Ведь ничего же не чувствуешь. Меня вернули после смерти. Я ничего не помню. Там ничего нет.

— Вы с ней встретитесь, — сказала я.

— У меня был знакомый буддист. Я не верю.

— К вам кто-нибудь придет. Вы не гоните. Это придет она. У меня так было. Я шла поздно вечером домой, увидела кота, он сидел, прижавшись к земле. Через час иду домой, он сидит на том же месте, а его уже занесло снегом. Днем там продавали пирожки с мясом, он наелся объедков, а кошкам вредно, людям ничего, а кошки гибнут. Я его взяла к себе. Вымыла. Высушила у газовой духовки.

— Я знаю, некоторые берут кошек, собак. Я не могу.

— Потом он исчез через полтора месяца. Больше я его не видела. А потом я поняла, кто это ко мне приходил.

— Я виноват, — сказал шофер.

— Все виноваты.

Что я говорила, что толковала, я не помню. Я убеждала его подождать год, потом убеждала его уйти в отпуск.

— Мне на работе легче. Тем более что отпуск я отгулял. Я на даче перекрывал сарай, делал там окно. На даче. Все было хорошо. Дочь с женой приехали, вместе ехали обратно, за пять дней до смерти. Потом они шили вместе, дочка брюки, жена платье. Советовались, все было хорошо. Я виноват, — твердил он.

Мы все ехали по этому пути.

— Я не могу смотреть на детей, плачу. Теперь уже не плачу, отвернусь, не могу.

— Год. Год еще, — твердила я.

— Тут я вез одних с собачкой. Это все, что у них осталось от дочери, собачке двенадцать лет. Она хрипит уже, они ее колют, лечат, трясутся над ней. Десять лет назад умерла дочь. Все помнят.

— Да, как один человек кричал: не хочу другого мальчишка! У него сына убили восемнадцати лет.

— Да, я раньше смотрел на чужих детей и завидовал, а теперь они мне все чужие. Знаю, что они мне не нужны. Мне нужна она. Она была мне не просто дочерью, а другом. Бывало, идешь в магазин, она сидит делает уроки. Говорит: Папа! А ты куда? — В магазин. — А я? — говорит. И шла со мной, только если уроков много, тогда оставалась.

И опять он завел свою шарманку: виноват я, виноват, всем поведением своим подвел к результату.

Все, мы уже остановились. Я никак не могла выйти, потому что он все говорил. Мало того, я не хотела выходить, хотя дома меня ждали все, я опоздала страшно, надо было собираться. Как-то надо было что-нибудь ему сказать.

— Ведь вы знаете, мою дочку зверски убили.

Я ответила, что знаю. Поняла. Господи! Что это за вина, Господи, не сохранил, не уберег.

— За пять дней до смерти она приехала ко мне на дачу с матерью. Я увидел ее и так испугался! Почему? Так страшно испугался, увидев ее!

Он уже предчувствовал. Хотя обычно пугаются тех людей, которые преследуют. Если он действительно, что называется, «позволял себе» с другими женщинами, то страшнее всего страдают не жены, а дочери. Но это так. Пугаются тех, перед кем виноваты. Не любят тех, перед кем виноваты, и избегают их.

— У нее было такое лицо! А потом мы ехали вместе домой, я их отвозил.

— Вы никого сейчас не любите?

— Никого.

— Это единственное спасение. Любите кого-нибудь, пожайте свою жену. Вы к ней ходите?

— К ней не пускают. Я думал, но я не хочу заводить семью. Я люблю брата. Но это так.

— Не бросайте ее.

Он опять странно посмотрел на меня.

— Они так сидели обе и шили мирно за пять дней до смерти. Я виноват, я не сделал того, что надо было сделать. Так как-то думал, ладно. Вы знаете...

Пауза.

— Вы знаете, — сказал он, — это моя жена убила дочь. Она сидит в тюрьме, в Бутырках. Там есть отделение для сумасшедших.

Пауза.

— Она пришла сама в милицию и принесла окровавленный нож и топор и говорит: погибла моя дочь.

— Ее сразу арестовали?

— Сразу. У нас в доме четыре года назад убили в квартире женщину ножом. Они теперь вешают на нее это дело.

— А адвокат?

— Адвокат пока не может по закону. Допустят, когда предъявят обвинение... Потом ее еще должны повезти на экспертизу.

— А вдруг это не она? Как же так? Она в шоке и без памяти. Надо какого-нибудь гипнотизера. Гипнотизер под гипнозом может у нее все узнать. Может, дочку убили, а она в шоке.

— Да она давно как-то... Я замечал.

— Например.

— Например. Вот сидит у телевизора и конспектирует программу «Время», все новости. И потом дает комментарий. Я прямо покачулся.

— Да. Это да. Но это же совсем не то! Она была агрессивная?

— Один раз так пошла на меня, сжав кулаки.

— Один раз?

— Один.

— Да вы смеетесь, что ли? Вы знаете, что бывает в семейной жизни! Один раз! Вы что!

— Правду сказать, и я не сахар. Я от нее отдалился последний год. Совсем не любил, только дочку. Не было такого контакта.

— Вот это действительно, это тоже похоже.

— Дочка-то была ближе как раз ко мне. А жена давно не работает. Ее, короче, выгнали с работы. Поссорилась там с кем-то. Мы же с ней вместе институт заканчивали. Потом

я пошел в таксисты. А она, ее выгнали из НИИ, устроиться не могла, сейчас НИИ сокращают. У нее была депрессия.

— Еще бы! Когда меня выгнали с работы, я помню!

— У нее была депрессия, и больше она никуда устроиться не могла.

— А тут еще вы.

— Я виноват. Я один раз вызвал платного врача-психиатра, она говорит: ну что, вызывайте психоперевозку, кладите в больницу... Но я как-то... Знаете... Не сделал этого.

— Жалко было?

— Да нет. Так как-то... Мы с дочкой... Не думали ни о чем... Я много себе позволял, вот что. Я виноват.

Сидит одна в безумии в тюрьме, ожидая казни.

6 июля 1989 г.

ГОСТЬ

Я пригласила все-таки к себе в гости этого Толю, этого очаровательного Толю, у которого щеки уже начинают обвисать, и сказала ему:

— Толя, ну зачем же вы стареете, так рано и стареете, помните, каким вы были очаровательным в молодости?

И все у нас в порядке, музыка играет, свеча горит, к утру от нее остался в подсвечнике один горелый фитиль. Толя, как всегда, нудный до предела, заводит речь издалека, открывает бутылку, я приношу с кухни жареной картошки, Толя легонько накладывает себе вилочкой на тарелочку, добавляет грибков, сидит, руки на коленях, затем наливает по полной и в стаканы пиво, чтобы запивать.

Конечно, это была с самого начала безумная затея — запивать пивом водку, но я как-то этому не придавала значения, мне все было трын-трава в этот вечер, а может быть, я именно этому

придавала большое значение. Во всяком случае, мы были одни, наутро соседи могли черт знает что подумать, тем более что все так невероятно кончилось, но это тоже меня не волновало и не волнует.

Короче говоря, Толя заводит речь издали, говорит своим нежным голосом какую-то чушь, хотя он одарен необыкновенно тонким вкусом и все ощущает так, как надо. Но все это он говорит так долго, нудно, пережевывает все одну и ту же мысль, что он потерял, что потерял нить жизни, что его ничто не волнует, никакие вещи, что он иногда сам для себя решает что-нибудь совершить, испытать, кидается в крайности, но остается все таким же равнодушным.

— Толя, — говорю я ему, — неужели вам никогда не хочется радости, счастья, неужели вы не язычник, не поклонник земли и неба?

— Нет, я хотел бы страдания, я хотел бы страдать, я не умею радоваться, вот честное слово, не способен радоваться.

— Толя, — говорю я ему, — ну а вот эти ваши бесконечные дни рождения у ваших подруг и друзей, неужели эти праздники вас не развлекают? Я понимаю, конечно, но все-таки иногда надо быть немного и язычником, надо поклоняться просто земле, ее радостям, вину...

— Нет, — оживляется Толя, — я только приезжаю домой на такси, и лишняя трата нервов просить у мамы деньги каждую ночь.

— Но вот консерватория...

— А что консерватория, — задумчиво говорит Толя, — выходить оттуда просветленным, как у нас дома старая Лиза? Если мать ее побьет, обругает, выгонит из кухни, она идет в церковь и возвращается оттуда просветленная, простившая. Я потому такой странный, — говорит Толя, — что мать меня родила, когда ей было сорок, а отцу пятьдесят.

— Вы считаете, что тут сыграло свою роль то, что они вас очень любили и ласкали?

— Нет, — отвечает Толя, — дело, видимо, не в этом.

Он начинает распристраняться долго и нудно о том, насколько тяготеет над человеком тайна его рождения.

— Толя, — говорю я ему после долгих, нудных разговоров о том, что человек предопределен еще до своего рождения, — но почему все-таки вы мне звоните? Звоните и звоните. Я иногда подхожу к телефону, вы чувствуете, как я с вами разговариваю, как стесненно у меня это выходит? Я просто никак не могу

истолковать, зачем я вам нужна. Я даже сама, когда звоню вам, тоже не могу никак истолковать, зачем я звоню вам, и каждый раз перед этим останавливаюсь у телефона, но каждый раз, не поняв ничего, насильственно набираю ваш номер и веду какие-то насильственные, не освященные никакой целью разговоры. У вас, наверное, тоже такое чувство, что вы не понимаете, зачем я вам опять позвонила, и долго над этим размышляете, но ничего не понимаете и все-таки через какое-то время опять идете к телефону и звоните мне. Зачем вы мне звоните, ну вот скажите, Толя? Я уверена, что вы не знаете зачем. Только совершенно откровенно, нам с вами друг другу нечего скрывать и не к чему.

— Вы мне нравитесь. А вы зачем мне звоните?

— Я хочу вас понять. Все эти ваши слова — они как-то проходят мимо меня, я никак их не соединяю с вами, с вашим прелестным обликом. Мне иногда кажется, что я протягиваю руку к вам и моя рука проходит сквозь вашу грудь и сквозь вас. Вы понимаете? Вы чем-то бесплотны, или мне это кажется, или я ошибаюсь, но я снова и снова убеждаюсь, что я права.

— Вы ведь сами парадизка.

— В каком смысле, Толя? В каком смысле я парадизка? Парадиз — это рай? Как это я парадизка? Вы можете мне это объяснить? У меня опять такое ощущение, что, если я до вас дотронусь, моя рука пройдет насквозь. Если я до вас дотронусь, то я просто дотронусь до спинки стула.

· Толя пожимает плечами и пьет пиво.

— Послушайте, Толя, у меня опять такое чувство, которое охватывает меня, когда я подхожу к телефону, чтобы позвонить вам. Зачем все это нужно? Это как-то неестественно, напряженно, у вас нет такого ощущения? Зачем вы мне звоните, зачем вот вы ко мне пришли и я жарила картошку, причесывалась, зачем? Зачем вы покупали водку и особенно пиво, зачем пиво, запивать? Как это можно, запивать водку пивом? Зачем это нужно? Что вы мне на это скажете? Ну пиво-то зачем?

— Запивать. Это так принято.

— Ну и что дальше?

— Что — дальше?

— Ну, запьем водку пивом, заедем картошкой, а дальше? Я не в том смысле, что нам с вами предпринять и какое у нас может быть будущее, а просто: что дальше? Что же дальше-то? Ладно; Толя, расскажите, как у вас дела на работе. Я же ничего о вас не знаю, как вы там работаете? Не замыкайтесь, пожа-

луйста, у нас ведь не может быть тайн друг от друга, мы ничем не связаны. У людей, которые ничем не связаны, как мы с вами, как попугачики в поезде, как больные в больнице, не должно быть тайн. Мы не заинтересованы друг в друге, правда, Толя? Вы скажите: да! Если вы будете так сидеть надувшись, я вас отправлю домой. Правда, мы не заинтересованы друг в друге? Ну что же?

— Почему надувшись, я слушаю вас. Я могу сказать еще раз, что вы мне нравитесь. Давайте выпьем: такой стол, такая водка, такие грибки.

— Вы все-таки в чем-то язычник, сознайтесь, Толя! Я вас все-таки разгадала, несмотря на то что вы мне все еще не известны. Вы любите вашу работу? Сколько вы получаете? У вас там хорошо платят?

— У нас там платят маловато.

— А вы? Сколько вы? Я хочу о вас знать!

— Я получаю пока там маловато, но у меня два свободных дня. То есть как свободных: я беру перед тем массу папок с собой домой и предупреждаю начальницу, что я буду работать дома. Через день я приношу все эти папки обратно на работу.

— Боже мой, давайте выпьем, Толя! Налейте мне и пива, все равно.

— Я очень хорошо устроился, практически приходится бывать на службе три дня в неделю.

— За ваше здоровье, Толя, наверно, когда вам было восемнадцать лет, вы были безумно прелестны. У вас еще год назад были волосы другого цвета, сейчас вы потемнели, а тогда у вас были прелестные волосы, какого-то необыкновенного цвета.

— В восемнадцать лет, — отвечает Толя, запрокинув голову и глядя издалека на свечу, — в восемнадцать лет я ничего не помню, у меня ничего не отложилось в памяти, так как я был занят половым созреванием.

— Безумно интересно, Толя! Это какие-то новые нотки у вас появились, это, наверно, виновато пиво, которым вы так усердно запиваете водку. Ну, ничего. Что же с вами было в восемнадцать? Потом, я слышала, вы были женаты и теперь разошлись. Не надо расходиться, это безумно больно.

— Ничего, ничего там не было такого. Это был брак по расчету. Моей жене необходимо было как-то закрепиться здесь, ей нужно было, чтобы у ее дочери была фамилия и так далее.

— Ну а у вас, какой расчет был у вас, Толя? Какую выгоду для себя вы приобрели, какой смысл был вам жениться на

женщине с ребенком? Это придало вам солидности? В этом я вас не понимаю. Не таитесь, откройтесь мне как другу. Вы ведь скрываете все от меня, а это нехорошо. Вы ведь были прелестны, если бы не ваши щеки, не надо так пить, Толя! Это вас старит: вы не должны стариться, как бог Эрос!

— Разрешите, я на минуточку прилягу, — ответил мне на все это Толя и лег на тахту и проспал до девяти часов утра. Я все убрала и сидела, как в прошлом веке, со свечой, а потом достала пижамку из-под головы Толи, из-под подушки, и легла спать на раскладушку, благо у меня вся постель была убрана в шкаф.

Ночью Толя один раз вскочил и быстро-быстро забормотал: «В этой комнате раньше был выход, а теперь в этой комнате нет выхода». — «Что вы, Толя, — ответила я ему, — что с вами?» Он сидел на тахте одетый, желтый при свете свечи, а потом сказал: «Одну минуточку» — и опять упал и проснулся как ни в чем не бывало в девять часов утра.

Я уже в это время пила чай на кухне, что-то мне захотелось чаю, и думала, в какое дурацкое положение перед соседями поставил меня этот Толя. Толя же проснулся как ни в чем не бывало, попил со мной чаю и до двенадцати дня сидел и опять долго и нудно говорил о том, насколько у него в сознании распалась связь времен, рассказывал содержание фильма, которого я еще не видела, и в заключение попрощался и вышел.

Теперь у меня от всего этого головная боль.

Я еще не знаю, что через год он покончит с собой, бросившись из окна.

ЭЛЕГИЯ

Никто бы в мире не взялся за такое дело — говорить, что все это плохо кончится. Скорее бы говорили, что она его окружила своей любовью так, что у него не было никакого выхода: куда бы он ни шел, она бежала туда же, чтобы все на месте проверить, все устроить там так же, как и в предыдущем месте. Доходило даже до смешного: она бегала с дочерьми к нему на работу — одна дочь на руке, другая за руку — они пришли к Павлу в гости, посмотреть, какая у папы работы. Девочки садились за пишущие машинки, а жена Павла с веселым видом беседовала с сослуживицей, сидящей напротив Павла, и говорила ей о трудностях их теперешней жизни в снимаемой ими квартире. Выглядело все необычайно естественно и достойно, если только не принимать во внимание сам чудовишный факт прихода целой семьи, как табора цыган, в солидное учреждение.

Погостив, семья Павла снималась с места и отправлялась восвояси. Девочкам очень нравилось у папы на работе, и всякий раз, когда они гуляли поблизости, а это случалось очень часто, они просили маму повести их к отцу на работу, и они снова появлялись как ни в чем не бывало, и заодно Павел вел их в столовую, и девочки ели казенный обед, а их мать, отдыхая от забот, сидела рядом со своим мужем, и опять-таки все вместе они производили впечатление бродячего табора, такие тесно связанные друг с другом, такие презирающие все формальности, плюющие со своей высоты на распорядок рабочего дня.

В особенности знаменательной была в этом отношении жена: если девочки не могли понимать и не понимали всей неуместности беготни по учрежденческому коридору, то их мать ведь могла разобраться во всем том сложном комплексе чувств, которые должен был испытывать кроткий и легкий по характеру Павел, когда все его гнездо вдруг снималось с места и в полном составе являлось к нему на работу!

К его чести надо сказать, что он никогда не проявлял раздражения или тревоги при виде своей исхудавшей жены и двух беленьких бледных девочек, которые, как бы делая сюрприз, долго прятались в дверях и счастливо смеялись, когда отец их обнаруживал. Павел воспринимал это чрезвычайно легко, как бы не задумываясь над тем, к каким последствиям могли привести эти семейные обеды в учрежденческом буфете, эти тихие супружеские разговоры за пластмассовым столиком, в виду продвигающейся очереди.

Сначала это объясняли тем, что у семьи Павла практически нет жилья и нет хозяйства, потому что они только недавно приехали, возвратились из того города, где Павел работал по распределению после окончания института. Там они ничего не нашли, кроме детей, и вернулись в прежнем состоянии, с чемоданами и без мебели, а мать Павла тем временем уже вышла замуж в свои пятьдесят лет, так что Павлу с семьей надо было снимать квартиру и еще и за это платить из тех немногих денег, которые он получал на новом месте работы. Именно этим и объяснялось то, что жена Павла приводила весь выводок к нему на работу, в его дешевую столовую с этими легковесными столиками, куда взрослым-то людям было можно ходить только по необходимости и из-за спешки, а не то что водить туда

торжественно детей, словно в какой-то ресторан в праздничный день, чтобы только не обременять себя покупками и стряпней и как следует все отпраздновать.

Но ведь жена Павла могла за эти годы жизни в чужом городе научиться что-то примитивно хотя бы готовить, как-то справляться со своими обязанностями хозяйки и матери! Она могла бы не одеваться вот так во все черное, словно олицетворяя всем своим видом какую-то живую честную бедность, хотя действительно бедность была, поскольку Павел из своей небольшой зарплаты еще и должен был платить алименты на ребенка от первого брака. И первый ошибочный брак у Павла был, и чего только не было у этого Павла, который теперь дошел почти до цыганской невозмутимости, чтобы среди бела дня кормить детей увеличенными порциями в своей столовой, где все раздатчицы знали трогательную историю этой семьи и подкармливали их как могли.

Невозмутимость Павла и его жены и мир и покой в глазах его девочек, которых еще никто не одергивал в их шалостях, видимо, производили свое магическое действие и на руководство, которое знало наперечет все о трудностях финансового и жилищного характера у семьи Павла, так что ни у кого не подымалась рука прекратить эту странную семейную традицию, тем более что Павел был многообещающим, даже талантливым работником, который всего себя отдавал делу.

Правда, раздавались голоса, что это все в какой-то мере смахивает на спекуляцию детьми, что некоторые тоже могли бы приводить своих детей на поглядение, только что детей совестно таскать ради такого дела и кормить так, как их кормит жена Павла.

Между тем ничто не мешало очередным приходам девочек с матерью. Девочки не болели и выглядели все так же, и ничто их не брало, никакие обеды, вредные для многих взрослых людей, но только не для Павловой семьи, которой, очевидно, был свойствен здоровый аппетит, присущий всем бедным людям и скитальцам вообще. Как-то они, эти девочки, выглядели умытыми и чистенькими, как-то мать их обстирывала, хотя как ни посмотреть было на учрежденческий садик, все там играли сначала зимой, а потом и весной две маленькие девочки, и все так же ходила с неизменной сумкой в руке жена Павла в черном пальто и черных туфлях, ибо, очевидно было, черный

цвет — это самый дешевый цвет и самый немаркий и экономичный цвет.

Между тем время шло и подошло к лету, и Павлу с его семьей дали при учреждении какую-никакую, в все-таки комнату, которую раньше занимал истопник. Теперь можно было ожидать прекращения семейных визитов, теперь сам муж мог спешить с работы домой в обеденный перерыв, в лоно семьи, где жена на бедной электроплитке, но могла бы все же сварить обед. Однако ничего подобного не было, с той же неуклонностью дети приходили и занимали столик, пока отец и мать стояли в очереди, и так, по-походному, они и обедали. Вообще ничего не менялось в их жизни, ничего не шло к лучшему, хотя от платы за частную квартиру они были теперь освобождены, и, по сравнению с предыдущим периодом, все-таки должно было денег прибавляться. Однако, видимо, любая сумма могла оказаться ничтожной перед той бедностью, которая царила в бывшей каморке истопника.

Павел с разрешения руководства обставил комнату казенной мебелью, какими-то стульями, письменным столом и канцелярским шкафом со многими полками. Жена Павла даже устроила новоселье и, не моргнув глазом, пригласила и сослуживцев, и начальников, и все пришли дружной толпой и провели время, как в лучшие студенческие годы в общежитии, когда все казенное, и стаканы взяты из столовой, а на газете лежит крупно нарезанный хлеб. Все прекрасно провели время, Павел играл на гитаре, горела свеча, и всем было уютно и хорошо. На новоселье молодым подарили предметы первой необходимости, которые сослуживцы покупали по списку, азартно споря, что в первую очередь купить Павлу. От руководства был преподнесен адаптер с пластинками, с тем чтобы дети слушали музыку, но дети музыке не слушали, а все так же копались во дворе, и жена Павла, видимо, пренебрегала всеми этими подаренными кастрюлями и тарелками и все так же водила девочек в столовую обедать.

Эти студенческие манеры кого угодно могли сбить с толку, внушить мнение, что все еще впереди, что все еще открыто, все дороги в том числе, и все придет само собой и будет как у людей, и дети подрастут и узнают, что такое семейный очаг и покой, а не только походная раскладушка и пластмассовый стол в столовой. А пока что пусть они живут как вольные

птицы, пусть пока поживут, побалуются полным отсутствием вещей и забот и даже таких забот, как воспитание детей, которое идет у них само собой, как рашение травы в поле. Многие завидовали умению жены Павла так все поставить, что ничто не обременяло ее, все двигалось само собой, все эти стирки и глажения, и частенько к жене Павла забегали поболтать женщины из его же отдела, потому что зрелище чужого счастья и полной устроенности, и полной свободы как нельзя более очистительно действует на душу, тем более зрелище счастья, какое было у Павла и его семьи, когда тихие, в меру шаловливые и незаметные, как все воспитанные дети, девочки Павла рисовали за казенным письменным столом, рисовали талантливо, и жена Павла, и он сам обращали внимание на них не больше, чем на траву в поле. И Павел мог совершенно спокойно, насвистывая, собирать телевизор из каких-то разрозненных деталей, а жена Павла тихо стирала и приветливо приглашала присесть на старый казенный стул — это производило неизгладимое впечатление простоты и свободы, какой не было ни у одной из навещавших жену Павла женщин, обремененных то ли своей неустроенной, то ли своей полностью устроенной и вошедшей в жесткие рамки судьбой.

Иногда такие встречи происходили и вечерами на службе, когда Павел, к примеру, делал со своими сослуживцами срочную работу, а жена Павла, уложив детей, приходила посидеть вместе со всеми и клеила или перепечатывала что-нибудь на машинке. Женщины из Павлова отдела догадывались, что Павлу не место вечером вне дома, что его добросовестность тут не совсем укладывается в рамки рабочей добросовестности и что скорей тут может идти речь об увиливании от семейного гнезда, от распорядка дома, как бы свободен этот распорядок ни был. Павел еще завел привычку работать вечерами над техническими переводами или уходил в библиотеку, и тут его жена не могла сопровождать его, прикованная к близнецам, которых надо было уложить спать, а младшей, более слабой, сделать массаж ножки.

Поэтому женщины всей душой были на стороне жены Павла и осуждали Павла за легкомыслие, вообще за легкость, с которой он шел на ущемление интересов семьи, с легким сердцем уезжая в командировку, например, чего жена

Павла просто не в силах была вынести, хотя денег от этого прибывало; жена Павла в такие дни даже не появлялась с девочками в столовой, а приходила в отдел Павла только с тем, чтобы позвонить по междугородней своему отлётевшему мужу.

С другой стороны, некоторые вдруг стали отмечать, что Павел действительно работает много и для пользы дела, и своей же собственной семьи, для чего же еще; а жена Павла вела себя так, что постепенно перед всеми прояснилась ситуация Павла, при которой он не мог и шагу ступить, словно обложенный со всех сторон, не мог буквально шагу ступить со двора, постоянно вместе с ним выходила и его жена с двумя девочками, иногда, правда, девочки оставались во дворе, и жена одна бегом догоняла Павла и шла рядом с ним, даже если он шел в управление, а чаще всего так оно и было.

Что бы там ни было, она всюду за ним следовала, и Павел вечно должен был чувствовать себя окруженным, что, несомненно, принесло свои плоды: когда жену Павла вызвали телеграммой по поводу болезни ее матери и наконец-то она улетела вместе с девочками, они улетели, а не он — Павел чуть не повредился в разуме, ходил как заведенный все вечера по своей комнатухе, благо этих вечеров было всего четыре, на пятый день жена и дети приехали раньше времени, и неизвестно было, то ли мать так быстро выздоровела, то ли жена Павла не вынесла долгой разлуки и вернулась к мужу, оставив мать в болезни, и еще три дня приходили Павлу письма от его уже возвратившейся жены.

Так что тут речь может идти только о том, что жена Павла опутала его, лишила его собственной его защиты, инстинкта самосохранения, потому что он не мог прожить без нее, просуществовать без нее и погиб при первой же ситуации, которая грозила ему опасностью: он однажды вечером упал с обледенелой крыши, куда полез устанавливать антенну для своего самодельного телевизора, который мог стать первым признаком приближающейся благоустроенности, будущей жизни, теперь уже не кочевой, а иной — и более размеренной, и подобной всем иным жизням. В данном случае телевизор выступил в роли символа, хотя после чьей-либо смерти все, предшествующее ей, выступает в роли символа. В случае же с Павлом символично было и то, что он, споткнувшись на крыше, не смог удержаться

и соскользнул вниз. Так, по крайней мере, было объяснено впоследствии это происшествие, но это восстановление истины уже ничего не изменило, и жена Павла с двумя девочками исчезла вон из города, не отвечая ни на чьи приглашения пожить и остаться, и история этой семьи так и осталась незаконченной, осталось неизвестным, чем на самом деле была эта семья и чем все могло на самом деле закончиться, потому что ведь все в свое время думали, что с ними что-нибудь случится, что он от нее уйдет, не выдержав этой великой любви, и он от нее ушел, но не так.

СЕРЕЖА

Я не могу понять одного: почему он бросил Надю, ведь он знал, что ее это доконает, и она действительно умерла через год после его смерти. Но все-таки он бросил Надю каким-то чудовищным способом, каким-то пошлым способом, который ему, очевидно, доставил наибольшее чувство разбомбления жизни. Между прочим, я знаю нескольких таких мальчиков, которые именно так предпочитают уходить от уже впавших в зависимость женщин: эти мальчики добиваются полного проникновения в душу своих женщин, они буквально допрашивают их обо всем, об их прошлом, об их мыслях, они входят в сознание этих женщин, вытесняя оттуда все, что так или иначе не связано с теперешней дружбой. Эти мальчики самым настоящим образом страдают от того, что женщины все-таки им не доверяют: ведь женщины эти уже тоже кое-что узнали в жизни и не верят в полное совпадение душ. Но потом получается всегда

так, что женщины, под влиянием расслабляющего ежеминутного присутствия в их душе этих мальчиков, начинают верить в родство душ и в то, что их жизнь нашла какой-то мирный придел, тихую пристань покоя и обволакивающей любви. И эти женщины открывают свои закрома, свои сокровищницы и под пристальным наблюдением мальчиков выкладывают одно за другим, вплоть до снов и впечатлений детства, вплоть до своих примитивных страхов и надежд. И все это само собой линяет и обесценивается, будучи объяснено, растолковано и упорядочено одно за другим, и все это уходит, уже не имея применения, из дальнейших воспоминаний вслух, но женщина странным образом ликует, восполняя себя другим — теперь его воспоминаниями детства, его страшной, мистической трагедией брошенного в Лондоне мальчика, в то время как отчим, дипломат, и мать, хозяйка дома, уезжали в многочисленные поездки. И теперь женщина будет хранить, вынуждена хранить в себе и его первые впечатления от проститутки, и от виски с содовой, и ненависть к отчиму, когда он приезжал и требовал финансового отчета до последнего пенса, и мучил, добываясь всех расходов, и вынуждал врать и сам потом ловил его на этом вымученном вранье.

А потом наступает финал этого родства душ, финал очень простой, грубый, с непонятым оттенком злорадства и саморазрушения: например, Надя в один прекрасный день просто улышалась от него то, что он женится.

После его смерти я спрашивала всех, в том числе и Надю, которая все возилась со своими почками и вскоре должна была от них умереть, — и Надя мне ничего особенного не рассказала, кроме того, что она была просто потрясена этой фразой и его поведением и, что самое главное, ей было абсолютно непонятно все. И он мелочно, как-то очень по-мальчиковски, хлопнул дверью, он как бы отказался от своей всегдашней корректности, и этого, как мне рассказывала Надя, она не могла вынести. Кроме того, у него в руках была огромная, прекрасная коробка шоколадных конфет, которую он так и не выпустил из рук и ушел с ней, хлопнув дверью, как бы желая подчеркнуть, что именно коробка конфет мешала ему как следует прикрыть дверь.

На Ирине он женился через месяц. Ира была моей подругой, и я была свидетелем на их свадьбе. Я помню, как она до последнего мгновения не верила, я держала ее под руку, когда она подходила к столу поставить свою подпись, и я крепко сжимала ее локоть, потому что она дрожала крупной дрожью.

Она боялась его почти весь первый год их совместной жизни. Она не скрывала этого от меня. Она говорила, что никакие попытки наладить с ним контакт не приводят ни к чему, что он почти всегда сидит, впериw взгляд в одну точку, не отвечая ни на какие призывы, даже на призывы пойти выпить чаю. Она вообще весь первый год все еще была удивлена, что он на ней женился, однако фраза «Она не могла поверить своему счастью» здесь тоже не подходит. Она не любила его, она просто не успела его полюбить за те несколько коротких встреч, которые у них были за все время их знакомства. Раза три-четыре они виделись, она запомнила, что он однажды принес огромную коробку конфет, а затем сделал предложение. Она сразу же согласилась, потому что он ей, во-первых, очень нравился, он был необычен, а потом редко какая женщина не ответит согласием на предложение, исходящее от человека такой силы духа. А может быть, просто ей было уже пора выходить замуж.

Так они прожили вместе год, и к концу этого года Ирина обрела равновесие и все установилось к лучшему в их семье. Никаких попыток проникнуть в ее внутренний мир он не предпринимал, и она тоже, она ведь очень умная женщина. Никакой душевной близости там, понимания с полуслова у них не было. Вместе с тем они прекрасно проводили вместе время, окруженные друзьями. У Ирины оказалось одно великолепное качество, которое было в ней всегда, но теперь расцвело просто пышным цветом: это качество было — вера в себя. Она ни в чем никогда не подвергала сомнению свою ценность, она несла себя как на ладони, соблюдая изящество и соразмерность во всем — в еде, в разговоре. Все она чувствовала в себе знаменательным, но это не утомляло ничьего слуха или зрения, потому что ей бы даже в голову никогда не пришло кому-то доказывать свою значительность или в ком-то искать этому подтверждения. Она никогда не снисходила до того, чтобы краситься, а надо сказать, что по природе своей она была необыкновенно некрасива. Но некрасива хорошо, не нелепо, породисто. Короче говоря, волей случая Сережа нашел себе подругу жизни совершенно идеальную, а может быть, и не волей случая.

Мы все вились вокруг этой пары, в их открытом доме, мы разговаривали около них двоих обо всем на свете. Сережа знал несколько языков еще с детства, он был очень начитан и эрудирован и обязательно несколько вечеров в неделю проводил в библиотеке. Он изучал народников, просто так, не для своей работы — он работал всего-навсего переводчиком. Он изучал

народников и иногда рассказывал нам о них, но я мало что запомнила из его рассказов, потому что это не были исторические анекдоты и курьезы, а просто какие-то серьезные события, внешне очень пресные и имеющие строго хронологический характер.

Но чувствовалось, что он изучает народников просто так, не для того, чтобы затем, в дальнейшем, использовать это в каких-то целях. Во всяком случае, не затем, чтобы обогатить свой внутренний мир, и уж конечно не затем, чтобы писать работу о народниках. Просто это была какая-то привычка, вроде собирания брелочков или кусков мыла.

Мы восхищались Сережей именно за то, что для него, очевидно, не существовало никаких благ, которых бы он хотел добиться. Он не был честолюбив и тщеславен, он был болезненно не тщеславен. Он был в таких размерах не тщеславен, что мы чувствовали в нем великую душу полководца, пребывающего в опале и брезгающего мелкими проявлениями почета и мелкими воспоминаниями и мечтами.

Ему ничего не нужно было, кроме того разве, что он иногда уезжал на дачу и проводил там время с живущими там стариками — родителями Ирины, но отдельно, конечно, от них. Ирина же терпеть не могла этой дачи и никогда вместе с Сережей туда не ездила.

Теперь я еще могу сказать, что он имел на нас, конечно, невероятное влияние. Я не могу сказать больше о себе, потому что я тогда не способна была себя анализировать, я была тогда, в те годы, просто бесформенной подушкой. Конечно, у меня тоже были свои сны и свои воспоминания детства, на которые никто никогда не покушался. Я не придавала им значения. Уже тогда, не ожидая никого, кто мог бы потом пренебречь этими моими ценностями, я отвергла их и больше к ним никогда не возвращалась. Вместо этого я была полна Сережей.

Мы все были люди, что называется, не творческие. Среди нас не было ни единого художника, или поэта, или актера. Мало того, среди нас не было и людей, блещущих какими-то домашними талантами. Мы никогда не приводили в дом к Сереже никого, кто так или иначе мог украсить наше общество хотя бы только присутствием в нем. Мы как-то инстинктивно чувствовали, что человек так называемый «творческий» — это всегда зависимый человек, не могущий жить без внимания. Мы никогда не обсуждали вопрос, может ли существовать искусство без зрителя, без второй стороны, без осматривания, заслу-

шивания и суждения толпы. И никто из нас никогда не сожалел, что огромные силы Сережиной души оставались втуне, не примененными ни в какой сфере творчества. Я даже позволю себе сказать, что огромность Сережиной души поблекла бы и растаяла, если бы он вздумал заняться, скажем, писанием романа. Сережа не мог предстать перед кем-то обнаженным, беззащитным, судимым. Само показывание себя было бы для него нестерпимо.

Я даже могу сказать, что Сережа не жил с Ириной в том, общепринятом смысле этого слова. И в какой-то степени, я не могу точно сказать в какой, это тоже относилось к его взглядам на творчество, как это ни смешно звучит. В браке есть тоже нечто общепринято-бесстыдное, освященное будущим появлением детей.

Однажды мне позвонил на работу сосед Сережи, молодой человек, живший в той же квартире с женой и маленькой дочерью. Он сказал, задыхаясь от плача:

— У нас большое несчастье, вы слушаете?

Я сразу заплакала, потому что поняла, что у них умерла дочка, я всегда с ужасом думала об этом, я ее безумно любила, как-то животно; это был единственный ребенок в нашем кругу, и Сережа любил ее больше жизни и иногда ходил смотреть, как она спит, и просиживал около ее кровати, когда она болела, целые дни и был готов сидеть и ночью.

— Вы слушаете? — сказал сосед. — Сережа наш повесился. Мы сейчас вернулись из морга, его принесли из лесу пастухи, там, на даче.

И тут я при всех, ясным солнечным утром, на работе, начала кататься по полу меж столов, в полном сознании того, что я не успела, не успела, не успела...

Это уже потом я стала ездить по его бывшим знакомым, нашла Надю и долго говорила с ней, а потом ездила к ней в больницу и хоронила ее через год. Я узнала о Сереже все, что можно только было узнать и чего никогда не знала и не узнала Ирина. И все равно мне этого мало, слишком мало. У меня все остается то чувство, которое я испытала на полу у себя на службе, — не успела, не успела, не успела...

НЮРА ПРЕКРАСНАЯ

Такой красивой как эта Нюра в гробу, во-первых, она никогда не была при жизни — может быть, если представить себе выпускной бал и ее прежние шестнадцать лет, но печать трагедии на лице!

Люди смущенно толпились вокруг гроба, было чему смутиться — лежала совершенная спящая красавица, да еще печальная, юная, безнадежно больная, да что там, мертвая: во что не верилось.

Брови вразлет, нежный припухший (как от слез, ведь она умирала семь дней) рот, Господи!

Но и имелось нечто другое, от чего люди мялись: это все была работа оператора с мертвыми, оператора в том смысле, что он (вроде бы), увидев ее, сказал, присвистнув (мысленно, видимо, присвистнув), оставьте нас одних.

Материал был божественный, хотя, повторяю, семь дней пыток после операции, полная неподвижность, слезы, боль, все это Нюра вынесла и умерла, исхудав как ребенок.

Так что гример-оператор со своей гробовой косметикой, видимо, создал произведение искусства, запомнившееся всем на оставшуюся жизнь.

Намерение заказчиков было не смущать публику видом страшного после страданий личика молодой Нюры, а смутили другим: как такое отдавать сырой земле?

Земля была действительно сырая в тот день, но дождик, слава тебе, Господи, не шел, а то бы растаяло творение классика-гримера. Толпа взирала изумленно, смущенно, муж, совершенно потеряв голову, ополоумев, говорил что-то типа «вот лежит моя Нюра» и какую-то даже прощальную речь, что прощай, моя красавица, растерялся.

Мать Нюры выглядела просто раздавленной, никакой, полиняла в толпе, а статная, рослая была красавица тоже в свои пятьдесят лет, но истаяла, слезы растворили ее лицо, месиво было какое-то, а не лицо.

Муж с красным, она с известковым, серым, а Нюра в гробу нежно-загорелая, чтобы он провалился, этот оператор, с его ящиком красок. Толпа была смущена еще и потому, что все хорошо знали, какой темно-обугленной пришла Нюра к своему концу, вроде загорелая после отпуска (только приехали с мужем с юга), однако же именно как головешка, тревожные, горящие сухие глаза, сухой, спекшийся рот, тоска снедала эту молодую красавицу, тоска и печаль, ибо муж давно жил на стороне с подружкой, и уже был ребенок, а Нюра не смогла родить ребеночка и всюду ходила со своей собакой.

Кстати, после автокатастрофы, когда Нюру отвезли с развороченной спиной в больницу (удар пьяного водителя пришелся на заднее сиденье машины, где Нюра сидела с собакой, потом Нюра умерла, а песик, находившийся у нее на коленях под ее защитой, остался жив, и после похорон, во время поминок, его отнесли к соседям, он ничего не мог понять, искал и искал, видимо, сошел с ума. Его защитило бедное Нюрино тело).

Стало быть, Нюра ушла красавицей, которой она, возможно, никогда не видела себя, — спокойные брови вразлет, так называемые «ласточкины крылья», и горящие обидой черные глаза, навеки спрятанные под тяжелыми веками.

Все были еще смущены и потому, что тут явно прослеживался какой-то слишком уж простой, даже примитивный сюжет: не-

нужное, бросовое и лишнее, скандальное и плачущее погибло в муках, а спокойное, терпеливо ждущее с ребенком на руках, живет и скоро свадьба.

В этом смысле гробовой художник как бы показал миру, какое сокровище ушло, да что толку-то, думали все с досадой.

А некоторые (видимо) мялись оттого, что подозревали нехорошие дела, что судьба способствовала мечтам небрачной пары, хотя именно о таком ужасном развороте событий, о развороченной спине, они никогда не думали даже в самых страшных снах, которые, как известно, (страшные сны), являются именно мечтами, но вот вам пример: мечтали — получили, да еще вдесятеро больше.

Нет, нет, но да, да и еще раз да.

Слишком простой сюжет, слишком простой и ничего никому не давший, ничему не научивший, ибо никто, в мечтах разоряющийся на смерть ненужного человека, никто, повторим, ничему не научится, не содрогнется в ужасе над собой, жизнь идет вперед и вперед, и нет сомнений ни у кого, что мечты напрасны, мечтай сколько угодно.

Но ведь не напрасны эти мечты, в конце концов они так или иначе сбываются, как в случае с несчастной Нюрой, и Нюра не просто так умерла, по-видимому, раз ее печальный образ витает над разбежавшейся толпой, раскрашенное, обиженное лицо.

О, СЧАСТЬЕ

Две маленькие женщины думали про себя, что они уже старухи (двадцать два года), и одна была как Брижит Бардо, русский смуглый вариант, все в большом порядке и мальчики смотрят со значением, а другая была пришей кобыле хвост подруга, преданная и любящая подколотная змея, которая обожала свою Марусю до такой степени, что заодно влюбилась и в ее мальчика Боба, и иногда они втроем ходили куда-нибудь в гости, к Боба знакомым художникам и поэтам, черненькая Маруся, высокая как трость, глаза прожекторы, посмотрит — осветит, а рядом ее ядовито-вежливый Боб, тоже худой и высокий, мечта многих девушек: руки плетьюми, глаза запавшие, зубы волчьи, когда ухмыляется, большие, белые и острые.

И тут же впритирку всегда эта малозаметная, как она думает про себя, хотя тоже не лыком шита в любом другом месте, но

не рядом с ними, тут все идет в тартарары, смотрит на свою Марусю и думает: все взоры только на нее, и правильно.

И что прикажешь делать в такой ситуации, когда вот они, мечты, сбылись: ее взяли с собой в гости в такой дом, народ отмечает Первомай, бренчит гитара (скоро ее грохнут об угол), поэты читают в темной спальне при свече; бродят бородатые в свитерах Хемингуэи, художники и писатели, но ни один не нужен, вообще ничего не нужно этой бедняге, стоит она с бокалом сухаря в руке у книжных полок нервничает, а Маруся и Боб пошли покурить на балкон, там далеко видно ночную Москву; идут ранние шестидесятые годы, скоро многих посадят, многих из тех, кто тут пирует, начнутся лагеря, ссылки, обыски, эмиграция, подполье в виде кочегарок, диспетчерских при больницах и сторожевых комнатух с телефоном и топчанчиком — короче, все разлетится.

Возможно, это вершина их молодой жизни, пик радости: возможно, каждый потом, сидя где-нибудь в Париже или работая в лагерных мастерских по пошиву брезентовых рукавиц или по вязанию картофельных сеток, — они все будут вспоминать этот странный первомайский праздник в квартире Литвиновых, сломанную гитару (так никто и не спел) и сломанный же хула-хуп, эта зарубежная диковина была сведена на нет, в восьмерку, одним пьяным орлом по скручиванию подков: опа!

Полное одиночество в этой квартире, полной народу, можно закурить, можно взять журнал «Kobieta i życie» (Польша), но тоска смертельная по Марусе и Бобу, которые о ней забыли и тихо смеются на балконе, овеваемые майским ночным ветерком в толпе других курящих.

Специально не пошла, осталась тут, избавиться от этого наваждения, может, кто-нибудь подхилнет и можно будет отвлечься, поговорить, но никто не подходит, все слоняются с ошалелым видом, тут же сидят на полу, в кухне все забито, в спальне опять-таки не протолкнуться, там Сапгир, Холин и Сева Некрасов, поэты, там младший Кропивницкий.

И наша девушка, беленькая, большеглазая, бледная как смерть (понятно почему), старуха двадцати двух лет, остановившимся взором смотрит мимо балкона, к ней и приближаться-то незачем, все написано на лице, любовь, ревность, обида: уйти, уйти, думает эта беленькая сама про себя, надо уйти раз и навсегда, но она не уходит.

Любимая подруга возвращается с балкона, тихо смеется над нашей бедняжкой, говорит: «Скукотища какая тут», говорит «ты

сегодня клево выглядишь, все на тебя смотрят, обрати внимание», и мученица теплеет, безумная ее любовь к этим двоим (а Боб остановился с каким-то диким в бороде и дает ему сигарету и прикурить, это художник Зверев, сколько ему жить-то осталось, но поживет еще у своей старухи Асеевой, которую, все это знают, он ласково называет как-то вроде «биздюля»), безумная любовь к Бобу и такое чувство, что без Маруси невозможно существовать. Маруся красавица и запоминает английский словарь столбцами, даже сама пугается и швыряет словарь под кровать.

Но не это важно. Маруся всеобщая мать, пригревает, снисходительна ко всем. Маруся сама себе шьет и вяжет, у нее мама тоже просто мечта, тоже жалеет всех вокруг — как блондиночка любит Марусину маму, как любит!

Маруся стоит у книжных полок и не ведает, что мама ее умрет через два года, и Маруся сразу же после похорон мамы родит недоношенного сыночка, но не от Боба.

Боба уже не будет на ее горизонте, давно его нет, он бросил Марусю как только она забеременела, хотя проявил заботу, сам достал ампулу и вколол ей укол, был страшный вечер при настольной лампе, обошлось без больницы, без аборта, никто ничего так и не узнал ни дома, ни на филфаке, но все это будет иметь далеко идущие последствия для Марусеньки, опухоль, операцию, трудные роды и т. д.

Когда он сказал Марусе, пришел в очередной раз и сказал со своей знаменитой улыбкой, что очень сожалеет, но больше ничего у них не будет — она чуть не покончила с собой, пошла проводила Боба до его подъезда и на обратном пути шагнула под машину, закрыв глаза, но он, как выяснилось, шел следом за ней и спас, обхватил руками, привел ее к ней же домой, трахнул, но через час все-таки удалился со своей волчьей ухмылкой: жизнь его, видимо, протекала уже в иных мирах, он шел навстречу своей гибели, как потом оказалось.

Как потом оказалось, он незадолго до того лихо украл с международной полиграфической выставки монографию Босха, такой вид спорта; в результате был выгнан из своего архитектурного института, и это как раз и была эпоха укола при настольной лампе и прощания — а затем Боб, проще простого, никому не сказав ни слова и никого собой не обременяя, даже специально порвав с друзьями, был взят в армию с третьего курса и там, в далеких семипалатинских степях облучился на полигоне и вернулся домой уже списанным инвалидом, правда,

без диагноза «белокровие», такие диагнозы вслух не произносились.

Так что когда он через два года пришел домой к матери и отчиму умирать от лейкоз с копеечной пенсией, Марусенька уже была замужем, бегала к матери в онкологию, держалась молодцом и готовилась к родам.

Боб и Маруся перезванивались.

Наша вторая героиня, беленькая, тоже родила в тот год, на три месяца раньше Марусеньки, была неожиданно для себя счастлива и любила своего мужа и сына, забыв обо всем на свете.

Она знала от Маруси обо всех перипетиях, но позвонить Бобу не решалась — наверно, многие не решались ему позвонить в те поры, такова человеческая психология, неудобно как-то звонить приговоренному: ну как ты, что ты, а он в ответ что должен говорить, спрашивается.

Дело кончится тем, что они обе, обнявшись, будут плакать на похоронах Боба, когда гроб с его немисливо исхудавшим телом пойдет вниз под траурную фисгармонию Донского крематория.

А сейчас Маруся стоит в литвиновской квартире и не знает, что в конце концов все ее раны зарастут, все затянется теплым покровом жизни, деточки оклемаются, а ее собственная красота так и останется при ней, никому не нужная, мужу тем более, опасная, чувственная красота, приманка для автобусных знакомств, для служебных дней рождения и приключений в командировках и домах отдыха.

А та, которая так страдала и так любила прекрасных своих друзей, Марусеньку и Боба, на всю жизнь запомнит эту теплую первомайскую ночь, когда они втроем шли, торопились к закрытию метро, Боб с Марусей и она сбоку, и как они облегченно хохотали, уйдя из скучного дома, а майская ночь плыла всеми своими звездами над Москвой-рекой, вверху и внизу тоже мерцали теплые огни, и очень хотелось плакать — от счастья, видимо, от счастья.

•

В САДАХ ДРУГИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

•



НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ

(Хроника конца XX века)

Мои папа с мамой решили быть самыми хитрыми и в начале всех дел удалились со мной и с грузом набранных продуктов в деревню, глухую и заброшенную, куда-то за речку Мору. Наш дом мы купили за небольшие деньги, и он стоял себе и стоял, мы туда ездили раз в году на конец июня, то есть на сбор земляники для моего здоровья, а затем приезжали в августе, когда по заброшенным садам можно уже было набрать яблок, терновки-сливки и одичавшей мелкой черной смородины, а в лесах была малина и росли грибы. Дом был куплен как бы на развал, мы жили и пользовались им, ничего не поправляя, пока в один прекрасный день отец не договорился с шофером, и мы весной, как только просохло, отправились в деревню с грузом продуктов, как Робинзоны, со всяким садовым инвентарем, а также с ружьем и собакой

борзой Красивой, которая, по всеобщему убеждению, могла брать осенью зайцев в поле.

И отец начал лихорадочные действия, он копал огород, захватив и соседний участок, для чего перекопал столбы и перенес изгородь несуществующих соседей. Вскопали огород, посадили картофеля три мешка, вскопали под яблонями, отец сходил и нарубил в лесу торфа. У нас появилась тачка на двух колесах, вообще отец активно шурувал по соседним заколоченным домам, заготавливал что под руку попадется: гвозди, старые доски, толь, жесть, ведра, скамейки, ручки дверные, оконные стекла, разное хорошее старье типа бадеек, прялок, ходиков и разное ненужное старье вроде каких-то чугунков, чугунных дверок от печей, заслонок, конфорок и тому подобное. Во всей деревне было три старухи, Анисья, совсем одичавшая Марфутка и рыжая Таня, у которой единственной было семейство и к которой на своем транспорте наезжали дети, что-то привозили, что-то увозили, привозили городские банки консервов, сыр, масло, пряники, увозили соленые огурцы, капусту, картошку. У Тани был богатый погреб, хороший крытый двор, у нее жил какой-то замученный внук Валерочка, вечно страдавший то ушами, то коростой. Сама же Таня была медсестра по образованию, а образование она получила в лагере на Колыме, куда Таня была отправлена за украденного из колхоза поросенка, в возрасте семнадцати лет. У Тани не зарастала народная тропа, у нее топилась печка, к ней приходила пастушиха Верка из соседней обитаемой деревни под названием Тарутино и кричала еще издали, я наблюдала: «Таня, чаю попить! Таня, чаю попить!» Бабка Анисья, единственный человек в деревне (Марфутка не в счет, а Таня была не человек, а преступник), сказала нам, что Таня в свое время была здесь, в Море, завмедпунктом и чуть ли не главным человеком, у нее делались большие дела, полдома она сдавала под медпункт и тоже шли деньги. У Тани и Анисья поработала пять лет, за что и осталась вообще без пенсии, поскольку не доработала в колхозе до положенных двадцати пяти лет, а пять лет подметания в медпункте не считаются для выплаты пенсии как рабочему. Мама съездила было с Анисьей в собес в Призерское, но собес был уже навеки и безнадежно закрыт, и все было прикрыто, и мама быстро пешком дотопала двадцать пять километров до Моры с напуганной Анисьей, и Анисья с новым рвением принялась копать, рубить в лесу, таскать сучья и стволы к себе в дом: спасалась от перспективы голодной смерти, которая ожидала бы ее в случае

безделья, и живой пример тому являла Марфутка, которой было восемьдесят пять лет, и она уже не топила в избе, а картофель, который она кое-как перетаскала к себе в дом, за зиму замерз и теперь лежал гнилой мокрой кучкой — все-таки Марфутка за зиму кое-что подъела, да и со своим единственным добром, гнилой картошкой, не желала расставаться, хотя мама меня к ней однажды послала с лопатой все это выскрести. Но Марфутка не открыла мне дверь, разглядев в заткнутое тряпками окно, что я иду с заступом. Марфутка то ли ела картошку сырой при полном отсутствии зубов, то ли разводила огонь, когда никто не видел, — неизвестно. Дров у нее не было ни полена. Весной Марфутка, закутанная во множество сальных шалей, тряпок и одеял, являлась к Анисье в теплый дом и сидела там как мумия, ничего не говоря. Анисья ее и не пыталась угощать, Марфутка сидела, я посмотрела однажды ей в лицо, вернее в тот участок ее лица, который был виден из тряпья, и увидела, что лицо у нее маленькое и темное, а глаза как мокрые дырочки. Марфутка пережила еще одну зиму, но на огород она уже не выходила и, видимо, собиралась умирать с голоду. Анисья простодушно сказала, что Марфутка прошлый год еще была хорошая, а сегодня совсем плохая, уже носочки затупились, смотрят в ту сторону. Мать взяла меня, и мы посадили Марфутке картошки так с полведра, а Марфутка смотрела за нами с задов своего домишки и беспокоилась, видно, что мы захватили ее огородик, но доползти до нас она не посмела, мать сама пошла к ней и дала ей полведра картошки. Видимо, Марфутка поняла, что ее огород покупают за полведра картошки, и не стала брать картошку, сильно испугавшись. Вечером мы с мамой и папой пошли к Анисье за козьим молоком, а Марфутка сидела там. Анисья же сказала нам, что она нас видела на Марфином огороде. Мама ей ответила, что мы решили помочь бабе Марфе. Анисья же возразила, что Марфутка собралась на тот свет, нечего ей помогать, она найдет дорогу. Надо сказать, что Анисье мы платили не деньгами, а консервами и пакетами супов. Долго это продолжаться не могло, молоко у козы было и прибывало с каждым днем, а консервами мы только и питались. Надо было установить более жесткий эквивалент, и мама сказала тут же после разговора с Анисьей, что консервы кончаются, есть нам самим нечего, так что молоко покупать не будем. Анисья, человек смекалистый, ответила, что завтра принесет нам баночку молока и поговорим, может, если у нас есть картошка, тогда поговорим. Анисья, видимо, злилась на то, что мы тратим

картофель на Марфутку, а не на покупку молока, она не знала, сколько мы извели картофеля на Марфуткин огород в голодное весеннее время (месяц май — месяц ай), и воображение у нее работало, как мотор. Видимо, она прорабатывала варианты Марфуткиного скорого конца и рассчитывала снять урожай за нее и заранее сердилась на нас, владельцев посаженного картофеля. Все становится сложным, когда речь идет о выживании в такие времена, каковыми были наши, о выживании старого немощного человека перед лицом сильного молодого семейства (матери и отцу было по сорок два года, мне восемнадцать).

Вечером к нам сначала пришла Таня в городском пальто и резиновых сапогах желтого цвета, с новой хозяйственной сумкой в руках. Она принесла нам задавленного свиной поросенка, завернутого в чистую тряпку. Она полюбопытствовала, прописаны ли мы в Море. Она сказала, что у многих домов есть владельцы и они захотят приехать, если им написать, а это не брошенные дома и брошенное добро, и каждый гвоздь надо купить и вбить. В заключение Таня напомнила нам о перенесенной изгороди и о том, что Марфутка еще жива. Поросенка она предложила купить у нее за деньги, за бумажные рубли, и папа в этот вечер рубил и солил мертвого поросенка, который в тряпке был очень похож на ребенка. Глазки с ресничками и тэ дэ.

Потом, после ее ухода, пришла Анисья с баночкой козьего молока, и мы быстро договорились за чашкой чая о новой цене молока, за банку консервов три дня молока. Анисья с ненавистью спросила о Тане, зачем она приходила, и одобрила наше решение помочь Марфутке, хотя о Марфутке она отозвалась со смехом, что от нее пахнет.

Козье молоко и давленный поросенок должны были уберечь нас от цинги, кроме того, у Анисьи подрастала козочка, и мы решили ее купить за десять банок консервов, но попозже, когда она чуть подрастет, поскольку Анисья лучше понимает, как растить козлят. С Анисьей мы, правда, не переговорили, и эта старая бабка, помешавшись на почве ревности к своей бывшей заведующей Тане, пришла к нам торжественная, с убитой козочкой в чистой тряпке. Две банки рыбных консервов были ей ответом на ее дикое поведение, а мама заплакала. Мы попробовали, сварили свежего мяса, но есть его было невозможно почему-то, папа его опять-таки засолил.

Козочку мы все-таки купили с мамой, отшагав десять и десять километров туда и обратно за Тарутино, в другую деревню,

но мы шли как бы туристы, как бы гуляя, как будто времена остались прежними. Мы шли с рюкзаками, пели, в деревне спросили у колодца, где попить козьего молока, купили за лепешку хлеба баночку молока и восхитились молодыми козлятками. Я стала искусно шептать маме, как будто я прошу козленочка. Хозяйка сильно возбудилась, предчувствуя бизнес, но мама на ухо же мне отказала, тогда хозяйка льстиво похвалила меня, сказав, что любит козлят как родных детей и потому мне бы отдала в руки обоих. Но я сказала: «Что вы, мне одну козочку». Быстро сторговались, тетка явно не знала нынешнего счета деньгам и взяла мало, и даже дала нам комочек каменной соли в дорогу. Видимо, она была убеждена, что сделала выгодное дело, и действительно, козочка быстро начала у нас хиреть, перемучившись в дороге. Положение поправила все та же Ани-сья, она взяла козленка к себе, предварительно вымазав его своей дворовой грязью, и коза приняла козленка как своего, не убила. Анистья просто цвела.

Самое основное теперь у нас было, но мой неугомонный хромой отец начал уходить каждый день все в лес и в лес. Он уходил с топором, с гвоздями, с пилой, с тачкой, уходил на рассвете, приходил в ночной тьме. Мы с мамой возились в огороде, кое-как продолжали отцовскую работу по сбору оконных рам, дверей и стекол, потом мы все-таки готовили, убирали, носили воду для стирки, что-то шили. Из старых, свалявшихся тулупов, найденных по домам, мы шили что-то типа пимов на зиму, шили рукавицы, сделали для кроватей меховые подстилки. Отец, когда увидел такую подстилку ночью, нащупал под собой, мгновенно скатал все три штуки и утром увез на тачке. Похоже было, что отец готовит еще одно логово, только в лесу, и это оказалось потом очень и очень кстати. Хотя потом оказалось также, что никакой труд и никакая предусмотрительность не спасут от общей для всех судьбы, спасти не может ничто кроме удачи.

Тем временем мы прожили самый страшный месяц июнь (месяц ау), когда припасы в деревне обычно кончаются. Мы жрали салат из одуванчиков, варили щи из крапивы, но в основном щипали траву и носили, носили, носили в рюкзаках и сумках. Косить мы не умели, да и трава еще не очень поднялась. Анистья в конце концов дала нам косу (за десять рюкзаков травы, а это немало), и мы с мамой по очереди косили. Повторяю, мы жили далеко от мира, я сильно тосковала по своим подругам и друзьям, но ничто уже не доносились до

нашего дома, отец, правда, слушал радио, но редко: берег батареек. По радио передавались все очень лживое и невыносимое, но мы косили и косили, наша козочка Рая подрастала, надо было ей подыскивать козлика, и мы пошли опять в ту же деревню, где проживала наша владелица еще одного козленка. А ведь она нам его навязывала тогда, а мы и не знали подлинной ценности козленка! Хозяйка козленка встретила нас неприветливо, все уже о нас все знали, но не знали, что у нас есть козочка: наша Райка воспитывалась у Анисьи. Поэтому хозяйка встретила нас неприветливо: она нам продала, а мы не уберегли, наше дело. Козленка она не стала продавать, муки у нас уже не было, ни муки, ни лепешек — да и ее козленок весил уже много, и три кило свежего мяса стоило неизвестно сколько в то голодное время. Договорились мы только на том, что отдаем ей кило соли и десять брусков мыла. Но это для нас была цена будущего молока, и мы сбежали домой за всем этим делом, предупредив хозяйку, что нам нужен живой козленок. «А что я буду, мартышка для вас», — ответила хозяйка. К вечеру мы принесли козленка домой, и пошли суровые летние будни: сенокос, прополка огорода, окучивание картофеля, и все в одном ритме с Анисьей... По договоренности мы брали у Анисьи половину козьих катышков и кое-как удобряли почву, но росло у нас плохо и мелко. Бабка Анисья, освобожденная от сенокоса, привязавши козу и весь козий детский сад в пределах нашей видимости, бегала за грибами и ягодами, заходила к нам и принимала нашу работу. Пришлось заново посеять укроп, который мы посеяли слишком глубоко, а он был нужен для засолки огурцов. Картофель ударился в ботву. Мы с матерью читали книгу «Справочник садово-огородного хозяйства», а отец наконец-то закончил свои работы в лесу, и мы пошли смотреть его новое жилье. Это оказалась чья-то избушка, отец ее то ли подновил, во всяком случае проконопатил, вставил рамы, стекла, двери, покрыл крышу толем. В доме было пусто. Все следующие ночи мы возили туда столы, лавки, лари, бадейки, чугуны и оставшиеся припасы, все прятали, отец же рыл там погреб и чуть ли не подземную землянку с печью, третий дом по счету. У отца уже цвело в огородке.

За лето мы с матерью стали грубыми крестьянками с толстыми пальцами на руках, с толстыми грубыми ногтями, в которые въелась земля, и, что самое интересное, у основания ногтей возникли как бы валики, утолщения или наросты. Я заметила, что у Анисьи то же самое, и у бездеятельной Марфутки

те же руки, и у Татьяны, самой большой нашей барыни и медработника, была та же картина. Кстати говоря, постоянная посетительница Тани пастушиха Верка повесилась в лесу, пастушихой она уже не была, стадо все съели, и Анисья очень грешила на Таню и выдала нам ее тайну, что Таня давала Верке не чаю, а какого-то лекарства и Верка не могла без него жить и из-за этого повесилась, платить стало нечем. Верка оставила маленькую дочь, и без отца при этом. Анисья, поддерживавшая сношения с Тарутином, рассказала, что эта девочка живет у бабушки, потом выяснилось далее из того же торжествующего рассказа Анисьи, что эта бабушка вроде нашей Марфуты красавица, только еще и пьющая, и трехлетний ребенок, совершенно уже без памяти, был привезен мамой к нам в дом в старой детской коляске. Маме всегда было больше всех надо, отец злился, девочка мочилась в кровать, ничего не говорила, сопли слизывала, слов не понимала, ночью плакала часами. И от этих ночных криков всем скоро не стало житья, и отец ушел жить в лес. Делать было нечего, и все шло к тому, чтобы отдать девочку ее непутевой бабке, как вдруг эта бабка Фаина сама пришла к нам и стала, покачиваясь, выманывать деньги за девочку и за коляску. Мать без единого слова вывела ей Лену, чистую, подстриженную, босую, но в платьице. Лена вдруг упала в ноги моей матушке без крика, как взрослая, и согнулась в комочек, охвативши мамины босые ступни. Бабка заплакала и ушла без Лены и без коляски, видимо, ушла умирать. Она шаталась на ходу и вытирала слезы кулаком, а шаталась она не от вина, а от полного истощения, как я догадалась потом. Хозяйства у нее давно не было никакого, последнее время Верка ведь не зарабатывала ничего. Мы-то сами ели все больше вареную траву в разных видах, с грибным супом во главе. Козлята давно жили у отца от греха подальше, колея туда заросла совсем, тем более что отец ходил с тачкой разными путями в рассуждении о будущем. Лена осталась жить с нами, мы отливали ей молока, кормили ягодами и нашими грибными шами. Все становилось гораздо страшнее, когда мы начинали думать о зиме. Хлеба — ни муки, ни зерна — не было, ничего в округе не было посеяно, ведь бензина и запчастей не водилось давно, а лошадей перепели еще раньше, пахать оказалось не на чем. Отец походил, пособирал каких-то случайных уцелевших колосьев на бывших полях, но перед ним уже прошлись, и не раз, ему досталось немного, мешочек зерен. Он рассчитывал освоить в лесу озимый сев на поляне невдалеке от избушки, выспрашивал у Анисьи

сроки, и она обещала ему сказать, когда и как сеют, как пашут. Лопату она отвергла, а сохи не было нигде. Отец попросил ее нарисовать соху и стал, совсем как Робинзон, сколачивать какую-то штуку. Анисья сама плохо помнила все подробности, хотя ей и приходилось во времена оны ходить за коровой с сохой, а отец загорелся инженерной идеей и сел изобретать этот велосипед. Он был счастлив своей новой судьбой и не вспоминал о городе, в котором оставил много врагов, в том числе и своих родителей, моих бабушку и дедушку, которых я видела только в глубоком детстве, а дальше все утонуло в скандалах из-за моей мамы и дедовской их квартиры, провались она пропадом, с генеральскими потолками, сортиром и кухней. Нам в ней не привелось жить, а теперь, наверное, мои бабушка и дедушка были уже трупам. Мы никому ничего не сказали, когда убирались из города, хотя отец готовился к отъезду долго, откуда у нас и набрался полный кузов мешков и ящиков. Все это были вещи недорогие и в свое время недефицитные, отец мой, человек дальновидный, собирал их в течение нескольких лет, когда они действительно были недорогими и недефицитными. Мой отец, бывший спортсмен, турист-альпинист, геолог, повредивший ногу в бедре, давно жил жаждой уйти, и тут обстоятельства совпали с его все развивающейся манией бегства, и мы бежали, когда все еще было безоблачно. «Над всей Испанией безоблачное небо», — шутил отец буквально в каждое хорошее утро.

Лето выдалось прекрасное, все зрело, наливалось, наша Лена начала разговаривать, бегала за нами в лес, не собирала грибы, а именно бегала за мамой как пришитая, как занятая главным делом жизни. Напрасно я приучала ее замечать грибы и ягоды, ребенок в ее положении не мог спокойно жить и отделяться от взрослых, она спасала свою шкуру и всюду ходила за мамой, бегала за ней на своих коротких ногах, с раздутым своим животиком. Лена называла маму «няня», откуда она взяла это слово, мы ей его не говорили. И меня она называла «няня», очень остроумно, кстати.

Однажды ночью мы услышали за дверью писк как бы котенка и обнаружили младенца, завернутого в старую, замасленную телогрейку. Отец, который притерпелся к Лене и даже приходил к нам днем кое-что поделать по хозяйству, тут ахнул. Мать была настроена сурово и решила спросить Анисью, кто это мог сделать. С ребенком, ночью, в сопровождении молчаливой Лены, мы отправились к Анисье. Она не спала, она тоже

слышала крик ребенка и сильно тревожилась. Она сказала, что в Тарутино пришли первые беженцы и что скоро придут и к нам, ждите еще гостей. Ребенок пищал, пронзительно и безостановочно, у него был твердый вздутый живот. Таня, приглашенная утром для осмотра, сказала, даже не притронувшись к ребенку, что он не жилец, что у него «младенческая». Ребенок мучился, орал, а у нас даже не было соски, чем кормить, мама капала ему в пересохший ротик водичкой, он захлебывался. Было ему на вид месяца четыре. Мама сбегала хорошим маршем в Тарутино, выменяла соску у аборигенов на золотую кучку соли и прибежала назад бодрая, и ребенок выпил из рожка немного воды. Мама сделала ему клизму, даже с ромашкой, мы все, не исключая и отца, бегали, носились, грели воду, поставили ребенку грелку. Всем было ясно, что надо бросать дом, огород, налаженное хозяйство, иначе нас накроют. Бросать огород значило умирать голодной смертью. Отец на семейном совете сказал, что в лес переселяемся мы, а он с ружьем и Красивой поселится в сарае у огорода.

Ночью мы тронулись с первой партией вещей. Мальчик, которого назвали Найден, ехал на тачке на узлах. На удивление всем, он после клизмы опростался, затем пососал разведенного козьего молока и теперь ехал в овечьей шкуре, притороченной к тачке. Лена шла, держась за узлы.

К рассвету мы пришли в свой новый дом, отец тут же сделал второй заход, потом третий. Он, как кошка, таскал в зубах все новых котят, то есть все свои нажитые горбом приобретения, и маленькая избушка оказалась заваленной вещами. Днем, когда все мы, замученные, уснули, отец отправился на дежурство. Ночью он привез тачку вырытых еще молодых овощей, картофеля, моркови и свеклы, репки и маленьких луковок, мы раскладывали это в погребе. Тут же ночью он снова ушел и вернулся чуть ли не бегом с пустой тачкой. Прихромал понурый и сказал: все! Еще он принес баночку молока для мальчика. Оказалось, что наш дом занят какой-то хозкомандой, у огорода стоит часовая, у Анисьи свели козу в тот же наш бывший дом. Анисья с ночи караулила отца на его боевой тропе с этой баночкой вечерошнего молока. Отец хоть и горевал, но он и радовался, потому что ему опять удалось бежать, и бежать со всем семейством.

Теперь вся надежда была на маленький огород отца и на грибы. Лена сидела в избушке с мальчиком, в лес ее не брали, запирали, чтобы не срывала темпа работ. Как ни странно,

двоем с мальчиком она сидела, не билась об дверь. Найден вовсю пил отвар из картофеля, а мы с матерью рыскали по лесам с кошелками и рюкзаками. Грибы мы уже не солили, а только сушили, соли почти не было. Отец рыл колодец, ручей был далековато.

На пятый день нашего переселения к нам пришла бабка Анисья. Она пришла пустая, без ничего, только с кошкой на плече. Глаза у Анисьи смотрели странно. Анисья посидела на крылечке, держа испуганную кошку в подоле, потом подхватила и ушла в леса. Кошка забила под крыльцо. Анисья вскоре принесла полный передник грибов, среди них лежал и мухомор. Анисья осталась сидеть у нас на крыльце и не пошла в дом. Мы ей вынесли нашего пустого супу в баночке из-под ее же молока. Вечером отец отвел Анисью в землянку, где у нас был третий запасной дом, Анисья отлежалась и начала бодро рыскать по лесам. Грибы я у нее отбирала, чтобы она не отравилась. Часть мы сушили, часть выбрасывали. Однажды днем, вернувшись из леса, мы нашли наших приемышей всех вместе на крыльце. Анисья качала Найдену и вообще вела себя как человек. Ее словно прорвало, она рассказывала Лене: «Все перешевыряли, все унесли... К Марфуте даже не сунулись, а у меня все взяли, козу свели на веревочке...»

Анисья еще долго была полезной, пасла наших коз, сидела с Найдену и Леной до самых морозов. А потом Анисья легла с детьми на печку и слезала только на двор. Зима замела снегом все пути к нам, у нас были грибы, ягоды сушеные и вареные, картофель с отцовского огорода, полный чердак сена, моченые яблоки с заброшенных в лесу усадеб, даже бочонок соленых огурцов и помидоров. На делянке, под снегом укрытый, рос озимый хлеб. Были козы. Были мальчик и девочка для продолжения человеческого рода, кошка, носившая нам шалых лесных мышей, была собака Красивая, которая не желала этих мышей жрать, но с которой отец надеялся вскоре охотиться на зайцев. С ружьем отец охотиться боялся, он боялся даже дрова рубить из-за опасений, что нас засекут по звуку. В глухие метели отец рубил дрова. У нас была бабушка, кладезь народной мудрости и знаний. Вокруг нас простиралось холодные пространства.

Отец однажды включил приемник и долго шарил в эфире. Эфир молчал. То ли сели батареи, то ли мы действительно остались одни на свете. У отца блестели глаза: ему опять удалось бежать!

В случае, если мы не одни, к нам придут. Это ясно всем. Но, во-первых, у отца есть ружье, у нас есть лыжи и есть чуткая собака. Во-вторых, когда еще придут! Мы живем, ждем, и там, мы знаем, кто-то живет и ждет, пока мы взрастим наши зерна и вырастет хлеб, и картофель, и новые козлята, — вот тогда они и придут. И заберут все, в том числе и меня. Пока что их кормит наш огород, огород Анисьи и Танино хозяйство. Тани давно уже нет, я думаю, а Марфутка на месте. Когда мы будем как Марфутка, нас не тронут.

Но нам до этого еще жить да жить. И потом, мы ведь тоже не дремлем. Мы с отцом осваиваем новое убежище.

БОГ ПОСЕЙДОН

Случайно в приморской местности я обнаружила свою подругу Нину, женщину не первой молодости с сыном-подростком. Нина повела меня к себе домой, я увидела нечто необычайное. Взять хотя бы подъезд, гулкий, высокий, с мраморной лестницей, потом саму квартиру, застланную серым бобриком, с преобладанием цвета темного дерева и алого сукна. Все это великолепно выглядело, как на картинке в модном журнале «Ларт декорасьон», искусство декорирования, и точно такой же была ванная комната, опять-таки затянутая на полу серым сукном, с голубовато-фарфоровым умывальником и зеркалами — просто мечта! Я не верила своим глазам, а Нина хранила все тот же свой вечный измученно-уклончивый вид и повела меня в комнату, стоящую настежь тремя дверьми, темноватую, но опять-таки изящную, с неожиданно большим количеством неубранных кроватей. «Ты что, замуж вышла?» — спросила

я Нину, а она с видом убирающейся хозяйки, озабоченно, хотя и ни к чему не притрагиваясь, пошла в одну из дверей. Помню роскошную, как в отеле, комнату со стенными шкафами, длинной с каждой стороны метра по четыре и с платьями, висящими на вешалках. Как такое богатство и изобилие снизошло на бедную Нину, которая и белья-то порядочного никогда не знала, а имела одно вечное пальто на зиму и три платья, одно страшной другого? Вышла замуж, но куда, сюда, в эту дикость, в приморскую пустоту, где не живут люди, а ждут лета, когда можно будет сдавать и сдавать комнаты. А тут лестницы, коридоры, переходы, да еще вдобавок я вышла из квартиры не в ту дверь и оказалась в соседнем беломраморном подъезде, куда уже входили школьники с учительницей на экскурсию.

Ну, вышла замуж, однако оказалось, что вот, Нина сменяла свою однокомнатную квартиру в Москве, где прозябала с сыном, на эти апартаменты, да еще, получается, и со всей мебелью и вплоть до постельного белья и нарядов! То есть хозяйева ничего не тронули, а убрались, но оказывается, не убрались все-таки, и отсюда озабоченный Нинин вид, потому что две лишние кровати в спальне — это были кровати хозяйки и хозяйкиного сына, молчаливого молодого рыбака с толстыми щеками. Хозяйка хлопотала по-прежнему, как видно, по хозяйству, за стол мы уселись под ее крыло, она вела себя точь-в-точь как если бы была хорошей, тихой свекровью, а Нина ее уважаемой невесткой, ради которой свекровь гнется и ломается по дому, на самом деле сохраняя все позиции матери семейства и главного лица в доме, не допуская невестку ни до чего.

Стало быть, выяснилось, что хозяйка сменялась с Ниной, Нина выехала сюда, бросила свою работу в газете в столице и собиралась писать о местном крае, о море, которое она всегда очень любила и благоговела перед всем, что морское, — а пока что слонялась с озабоченным лицом по своему новому дому, из которого старые хозяева так и не выбрались. Формальности все были соблюдены, бумаги у Нины имелись, она с сыном жила в своем доме, но в этом доме жила еще пожилая хозяйка с сыном всю эту зиму, и речи об их переезде не затевалось. Нина, человек неделовой, расхлябанный, привыкший все пускать на самотек — отсюда и ее уход из газеты на так называемые вольные хлеба и вообще видимое крушение и потопление всей жизни, — восприняла все происходящее так, как оно есть. Она ела, пила, выходила к морю, сидела там, сын ее ходил в местную довольно хорошую школу, денег не требовалось, питалось все это удво-

ившееся семейство дарами моря, которые доставлял на лодке молодой рыбак.

— Кто он? — спросила я, и Нина не задумываясь ответила, что он сын бога моря Посейдона, может жить под водой и дышать там, приносит оттуда буквально все, пешком ходит в разные страны по дну и приносит не только и не столько рыбу, сколько раковины и жемчуг, а также все для дома, для семьи.

При этом старая жена бога моря Посейдона, неизвестно зачем принявшая под свои крылья полностью потерпевшую крушение Нину, сидела во главе стола, под высоким окном, и кормила и кормила нас, а в моей памяти все всплывала гостиничная спальня-люкс с белокипенными, как морская пена, простынями и с числом коек четыре штуки — и все представлялось, что вот так и надо, все предоставить своему течению, не бороться, опустить руки, и тогда будешь дышать под этой водой, и тебя примет бог Посейдон и не так уж плохо поселит, ибо, вернувшись домой в Москву, я узнала, что Нина вовсе никуда не переселялась, а просто год тому назад утонула вместе со своим маленьким сыном, попав в известное кораблекрушение на прогулочном катере вблизи тех самых берегов, где только что я гуляла, ни о чем не подозревая.

НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР

Жизнь моя под угрозой, по-видимому. Я лежу один, прикованный к постели гриппом, и моя жена воспринимает все, что я говорю, как бред. Уже идет речь о больнице. Два раза в день приходит какая-то мастерица и практикуется на мне как законченная садистка, то есть всаживает в мякоть огромную иглу и делает вид, что торопится дальше, а я боюсь ей сказать, чтобы она не оставляла ампулы и вату, поскольку мало ли как их используют «те». «Те» используют все, в том числе и недоеденное и недопитое. Эксперимента ради я оставил на стуле, не принял таблетку анальгина, и всю ночь у «них» шел пир горой и раздавались пьяные песни, у сволочей.

Я познакомился с ними в самом начале болезни, когда не мог спать ночью и встал, чтобы переодеть мокрую майку, поскольку меня был озноб и т. д. Я пошатнулся и увидел у плинтуса небольшого жука, который быстро побежал, как они

могут. Я этого жука хотел приклепнуть и наступил на него, но успел наступить только на лапку, и когда поднял шлепанец трясущейся рукой, в свете далекой настольной лампы увидел на подошве отчаянно повисшего человечка размером с таракана с раздавленной ниже колена ногой. Человечек, видимо, находился в шоке. Я отлепил его, одеяло с меня сползло, и что было делать, я не представлял, одно только меня утешало, что это галлюцинация. Я полил на человечка водой из стакана, он несколько раз вздрогнул у меня на руке и пополз. Куда его было девать, мою галлюцинацию? Я положил его на блюдце и стал рассматривать. Человечек был одет во что-то грязно-серое, при ближайшем рассмотрении это оказался клочок ваты, порядочно-таки заношенной. Моя садистка, что ли, уронила? Но ведь это галлюцинация, успокоил я сам себя. Моя галлюцинация, волоча расплюснутую ногу, потащилась на трех конечностях к краю блюдца, свесила лохматую голову и, живучее создание, перевалила на стул. Стой, не уйдешь, как бы воскликнул я и на пути моего человечка поставил руку. Он поднял голову, примерился и стал, щекоча меня руками, взбираться, как дурак, по пальцам не хуже, чем по бревенчатой стене. Замечательно было то, что я внутренне хохотал над его жалкими попытками, однако вид моего окровавленного мизинца, когда я стряхнул с руки привидение, ошарашил меня... Так вот как может протекать бред, подумал я и вытер пятнышко крови о майку. На этом я влез в свою ледяную постель и стала дрожать от холода, пока не наступило утро и жена не пришла мне дать питья в мой чумной инфекционный барак.

— Смотри, у тебя ночью шла носом кровь, — сказала жена, указав на майку.

Я попил и немного съел какой-то дряни из тарелки, пока жена собиралась на работу. Затем весь день ушел у меня на наблюдения за тем, как мои галлюцинации добывают из стакана и тарелки воду и пищу. Воду они носили толпой в ампуле из-под новокаина, а спускали ее в бинтах. Кашу они просто вылили на пол, наклонивши над пропастью тарелку, а было их видимо-невидимо. Внизу, на полу, кучу каши разбирали в свою посуду, как-то: в копейку, в отбитые горлышки ампул, в клочки картона (их везли по полу). Фигурировала также чайная ложка, упавшая у меня вчера утром, ее нагружали и несли целой колонной.

Мой инвалид бесследно исчез, жена дала сменить мне майку, доказательства галлюцинации пропали, но человечки, суетившиеся у плинтуса, не исчезли. Двоих я обнаружил у себя перед

глазами, они шли вверх по ковру, как альпинисты в кустарниках, и целью их похода, я обнаружил, была полка, но там, между ковром и полкой, существовал так называемый отрицательный угол, и они, понюхав и покачавшись в шерстинках ковра, канули вниз. Они умели падать, эти люди! Понимали, что падают на постель, и, упавши на одеяло, долго и трудно шли в связке по торосам крахмального пододеяльника к своему плинтусу.

Я вообразил себе, что ночью они роются у меня в кровати, работают по сбору крошек. И о тараканах такую вещь подумать противно, а тут мыслящий враг!

«Галлюцинация», — громко сказал я себе и позвал жену, чтобы она с кипящим чайником прошлась по плинтусам. Но жена ушла, а деятельность моих красавцев развернулась вовсю. Когда я вышел, держась за стену, они умудрились в короткое время вытащить из подушки в пятнадцати местах перья. (Я застал их в середине работы и вынужден был сам вытащить эти перья, чтобы спокойно лечь на подушку, и побросал их вниз, на пол, после чего опомнился, но перья уже исчезли в щели одно за другим.) Они, видимо, устилали себе пол жилища.

Теперь это было их главное развлечение, они наполовину вытягивали перья, и мне оставалось только со стоном довершать их работу. Как-то я попытался перевернуть подушку, и, вставши в очередной раз, чтобы открыть дверь моей садистке, я затем лег лицом прямо в торчащие остья, которые они успели вытащить и на этой стороне подушки.

Я не решался их уничтожить, помня о пятнышке крови. Кроме того, я в одном человечке, гулявшем по пододеяльнику, обнаружил мать с ребенком (в ваточке) и внутренне задрожал. Она шла, как мадонна, лицом ко мне, и младенец плыл личиком ко мне. Я закрыл глаза, а эта самоотверженная мать подобрала у меня с подбородка что-то прилипшее (по виду — крошку желтка) и, нагруженная этим куском и своим ребенком, канула в волны пододеяльника.

Дальше — больше, они начали сколачивать себе мебель, что ли. У них появился кусочек лезвия бритвы (откуда?). Они им отрезали пластиночку от ножки стула и понесли, как лесорубы, эту доску домой. Тук-тук, перетюк — слышалось тихое щелканье, это они там то ли гвозди заколачивали (какие?), то ли обтесывали дерево бритвой...

Через два дня стул подломился под моей сослуживицей Мариной, женщиной полной и громкоголосой, которая прине-

сла мне мою зарплату, добрая душа, и поплатилась за это испугом и ушибом ягодиц, так как решила посидеть около меня и рассказать кое-что о нашем новом начальнике, который заявил-де на общей летучке, что знакомиться будем в работе. С этими словами Марина шлепнулась очень даже неожиданно и оказалась сидящей на полу среди обломков. Когда Марина ушла со стенами, стул лежал на полу. Вечером пришла жена и при мне унесла только спинку и сиденье. Ножки исчезли. Я закрыл глаза от изнеможения, а жена решила, что ножки я выбросил еще раньше (куда?! когда?!).

Стало быть, у них уже начался расцвет строительства, они скреблись и колотили почем зря, и некоторое время спустя они пошли на добычу моей картошки с котлетой (я не стал есть), вооруженные платформой на колесах.

Все шло у них в ход, эти воры тащили уже мелкую посуду типа ликерных рюмок, запасали в чашку воду, волокли яблочные огрызки из помойного ведра. С течением времени они начали разбирать паркет для расширения ходов и магистралей, выколупали из оконных рам по кускам пенопласт, начали рвать по ниткам (на канаты) мою простыню...

Я по-своему борюсь, то есть ем теперь все, а остатки спускаю в унитаз, лежу без простыни (пододеяльник для них трудноват). Но ковер они начали просто косить косой, рассчитывая, видимо, начать у себя плетение циновок.

Их волнует также проблема освещения, и однажды я услышал легкий запах дыма ночью. Я лег на пол и увидел прямо-таки тлеющий край газеты, а кругом увидел этих сволочей, сидящих перед своим костром и смотрящих в огонь все как один. Я сбегал на ватных ногах на кухню и плеснул в них чашкой воды. Они восприняли этот ливень как явление стихии и вынесли свои ватки на просушку — ватки, нитки, шерстинки и голых детей! Сил не было на это смотреть, и я им туда поставил свою настольную лампу, чтобы они обогрелись и получили свой свет. Они, видимо, сочли это за явление кометы и с писком спрятались. Вещи, однако, просохли.

Самое главное, чтобы жена не догадалась о моей борьбе. Иначе мне не миновать больницы, а за это время мои лилипуты окончательно разберут паркет, соткут себе половики, оседлают диких тараканов, освоят мусорное ведро и хлебницу и в конце концов устроят какой-нибудь сабантуй с горячей газетой, тут-то нам и придет конец.

Поэтому я их караюлю и стараюсь не испугать — не дай Господь, они спрячутся в недра нашего дома, как тараканы, а ведь они разумные существа! И не миновать нам газового взрыва и пожарища в результате их войны третьего-второго этажа или какого-нибудь потопа из-за проверченной в трубе дыры группой их геологов...

Они-то погибнут, но мне гибнуть неохота. Я стою на страже и уже понимаю, что я для них. Я, всевидящим оком наблюдающий их маету и пыхтение, страдание и деторождение, их войны и пиры... Насылающий на них воду и голод, сильнопалящие кометы и заморозки (когда я проветриваю). Иногда они меня даже проклинают, как какая-нибудь мать, швырнувшая в меня своего ребенка (то ли без мужа родила, то ли заболел, то ли он у нее шестнадцатый).

Самое, однако, страшное, что я-то тоже здесь новый жилец, и наша цивилизация возникла всего десять тысяч лет назад, и иногда нас тоже заливают водой, или стоит сушь великая, или начинается землетрясение... Моя жена ждет ребенка и все ждет не дождется, молится и падает на колени. А я болею. Я смотрю за своими, я на страже, но кто бдит над нами и почему недавно в магазинах появилось много шерсти (мой скосили полковра)...

Почему?..

НОВЫЙ ФАУСТ

(Отрывок)

Конечно, раскрылся балкон, запахло серой. Фауст поднял голову от рукописи, в которой как раз вызывал черта, и увидел, как сама собой дернулась занавеска. Пригнувшись, вошел с балкона гигант ненормального роста, урод, каких мало и при виде которых вздрагивает сердце у обыкновенного человека. Лицо, к примеру, у него было по седьмую пуговицу и гладкое, как у полного идиота. Кожа, само собой разумеется, отвратительного темно-желтого цвета, начищенное рыло. Из широких ноздрей висели сосульки, а сомкнутый рот изнутри полыхал алым огнем сквозь спекшиеся корки. Тем не менее рот был красивый по форме, вывороченный, такой рот хотелось целовать. И вообще что-то во всем этом было аппетитное. Руки у идиота висели ниже колен, руки были, разумеется, немые, с грязно-голубыми ногтями. Вот вам и весь портрет, исключая то, что гость был уже голый

и на причинном месте, стыдно сказать, у него висела морковка.

— Чего же ты хочешь? — спросил черт. — Здравствуй.

Фауст ответил:

— Хочу писать, быть писателем.

— Будешь, — ответил черт. — Для этого здоровайся со всеми, постись с шести вечера пятницы до двенадцати утра воскресенья без воды и еды. Ходи босым по земле хотя бы раз или два в день в любую погоду. Ходи голым, как я.

— И еще я хочу, чтобы все мальчики мира были мои, — сказал Фауст.

— То же самое, — сказал черт.

— Как же я буду ходить без трусов и со всеми здороваться? — спросил Фауст.

— Я же хожу и здороваюсь. Меня укладывали в психбольницу.

— Вот-вот, — сказал Фауст.

— Я там им всех исцелил, и всех врачей от галлюцинаций избавил, обо мне даже писал журнал «Х и ж».

— А душу я хочу прозаложить? — спросил Фауст. — Вместо здорованья и всех дел?

Мефистофель согласился тут же, дело было сделано, кровь пролита.

— Значит, хочешь мальчика? — задумчиво спросил Мефистофель.

— Ансамбль мальчиков, — сказал Фауст.

— Вокально-инструментальный? — спросил черт.

Фауст кивнул, хотя позже подумал, что лучше было бы танцевальный или, что еще лучше, военно-морской, песни и пляски.

— А как же Маргарита? — спросил черт. — Она уже предупреждена и любит. Ей семнадцать лет.

— Не надо, — сказал Фауст, косвенно глядя на Мефистофеля. Они были одни в квартире. Мефисто забеспокоился и сказал:

— Открывайте!

В дверь позвонили, и вошли двое ребят в самом возрасте, семнадцати-восемнадцати лет, по виду со двора. Они были с гитарами, один очень некрасивый, но пластичный и добрый, а другой subtilный и нервный, с очень маленьким ротиком. Фауста они просили быть у них дирижером. Все шло не так гладко, как хотелось, ребят спугнуть было раз плюнуть, Мефис-

тофель перетрансформировался в толстого пенсионера-соседа в синей майке и военных галифе. Он был совершенно тут неуместен. Ребята на него избегали даже смотреть. Фауст подиржировал ребятам, удивляясь, как складно все получается, а потом, время было позднее, метро не ходило, решили ложиться спать. Спальных мест было два. Фауст сказал, что ляжет с худеньким, а черту и коренастому указал на соседнюю комнату. Через пять минут худенький вскочил и ушел спать третьим к другу и пенсионеру, которые уже мирно храпели валетом. Фауст тогда мысленно вызвал Мефистофеля, и тот, почесываясь, явился и шлепнулся в еще горячую, полную борьбы постель.

С Мефисто, однако, ничего не вышло, ему было чуждо все человеческое, он притворился гладким, как пупс. Кроме того, глаза закрыл, уши заложил, рот у него зарос бородой, ни единой щели не оставил, ноги у него временно оказались как у русалки, холодные и сросшиеся. С Мефистофелем раз и навсегда все было ясно; Фауст долго бегал и курил, входил в комнату мальчиков и столбом стоял над спящими, боясь их напугать. «Ничего себе, — думал Фауст, — стоило закладывать душу, чтобы мучиться по-прежнему на пустом месте». Мальчики спали, зато явился Мефистофель, извиваясь змеей. Он долго бил хвостом перед Фаустом и шепотом оправдывался, что одно взаимоисключает другое, и если Фауст хочет стать настоящим писателем, он должен страдать, еще Достоевский писал, а Бердяев это привел как цитату. «И завтра ты будешь писать», — сказал черт, сонно качаясь на хвосте, как символ Варшавы, но руки заложивши подмышки. Короче говоря, Фауст поехал на такси по бульварам в полтретьего ночи искать себе мальчика, но напоролся только на одного молодого человека, который хотел кого-нибудь избить под предлогом «а, идите все на меня, я не испугаюсь». Фауст своими уговорами подлил еще масла в огонь, молодой человек очень обрадовался и с воплем «бей пидарасов» раскроил Фаусту голову.

Фауст очнулся в вытрезвителе в общей палате как раз в тот момент, когда санитар взволнованно и в нос докладывал дежурному врачу: «Захожу утром, у них у всех трусы сняты. Опять гомосексуалисты орудовали».

Фауст проверил и точно, он лежал без трусов. Ночью и в беспомысленности он был кем-то все-таки изнасилован. Фауст вызвал черта, и тот в виде родного брата, внося на месте штраф в сто рублей наличными без квитанции, вывел Фауста на морозную улицу.

— Что же это получается? — спросил Фауст. — Это что, обман?

— Это жизнь. — сказал Мефистофель. — Ты живешь жизнью. Иначе, если все желания твоей плоти будут удовлетворены, а самолюбие утешено, у тебя притупится стремление писать. И твое главное, первое условие я не выполню. Однако этой ночью твое второе желание тоже было удовлетворено, кстати.

Фауст мысленно плюнул.

Тем более, что не замедлила явиться и Маргарита, и вот каким образом. Фауст был объявлен как дирижер ансамбля легкой музыки и должен был таскаться на работу в Дом культуры два раза в неделю, изнывая от усталости. Как и везде в самостоятельности, женщин было подавляющее большинство, и среди них много пожилых, которые очень привязались к Фаусту. Была и Маргарита, существо румяное, черноглазое и ушедшее из дому от деспотичной матери. Рита ночевала где придется, избрав себе простую тактику: она провожала кого-нибудь до дому, влезала и в дом, пила там чай и оставалась ночевать. Второй раз люди уже избегали ее провожаний, однако народу было вокруг много. В первый же вечер Маргарита увязалась за Фаустом провожать его домой, и он в отместку и в назидание привел ее на групповое свидание педерастов, организованное с большим трудом собственными силами еще до акта продажи души черту. Там оказалось трое вместо семи, трое некрасивых, плоско остриженных молодых людей, и не то чтобы самое дно, дно привлекательно, а так, инженеры из-под техникума. Маргарита всем была безумно довольна, один из инженеров (они были, кроме всего, туристы) показывал слайды горного Алтая, где все в голом виде резвились на тех просторах, где их не видел ни один милиционер, разве что было холодно. Маргарита вскрикивала «Ой, как красиво» в самых рискованных местах, ничего принципиально не замечая, поскольку у нее не было выбора где ночевать, да она и повидала всего за месяцы своих скитаний. И напрасно думал Фауст, что она случайно войдет в ту комнату, где он не запершись барахтался со Славой, и выйдет большой конфуз и Рита смоеется. Нет. Утром Маргарита с блестящими глазками вышла вслед за Фаустом и поперлась его провожать домой аж на Березовую улицу. Фауст злобно привел ее к себе домой, поставил чайник и признался, что любит только мальчиков, вот если бы она была мальчиком. Маргарита с криком «бедный» повисла у него на шее и, в свою очередь, призналась Фаусту, что ей негде ночевать и поэтому она вчера со знакомым босяком

пришла на репетицию ансамбля в надежде остаться там ночевать в зрительном зале. Фауст стал расспрашивать что за босяк, сколько лет, и попросил позвонить ему, чтобы он немедленно ехал сюда. Маргарита все-таки полюбила Фауста и поэтому позвонила со стесненной душой, и босяк откликнулся, поскольку днем он сидел дома, когда его порядочные родители проводили время на работе. Босяк откликнулся ленивый и сонный, но таким дивным голосом, что у Фауста мучительно заволновалось все его естество. Он стал шепотом и знаками подсказывать Маргарите, что говорить, Маргарита несла какую-то чепуху о слайдах и путешествиях, причем босяк неожиданно положил трубку и больше уже не отвечал. «А еще знакомых нет?» — спросил Фауст вне себя от нахлынувших чувств и в предвкушении того, сколько же у общительной Маргариты ничего не подозревающих знакомых мальчиков ее возраста и привычек! Маргарита, намереваясь остаться навеки, стала неловко мыть посуду, и тут явился отчаянно вызванный Мефистофель в виде интеллигентного еврейского мужчины с лысинкой, бородкой и в клетчатой рубашке под джемпером. Мефистофель прогнать Маргариту постеснялся, а сказал только, что им с Фаустом сейчас пора уходить. Маргарита надела свою дубленку с финского плеча и, сверкая прорехами на спине и подмышками, потащилась провожать своего Фауста хоть до Новогиреева. Действительно, такой преданности у мужчин Фауст не встречал, слава Богу, все одни были увертки, обиняки, туман и кокетство. Или прямая плата в деньгах и тогда вообще наплеватьство.

— Куда мы идем? — спросил Фауст, а черт не отвечал, а Марго щебетала, какой новый мир перед нею открылся, и что ей кажется — она это или не она? Королевой ты стала, — чирикала Маргарита, — день такой.

Мефисто, однако, подвел их к зданию, где требовались пропуска.

— Мы в седьмую, — сказал он, указав на Фауста. Маргарита с громадным любопытством в своей драной дубленке выглядывала сзади, и вот ее-то продувные контролерши сразу раскусили и не пропустили.

Фауст и Мефистофель поспешили в объятия безработных в этот час гардеробщиков, а Маргарита напрасно билась у входа и кричала, что она с вон теми дяденьками, с тем черненьким и с тем небритым. Дверь за ней закрылась, а Фауста и черта встретил у ступеней, ведущих вовнутрь здания, маленький вышибала в ранге замдиректора.

— Что у вас есть на вход? — мучительно кривясь в сторону контролерш у входа, сказал вышибала. — Попрошу предъявить.

— Мы в секцию прозы, молодые.

— К кому конкретно?

— Мы поговорить, пока ни о чем конкретно, но...

— Вас ждут? Кто?

— Но позвольте! — сказал Мефистофель.

— В таком случае попрошу вернуться, — сказал вышибала и обратился к контролершам: — Вы всегда работаете так, что на вас сыплются одни похвалы, так что я буду ставить вопрос о вашем увольнении. — Гардеробщикам он сказал:

— Оденьте их, пожалуйста, но ни-ко-гда больше...

Фауст и Мефистофель очень медленно одевались перед зеркалом, чувствуя на себе ненавидящие взгляды вышибалы и вахтерш от входа. За дверями угрожающе маячила, однако, тень Маргариты, которая придерживалась правила дежурить и ждать, да и других дел у нее не было. Да и полюбила она Фауста, помимо своей воли. И Фауст сказал: «Помогай».

Мефистофель усадил его на стул и стал щупать пульс. Маленький подлетел к ним, он, видимо, ненавидел симулянтов естественной ненавистью симулянта и видел их насквозь.

— Валидол, нашатырь, — бросил Мефистофель вышибале.

Вышибала брезгливо пошел куда-то. Вахтерши демонстративно отвернулись от зрелища человеческой слабости. Гардеробщики посовещались и вынесли нитроглицерин на кусочке сахара. Мефистофель дал Фаусту понюхать кусочек сахара. Гардеробщики заволновались и стали выкрикивать из-за своего барьера: «Сосать! Сосать!»

Тут хлопнула входная дверь, привратницы заворковали, и вошла в сопровождении свиты дама в большой, но легкой на вид шубе. Свита у нее была парочка во цвете лет молодых мужиков, один разбойного сибирского вида, другой, наоборот, интересный, как артист, с ярко-красными губами. Дама стала стаскивать перчатки с большими вырезными дырами, мужички весело оглядывались, гардеробщики подсказывали, вышибала по-хозяйски оглядывал свой птичий двор со ступеней, минуя, правда, больших и убогих.

— Кто? — спросил Фауст.

— Это большая литература, — ответил Мефистофель. — Нюхай. Она может все. Может напечатать, может послать за рубеж, ввести в секретариат. Все, все.

— А Маргаритка где?

— На морозе.

Действительно, Марго в дверях стала кидаться на Большую литературу с просьбой «тетенька, проводи меня под свой пропуск или дай мне его».

— Так. Обратно пути нет, — сказал Фауст.

— Что с вами? — участливо спросила БЛ, склоняясь над Фаустом.

Фауст встал, ничего не отвечая.

Мефистофель сердито, под пьянь, сказал:

— Да вот, бляди довели...

Мефистофель в этот момент обратился в лысоватого мужичка простого вида. Бородка осталась при нем, но он оказался в потрепанном бывшем свадебном черном костюмчике, на ногах имея сандалии из кожзаменителя.

— Вот писатель он Богом данный, — запричитал бес, — пишет о жидях всю правду. И не печатают, бляди.

БЛ сама была не без еврейской крови, однако тоже как-то евреев не любила. Она задумалась. Тема была новой, если вот так, откровенно. Сзади БЛ застыли сибирский разбойник и плейбой.

— Все же, бля, имеют право писать о том, что их волнует. Розанов писал же, бля, — сыпал, как горохом, Мефистофель. — Христа распяли... Христианство ввели на Руси, кто просил их. Петр Первый, мудака мудаков, повернул Россию...

Теперь они оказались у дверей отдельного кабинета, куда начал бегать молодой безобразный официант, по виду кожа да кости. Фауст весь напрягся. Официант убежал от них куда-то по винтовой лестнице в тартарары, в подсобку, во внутренние подземелья, где наверняка было много закоулочков...

ГИГИЕНА

Однажды в квартире семейства Р. раздался звонок, и маленькая девочка побежала открывать. За дверью стоял молодой человек, который на свету оказался каким-то больным, с тонкой, блестящей розовой кожицей на лице. Он сказал, что пришел предупредить о грозящей опасности. Что вроде бы в городе началась эпидемия вирусного заболевания, от которого смерть наступает за три дня, причем человека вздувает и так далее. Симптомом является появление отдельных волдырей или просто бугров. Есть надежда остаться в живых, если строго соблюдать правила личной гигиены, не выходить из квартиры и если нет мышей, поскольку мыши — главный источник заражения, как всегда.

Молодого человека слушали бабушка с дедушкой, маленькая девочка и ее отец. Мать была в ванной.

— Я переболел этой болезнью, — сказал молодой человек и снял шляпу, под которой был совершенно голый розовый череп, покрытый тончайшей, как пленка на закипающем молоке, кожей. — Мне удалось спастись, я не боюсь повторного заболевания и хожу по домам, ношу хлеб и запасы, если у кого нет. У вас есть запасы? Давайте деньги, я схожу, и сумку побольше, если есть — на колесиках. В магазинах уже большие очереди, но я не боюсь заразы.

— Спасибо, — сказал дедушка, — нам не надо.

— В случае заболевания всех членов семьи оставьте двери открытыми. Я выбрал себе то, что по силам, четыре шестнадцатизэтажных дома. Тот из вас, кто спасется, может так же, как я, помогать людям, спускать трупы и так далее.

— Что значит спускать трупы? — спросил дедушка.

— Я разработал систему эвакуации путем сбрасывания их на улицу. Понадобятся полиэтиленовые мешки больших размеров, вот не знаю, где их взять. Промышленность выпускает двойную пленку, ее можно приспособить, но где взять деньги, все упирается в деньги. Эту пленку можно резать горячим ножом, автоматически сваривается мешок любой длины. Горячий нож и двойная пленка.

— Нет, спасибо, нам не надо, — сказал дедушка.

Молодой человек пошел дальше по квартирам, как попросайка, просить денег; как только захлопнули за ним дверь, он звонил уже у соседних дверей, и там ему открыли на цепочку, так что он вынужден был рассказывать свою версию и снимать шляпу на лестнице, в то время как его наблюдали в щель. Слышно было, что ему кратко ответили что-то и захлопнули дверь, но он все не уходил, не слышно было шагов. Потом дверь опять открылась на цепочку, кто-то еще желал послушать рассказ. Рассказ повторился. В ответ раздался голос соседа:

— Если есть деньги, сбегай принеси десять поллитровок, деньги отдам.

Послышались шаги, и все утихло.

— Когда он придет, — сказала бабушка, — пусть уж нам принесет хлеба и сгущенки... и яиц. Потом надо капуста и картошки.

— Шарлатан, — сказал дедушка, — хотя не похож на обожженного, это что-то другое.

Наконец встрепенулся отец, взял маленькую девочку за руку и повел ее вон из прихожей — это были не его родители, а жены, и он не особенно поддерживал их во всем, что бы

они ни говорили. Они тоже его не спрашивали. По его мнению, что-то действительно начиналось, не могло не начаться, он чувствовал это уже давно и ждал. Его охватила какая-то оторопь. Он взял девочку за руку и повел ее вон из прихожей, чтобы она не торчала там, когда таинственный гость постучит в следующую квартиру: надо было с ним как следует потолковать как мужик с мужиком — чем он лечился, какие были обстоятельства.

Бабушка с дедушкой, однако, остались в прихожей, потому что они слышали, что лифта никто не вызвал и, стало быть, тот человек пошел дальше по этажу; видимо, он собирал деньги и сумки сразу, чтобы не бесконечно бегать в магазин. Или ему еще никто не дал ни денег, ни сумок, иначе он уже бы давно уехал на лифте, ибо к шестому этажу должно было набраться поручений. Или же он действительно был шарлатан и собирал деньги просто так, для себя, как уже однажды в своей жизни бабушка напоролась на женщину, которая вот так, сквозь щелочку, сказала ей, что она из второго подъезда, а там умерла женщина шестидесяти девяти лет, баба Нюра, и она по списку собирает ей на похороны, кто сколько даст, и предъявила бабушке список, где стояли росписи и суммы — тридцать копеек, рубль, два рубля. Бабушка вынесла рубль, хотя тети Нюры так и не вспомнила, и немудрено, потому что пять минут спустя позвонила в дверь хорошая соседка и сказала, что это ходит не известная никому аферистка, а с ней двое мужиков, они ждали ее на втором этаже, и они только что с деньгами скрылись из подъезда, список бросили.

Бабушка с дедушкой стояли в прихожей и ждали, потом пришел отец девочки Николай и тоже стал прислушиваться, наконец вышла из ванной Елена, его жена, и громко стала спрашивать, что такое, но ее остановили.

Однако звонков больше не раздавалось на лестнице. То есть ездил лифт туда-сюда, даже выходили из него на их этаже, но потом гремели ключами и хлопали дверьми. Но все это был не тот человек в шляпе. Он бы позвонил, а не открывал бы дверь своим ключом.

Николай включил телевизор, поужинали, причем Николай очень много ел, в том числе и хлеб, и дедушка не удержался и сделал ему замечание, что ужин отдай врагу, а Елена заступилась за мужа, а девочка сказала: «Что вы орете», — и жизнь потекла своим чередом.

Ночью внизу, судя по звуку, разбили очень большое стекло.

— Витрина булочной, — сказал дедушка, выйдя на балкон. — Бегите, Коля, запасайтесь.

Стали собирать Николая, пока собирали, подъехала милицeйская машина, кого-то взяли, поставили милиционера, отехали. Николай пошел с рюкзаком и ножом, их там внизу оказалась целая группа людей, милиционера окружили, подмяли, через витрину стали впрыгивать и выпрыгивать люди, кто-то подрался с женщиной, отобрал у нее чемодан с хлебом, ей зажали рот и утащили в булочную. Народу внизу прибывало. Наконец пришел Николай с очень богатым рюкзаком — тридцать килограммов сушек и десять буханок хлеба. Николай снял с себя все и кинул в мусоропровод, сам в прихожей протерся с головы до ног одеколоном, все ватки выкинул в пакете за окно. Дедушка, который был доволен всем происходящим, заметил только, что придется дорожить одеколоном и всеми медикаментами. Заснули. Утром Николай за завтраком один съел полкило сушек за чаем и шутил по этому поводу: «Завтрак съешь сам». Дедушка был со вставными зубами и тосковал, размачивая сушки в чае. Бабушка замкнулась в себе, а Елена все уговаривала девочку есть побольше сушек. Бабушка наконец не выдержала и сказала, что надо установить норму, не каждую же ночь грабить, вон и булочную заколотили, все вывезли. Подсчитали запасы, поделили все на пайки. Елена в обед отдала свой паек девочке, Николай был как черная туча и после обеда один съел буханку черного хлеба. Продовольствия должно было хватить на неделю, а потом наступала крышка. Николай и Елена позвонили на работу, но ни на работе Николая, ни у Елены никто не брал трубку. Звонили знакомым, все сидели по домам. Все ожидали. Телевизор перестал работать, там свистела частотка. На следующий день телефон не соединял. Внизу, на улице ходили прохожие с рюкзаками и сумками, кто-то волок спиленное дерево небольшого размера. Возник вопрос, как быть с кошкой — зверек второй день ничего не получал и ужасно мяукал на балконе.

— Надо впустить и кормить, — сказал дедушка. — Кошка — ценное свежее витаминное мясо.

Николай впустил кошку, ее покормили супом, не особенно много, чтобы не перекормить после голодовки. Девочка не отходила от кошки, те два дня, когда кошка мяукала на балконе, девочка все рвалась к ней, а теперь ее кормила в свое удовольствие, даже мать всплыла: «Отдаешь ей то, что я отрываю от себя для тебя».

Кошку, таким образом, покормили, но продовольствия оставалось на пять дней. Все ждали, что что-нибудь будет, кто-нибудь объявит мобилизацию, но на третью ночь заревели моторы на улицах, и город покинула армия.

— Выйдут за пределы, оцепят карантин, — сказал дедушка. — Ни в город, ни из города. Самое страшное, что все оказалось правдой. Придется идти в город за продуктами.

— Одеколон дадите — пойду, — сказал Николай. — Мой почти весь.

— Все будет ваше, — сказал дедушка многозначительно, но и уклончиво. Он сильно похудел. — Счастье еще, что работают водопровод и канализация.

— Тыфу тебе, сглазишь, — сказала бабушка.

Николай ушел ночью в гастроном, он взял с собой рюкзак и сумки, а также нож и фонарик. Он вернулся, когда было еще темно, разделся на лестнице, бросил в мусоропровод одежду и голый обтерся одеколоном. Вытерев подошву, он ступил в квартиру, затем вытер другую подошву, ватки бросил в бумажке вниз. Рюкзак он поставил кипятиться в баке, сумки тоже. Добыл он не много: мыло, спички, соль, полуфабрикаты ячменной каши, кисель и ячменный кофе. Дедушка был очень рад, он пришел в полный восторг. Нож Николай обжигал на газовом пламени.

— Кровь — самая большая инфекция, — заметил дедушка, ложась под утро спать.

Продовольствия, как посчитали, должно было теперь хватить на десять дней, если питаться киселем, кашами и всего есть понемножку.

Николай стал каждую ночь ходить на промысел, и возник вопрос с одеждой. Николай стал ее складывать еще на лестнице в полиэтиленовый мешок, нож все время прокаливал. Но ел по-прежнему много, правда, теперь уже без замечаний со стороны дедушки.

Кошка худела день ото дня, шкурка ее обтянула, обеды, ужины и завтраки проходили в мучениях, так как девочка все время старалась что-нибудь бросить на пол кошке. Елена начала просто бить по рукам. Все кричали. Кошку выводили, она бросалась об дверь.

Однажды это вылилось в страшнейшую сцену. Девочка пришла с кошкой на руках на кухню, где находились дедушка и бабушка. Рот у кошки и у девочки был измазан чем-то.

— Вот, — сказала девочка и поцеловала, наверное, не в первый раз, кошку в поганую морду.

— Что такое? — воскликнула бабушка.

— Она поймала мышку, — ответила девочка. — Она ее съела. — И девочка снова поцеловала кошку в рот.

— Какую мышку? — спросил дедушка, они с бабушкой оцепенели.

— Такую серую мышку.

— Вздутую? Толстую?

— Да, толстую, большую. — Кошка на руках у девочки начала вырываться.

— Держи крепче! — сказал дедушка. — Иди в свою комнату, детка, иди. Иди с кошечкой. Ах ты, гадина, ах, сволочь. Доигралась с кошкой, дрянь такая. А? Доигралась?

— Не ори, — сказала девочка и быстро убежала к себе.

Следом за ней пошел дед и побрызгал все ее следы одеколоном из пульверизатора. Потом он запер дверь в детскую на стул, потом позвал Николая, тот спал после бессонной ночи, с ним спала и Елена. Они проснулись. Все было обсуждено. Елена начала плакать и рвать на себе волосы. Из комнаты девочки доносился стук.

— Пустите, откройте, мне в туалет, — со слезами кричала девочка.

— Слушай меня, — кричал Николай, — не ори!

— Пусти, пусти! Сам не ори! Пустите!

Николай и остальные ушли в кухню. Елену пришлось держать запертой в ванне. Она тоже стучала в дверь.

К вечеру девочка угомонилась. Николай спросил, ходила ли она в туалет. Девочка с трудом отвечала, что да, сходила в трусы, и попросила пить.

В комнате девочки находилась детская кровать, раскладушка, шифоньер с вещами всей семьи, запертый на ключ, ковер и полки с книгами. Уютная детская комната, которая теперь волей случая превратилась в карантин. Николай прорубил в двери что-то вроде оконца и велел девочке принять на первый случай бутылку на веревке, где был суп с хлебными крошками, все вместе. В эту бутылку девочке велено было мочиться и выливать в окно. Но окно было заперто на верхний шпингалет, девочка так до него и не дотянулась, да и с бутылкой было придумано плохо. Вопрос с экскрементами должен был решиться просто — выдирались лист или два из книги, на него испражнялись и выбрасывали в окно. Николай сделал из про-

волоки рогатку и пробил, выстрелив три раза, довольно большую дыру в окне.

Девочка, правда, показала все плоды своего воспитания и испражнялась неряшливо, не на бумагу, не успевала сама следить за своими желаниями. Ее по двадцать раз на дню спрашивала Елена, не хочет ли она ка-ка, она отвечала, что не хочет, и в результате оказывалась измаранной. Кроме того, трудно было с питанием. Бутылок и веревок было ограниченное количество, веревка каждый раз отрезалась, и девять бутылок валялось в комнате к тому моменту, когда девочка перестала подходить к двери, вставать и отвечать на вопросы. Кошка, видимо, не вставала с тела девочки, она, правда, не появлялась в поле зрения давно, с тех пор как Николай стал охотиться на нее с рогаткой, поскольку девочка скармливала кошке почти половину того, что сама получала в бутылке, все это выливалось ей на пол. Девочка не отвечала на вопросы, кровать ее стояла у стены и не попадала в поле зрения.

Трое предшествующих суток, борьба за устройство жизни девочки, все эти нововведения, попытки как-то научить девочку подтираться (до сих пор это делала за нее Елена), передача воды, чтобы она как-то умылась, все эти уговоры, чтобы девочка подошла под дверной глазок за бутылкой (один раз Николай хотел помыть девочку, вылив на нее бидон горячей воды вместо подачи корма, и тогда она стала бояться подходить к двери), — все это настолько буквально стерло в порошок обитателей квартиры, что, когда девочка перестала отзываться, все легли и заснули очень надолго.

Но потом все завершилось очень скоро. Проснувшись, бабушка с дедушкой в своей постели обнаружили кошку со все той же окровавленной мордой — видимо, кошка ела девочку, но вылезла через отдушину — попить, что ли. Ай, ой, закричали, застонали бабушка с дедушкой, на что в ответ возник в дверях Николай и, выслушав все плачи, просто захлопнул дверь и завозился с той стороны, запирая дверь на стул. Дверь не только не стала открываться, но и отдушины Николай не сделал, отложили это. Елена кричала и хотела снять стул, но Николай запер ее в ванной — снова.

А Николай лег на кровать и начал вздуваться, вздуваться, вздуваться. Простлой ночью он убил женщину с рюкзаком, а она, видимо, была уже больна, так что не помогла дезинфекция ножа над газом — кроме того, Николай тут же, на улице, над

рюкзаком, поел концентрата ячменной каши, хотел попробовать и, на тебе, все съел.

Николай все смекнул, но поздно, когда уже стал вздуться. Вся квартира грохотала от стуков, мяукала кошка, в верхней квартире тоже дело дошло до стука, а Николай все тужился, пока наконец кровь не пошла из глаз, и он умер, ни о чем не думая, только все тужась и желая освободиться.

И дверь на лестницу никто не открыл, а напрасно, потому что, неся хлеб, шел по квартирам тот молодой человек, а в квартире Р. все стуки уже утихли, только Елена немного скреблась, исходя кровью из глаз, ничего не видя, да и что было видеть в абсолютно темной ванной, лежа на полу.

Почему молодой человек пришел так поздно? Да потому, что у него очень много было на участке квартир, четыре громадных дома. И второй раз молодой человек пришел в этот подъезд только вечером на исходе шестого дня, через три дня после того, как затихла девочка, через сутки после исхода Николая, через двенадцать часов после исхода Елениных родителей и через пять минут после Елены.

Однако кошка все мяукала, как в том знаменитом рассказе, где муж убил жену и заложил ее кирпичной стеной, а следствие пришло и по мяуканью в стене разобралось, в чем дело, поскольку вместе с трупом в стене был замурован любимый кот хозяйки и жил там, питаясь ее мясом.

Кот мяукал, и молодой человек, услышав единственный живой голос в целом подъезде, где уже утихли, кстати, все стуки и крики, решил бороться хотя бы за одну жизнь, принес железный ломик, он валялся во дворе весь в крови, — и взломал дверь. Что же он увидел? Черная знакомая гора в ванной, черная гора в проходной комнате, две черные горы за дверью, запертой на стул, оттуда и выскользнула кошка. Кошка ловко прыгнула в отдушину, грубо выбитую еще в одной двери, и там послышался человеческий голос. Молодой человек снял и этот стул и вошел в комнату, усеянную стеклом, сором, экскрементами, вырванными из книг страницами, безголовыми мышами, бутылками и веревками. На кровати лежала девочка с лысым черепом ярко-красного цвета, точно таким же, как у молодого человека, только краснее. Девочка смотрела на молодого человека, а на подушке ее сидела кошка и тоже пристально смотрела.

ДВА ЦАРСТВА

Сначала они летели в абсолютном небесном раю, как это и полагается, среди ослепительно синего пейзажа, над плотными курчавыми облаками. Стюардесса была уже не своя, ихняя, в дивной белой полотняной форме без пуговиц, подавала преимущественно напитки нездешнего вкуса. Пассажиры все как один полуспали утомленные, и когда Лина пошла через весь самолет в хвостовое отделение, ее поразил одинаково желтый цвет лиц летящих, одинаково черные прически. Она даже испугалась, как будто полк солдат переносили с места на место. Солдаты эти одинаково спали, утомленно откинувшись и приоткрыв темные запекшиеся рты. Или это было целое посольство далекой южной страны.

Затем наступила ночь. Лина никогда еще так долго и далеко не летала, она провела часть ночи в туалете, где смотрела в выпуклое окно. Там были видны звезды, вверху, по бокам

и далеко внизу, где эти звезды прямо-таки можно было перепутать с туманно светившимися огнями поселков. Одинок мчащаяся в ночной мгле, среди обилия звезд, человеческая душа с восторгом наблюдала себя в центре мироздания, среди шевелящихся крупных, мохнатых светил в полной крошечной темноте. Одна среди звезд! Лина даже заплакала. Она с трудом теперь вспоминала минуты расставания с семьей, с родиной, у нее все это смешалось в один утомительный клубок, который никак не удавалось распутать, что было вначале, а что потом. Волшебное появление Васи с билетами и разрешением на брак, какие-то сложные формальности, слезы матери, когда Лину одевали сестры в белое платье и спустили на каталке, на лифте, а там Вася взял Лину на руки и понес в машину... Лина то ли теряла сознание, то ли ее укачало в машине — во всяком случае, все происшедшее она вспоминала как сон: глупая музыка, удивленные, ужаснувшиеся люди по сторонам, зеркала, в которых отражался Вася с бородой и она, серая, истощенная, вся в белом кружеве, с запавшими глазами. Вася увозил Лину на самолете лечиться. Перед отъездом все-таки была сделана, видимо, запланированная операция, и все, что было после операции, Лина уже не помнила. Какой-то вой матери, заглушаемый как бы подушкой, плач сына, который испугался музыки, цветов и лица Лины, очевидно; он плакал, как вообще плачут испуганные дети, при которых бьют или уводят, отцепляя от них, мать: громко, истошно визжал. Он был слишком мал, его надо было оставить при бабушке, поскольку Лине предстояла еще раз операция в чужом городе, в чужой стране и с новым мужем, этим неизвестно откуда взявшимся Васей с бородой.

Вася этот вообще был миф, он появлялся раз в год, мелькал где-то в толпе, целовал руку, держа своей прохладной большой рукой, обещал Лине золотые горы и будущее ее сыну — но не сейчас, а вскоре. Потом. Сейчас, именно в тот момент встречи, еще было нельзя. А потом — он обещал увезти ее и сыночка, а также и мамашу, в земной рай где-то далеко на берегу теплого моря, среди мраморных колонн, летающих чуть ли не эльфов, короче, ее ждало будущее Дюймовочки. А потом, когда Лина серьезно заболела в свои тридцать семь лет, этот Василий стал объявляться чаще, нес утешение, навещал после первой операции — пришел, так трогательно, прямо в реанимацию, когда Лина Богу душу отдавала и лежала с капельницей, разглядывая на весу истощенную и прозрачную руку... Он прошел в своем белом одеянии как в медицинском халате (он вообще обожал

носить все белое), единственно что он был босиком, но его никто не заметил. Он хотел тут же прямо забрать Лину отсюда, увидев, в каком она виде и как сделали ей шов. Однако тут прибежала заполошная медсестра, отогнала Васю и сделала еще укол, вызвала врача, и Вася исчез надолго. В следующий раз он опять пришел прямо в больницу, все объяснил, сказал, что мама ее согласна и они с ребенком будут взяты позже, им он оставит все необходимое, а Лину надо брать прямо сейчас, потому что нельзя медлить. В той стране, где теперь жил этот Вася, лечили Линину болезнь, нашли вакцину и так далее. Лине, короче говоря, было все равно, настолько она второй раз уже не сопротивлялась ни болезни, ни смерти. Ее вели на сильных наркотиках, и она плавала как в тумане. Даже мысли о мальчике, о Сереженьке, не так мучили ее. «А если бы я умерла, — сказала себе Лина, — было бы лучше? А так и я поживу, и их возьму к себе потом».

Вася, таким образом, все оформил, хотя врачи настаивали на операции, говоря, что без операции больная не протянет и суток. Вася переждал операцию, все оформил и явился забирать Лину опять прямо из реанимации. Ее осторожно повезли, переодели, от чего она перестала видеть и слышать, а затем очнулась уже летящей в виду синего неба и бескрайнего, пустынного, пушистого поля облаков под самолетом. Лина очень удивилась, увидев, что сидит рядом с Васей и тем более пьет какое-то легкое, искрящееся вино из бокала. Потом она даже встала — Вася спал, утомленный хлопотами, — и пошла удивительно легкой походкой по самолету. У нее ничего не болело — видимо, ей уже что-то вкололи местное, болеутоляющее.

Самолет пронесся очень низко над прекрасным, разворачивающимся внизу как большой макет городом со сверкающей рекой, мостами и громадным игрушечным собором. Это было очень похоже на Париж! И тут же начался грохот торможения, и самолет своим тупым носом, широким, как окно в гостинице, буквально въехал, прогремев, как телега, и затрясшись, в тихий сад. Окно было с дверью и выходило на террасу, вдали блестела излуцина реки с мостами и какая-то триумфальная арка.

— Плас Пигаль, — почему-то сказала Лина и указала Васе. — Смотри!

Вася пошел открывать дверь на террасу, и началась сказочная жизнь.

Однако Лине пока еще нельзя было ходить за реку, хотя лечение началось и продвигалось успешно. Вася уходил и целыми днями

где-то пропадал. Он ничего не запрещал Лине, но было понятно, что и река, и собор, и тот чудесный город еще очень далеко от нее. Пока же она стала потихоньку выходить из дома, бродить по одной-единственной улочке, поскольку сил еще было мало.

Здесь, она заметила, все были одеты, как Вася, как самые лучшие дети-цветы, которых она видела в зарубежных кинофильмах. Длинные волосы, дивные тонкие руки, белые одежды, даже веночки. Правда, в магазинах имелось все, о чем можно было мечтать, но, во-первых, Вася не оставлял Лине денег — все, видимо, поглощало лечение, очень, наверно, дорогое. Во-вторых, отсюда было невозможно посылать посылки и почему-то даже письма. Здесь не принято было писать! Нигде ни клочка бумаги, нигде ни ручки. Не было никакой буквально связи — возможно, Лина попала как бы в карантин, в нечто переходное.

Там, за рекой, она видела бурлящую подлинную жизнь богатого иностранного города. Здесь тоже было все — рестораны, магазины. Но не было связи. Лина передвигалась пока что, держась двумя руками за стенку, как новорожденная, как только научившийся ходить младенец. Когда Лина пожаловалась Васе, что она хочет в магазин, он тут же принес ей кучу одежды — всякой, в том числе и ношенной, мужской, женской, детской, причем разных размеров. Принес и чемодан обуви, как носят русским зарубежные друзья от всех знакомых. Среди одежды находились и серые мужские кальсоны, отчего Лина слегка смутилась. Бог знает что это были за вещи и чьи! И куда их было девать, Лина не знала, потому что она сама очень скоро начала носить все Васино — что-то вроде белой сорочки и поверх белое платье из тонкого полотна. Роста они с Васей были одинакового, сложение Васи, здорового человека, было такое же, как и у истощенной Лины. Лина поплакала над этой одеждой, сказала вечером Васе, что очень хочет послать посылку Сереженьке и маме, и показала на две кучки. Вася нахмурился и промолчал, а наутро вся одежда исчезла.

Вася, как выяснилось, именно и работал тут, за рекой, в этом режимном поселке, он не испытывал никакой надобности ездить за мосты к соборам и аркам, и Лине пришлось приспособливаться к его тихому, размеренному существованию. Она, правда, знала, что все может случиться — по своей прежней жизни, — в том числе и то, что моложавый, моложе ее Вася кого-то полюбит и уйдет. Он не любил Лину, этот бородатый Вася, хотя он ее берег от всех трудов. Пища являлась сама собой, одежда сверкала. Когда он это успевал? Их комната, в бреду

Лины сохранившая черты летательного аппарата, выходила окном и дверью на террасу с белыми колоннами, но никакого счастья не получалось. Лина мужественно терпела свою разлуку с Серезенькой, матерью, подругами и другом по институту Левой, она понимала теперь, что ее болезнь неизлечима и можно только стараться поддерживать нынешнее состояние — без болей, но и без сил, куда уж тут шумный Серезенька с его бурными слезами и красными от плача глазками! Куда уж тут ее мама особенно, ядовито-приветливая, тоже слезливая! Здесь не было скорби и плача, здесь была другая страна. Лина сколько могла наблюдала этих парящих людей в белом и их хороводы над рекой под однообразную музыку арф (глупейшее занятие, между прочим!) и их безмолвные посиделки за длинным общим столом в ресторане с бокалами местного дивного вина. Лина очень бы хотела поделиться мнением с подругами и мамой, хотя бы написать им о том, что все хорошо, лечение идет нормально, в магазинах все есть, но нового не купишь — первое, что безумно дорого, а второе, что здесь такого не носят, а еда непривычная, хотя есть пока много нельзя и т. д. Что хочет послать Серезеньке и всем посылочку, но пока нет okazji, а почтовой связи между их государствами не существует. Лина таскалась по улицам, держась за все, что попадало под руку, и мысленно сочиняла письма домой.

С течением времени Лина, однако, стала понимать, что с письмами дело обстоит безнадежно. Вася твердо обещал насчет приезда мамы и Серезеньки, особенно насчет мамы. Но мама без Серезеньки? Или он без бабушки? «Со временем, — говорил бородатый Вася, — со временем».

Лина хотела начать что-то покупать к приезду мамы, но Вася дал ей понять, что к тому моменту все образуется.

Здесь вообще как-то не суетились насчет завтрашнего дня, здесь все очень, видимо, были заняты, но зато жизнь была организована идеально, стерильно, комфортно.

Вася работал в собственной книжной лавке, которую он приобрел благодаря наследству от тетушки, но он не приносил Лине книг, так как она все равно не понимала чужого языка, а на русском у них ничего не было. Сам Вася оказался по-русски неграмотным.

Наконец пришло то время, когда Лина освоила летящую походку аборигенов. Оказалось, что это очень просто. Надо было встать на какую-нибудь ступень повыше и сделать очень широкий шаг в воздух. Следующий шаг другая нога уже произ-

водила от толчка, и каждый дальнейший прыжок был все более свободным и невесомым, как во сне. Бородатый Вася ничего не сказал, однако в положенное время навсегда исчез, видимо, за рекой, в богатом городе, как сочла одинокая Лина, оставшаяся на полном обеспечении, как оказалось. Она вначале думала, без слез и страха, что теперь ее погонят из их летательного аппарата и пища не будет же вечно стоять в холодильнике! Но холодильник пополнялся регулярно, как по кухонному лифту, а Лина не ела ничего, только пила соки и была здорова.

И наконец наступил тот момент, когда она, подумав и потосковав, оторвалась от ступеней своего дома и широкими шагами помчалась на берег реки к хороводу и, разомкнув чужие руки, влилась в общую вереницу и полетела по кругу.

Она понимала, что тут что-то совсем не так, и уже не хотела видеть здесь ни маму, ни сыночка. Она даже не хотела здесь встретить тот полк солдат и надеялась, что никого больше не встретит, а если встретит, то не будет знать, кто это, не различит в веренице молодых, бледных, успокоенных лиц, несущихся, как она, свободно — и с надеждой не встретит здесь больше никого, в этом царстве мертвых, и никогда не узнать, как тоскуют там, в царстве живых.

ЧЕРНОЕ ПАЛЬТО

Одна девушка вдруг оказалась на краю дороги зимой в незнакомом месте: мало того, она была одета в чье-то чужое черное пальто.

Под пальто, она посмотрела, был спортивный костюм.

На ногах находились кроссовки.

Девушка вообще не помнила, кто она такая и как ее зовут.

Она стояла и мерзла на непонятном шоссе зимой, ближе к вечеру.

Вокруг был лес, становилось темно.

Девушка подумала, что надо куда-то двигаться, потому что было холодно, черное пальто не грело совершенно.

Она пошла по дороге.

Тем временем из-за поворота показался грузовик. Девушка подняла руку, и грузовик остановился. Шофер открыл дверцу. В кабине уже сидел один пассажир.

— Тебе куда?

Девушка ответила первое, что пришло на ум:

— А вы куда?

— На станцию, — ответил, засмеявшись, шофер.

— И мне на станцию. — (Она вспомнила, что из леса, действительно, надо выбираться на какую-нибудь станцию).

— Поехали, — сказал шофер, все еще смеясь. — На станцию так на станцию.

— Я же не помешусь, — сказала девушка.

— Поместишься, — смеялся шофер. — Товарищ у меня одни кости.

Девушка забралась в кабину, и грузовик тронулся.

Второй человек в кабине угрюмо потеснился.

Лица его совершенно не было видно из-под надвинутого капюшона.

Они мчались по темнеющей дороге среди снегов, шофер молчал, улыбаясь, и девушка тоже молчала, ей не хотелось ничего спрашивать, чтобы никто не заметил, что она все забыла.

Наконец они приехали к какой-то платформе, освещенной фонарями, девушка слезла, дверца за ней хлопнула, грузовик рванул с места.

Девушка поднялась на перрон, села в подошедшую электричку и куда-то поехала.

Она помнила, что полагается покупать билет, но в карманах, как выяснилось, не было денег: только спички, какая-то бумажка и ключ.

Она стеснялась даже спросить, куда едет поезд, да и некого было, вагон был совершенно пустой и плохо освещенный.

Но в конце концов поезд остановился и больше никуда не пошел, и пришлось выйти.

Это был, видимо, большой вокзал, но в этот час совершенно безлюдный, с погашенными огнями.

Все вокруг было перерыто, зияли какие-то безобразные свежие ямы, еще не занесенные снегом.

Выход был только один, спуститься в туннель, и девушка пошла по ступенькам вниз.

Туннель тоже оказался темным, с неровным, уходящим вниз полом, только от кафельных белых стен шел какой-то свет.

Девушка легко бежала вниз по туннелю, почти не касаясь пола, неслась как во сне мимо ям, лопат, каких-то носилок, здесь тоже, видимо, шел ремонт.

Потом туннель закончился, впереди была улица, и девушка, задыхаясь, выбралась на воздух.

Улица тоже оказалась пустой и какой-то полуразрушенной. В домах не было света, в некоторых даже не оказалось крыш и окон, только дыры, а посередине проезжей части торчали временные ограждения: там тоже все было раскопано.

Девушка стояла у края тротуара в своем черном пальто и мерзла.

Тут к ней внезапно подъехал маленький грузовик, шофер открыл дверцу и сказал:

— Садись, подвезу.

Это был тот самый грузовик, и рядом с шофером сидел знакомый человек в черном пальто с капюшоном.

Но за то время, пока они не виделись, пассажир в пальто с капюшоном как будто бы потолстел, и места в кабине почти не было.

— Тут некуда, — сказала девушка, залезая в кабину.

В глубине души она обрадовалась, что ей чудесным образом встретились старые знакомые.

Это были ее единственные знакомые в той новой, непонятной жизни, которая ее теперь окружала.

— Поместишься, — засмеялся веселый шофер, поворачивая к ней лицо.

И она с необыкновенной легкостью действительно поместилась, даже осталось еще пустое пространство между ней и ее мрачным соседом, он оказался совсем худым, это просто его пальто было такое широкое.

И девушка думала: возьму и скажу, что ничего не знаю.

Шофер тоже был очень худым, иначе бы они все не расселись так свободно в этой тесной кабине маленького грузовика.

Шофер был просто очень худой и курносый до невозможности, то есть вроде бы уродливый, с совершенно лысым черепом, и вместе с тем очень веселый: он постоянно смеялся, открывая при смехе все свои зубы.

Можно даже сказать, что он не переставая хохотал во весь рот, беззвучно.

Второй сосед все еще прятал лицо в складках своего капюшона и не говорил ни слова.

Девушка тоже молчала: о чем ей было говорить?

Они ехали по совершенно пустым и раскопанным ночным улицам, народ, видимо, давно спал по домам.

— Тебе куда надо? — спросил весельчак, смеясь во весь свой рот.

— Мне надо к себе домой, — ответила девушка.

— А это куда? — беззвучно хохоча, поинтересовался шофер.
— Ну... До конца этой улицы и направо, — сказала девушка неуверенно.

— А потом? — спросил, не переставая щерить зубы, водитель.

— А потом все время прямо.

· Так ответила девушка, в глубине души боясь, что у нее потребуют адрес.

Грузовик мчался совершенно бесшумно, хотя дорога была жуткая, вся в ямах.

— Куда? — спросил веселый.

— Вот здесь, спасибо, — сказала девушка и открыла дверцу.

— А платить? — разинув смеющуюся пасть до предела, воскликнул шофер.

Девушка поискала в карманах и снова обнаружила бумажку, спички и ключ.

— А у меня нету денег, — призналась она.

— Если нет денег, нечего было и садиться, — захохотал шофер. — Тот первый раз мы ничего с тебя не взяли, а тебе это, видно, понравилось. Давай иди домой и принеси нам деньги. Или мы тебя съедем, мы худые и голодные, да? Точно, пустая башка? — спросил он со смехом товарища. — Мы питаемся такими вот как ты. Шутка, конечно.

Они вышли все вместе из грузовика на каком-то пустыре, где вразброс стояли еще не заселенные, видимо, дома, по виду новые.

Во всяком случае, огней не было видно.

Только горели фонари, освещая темные, безжизненные окна.

Девушка, все еще на что-то надеясь, дошла до самого последнего дома и остановилась.

Ее спутники остановились тоже.

— Это здесь? — спросил хохочущий шофер.

— Может быть, — шутливо ответила девушка, замирая от неловкости: вот сейчас и обнаружится, что она все забыла.

Они вошли в подъезд и стали подниматься по темной лестнице.

Хорошо, что фонари светили в окна и были видны ступени.

На лестнице стояла полнейшая тишина.

Дойдя до какого-то этажа, девушка у первой попавшейся двери достала из кармана ключ, и, к ее удивлению, ключ легко повернулся в замке.

В прихожей было пусто, они прошли дальше, в первой комнате тоже, а вот во второй в дальнем углу лежала груда непонятных вещей.

— Видите, у меня нет денег, берите вещи, — сказала девушка, оборачиваясь к своим гостям.

При этом она обратила внимание, что шофер все так же широко ухмыляется, а человек в капюшоне все так же прячет лицо, отвернувшись.

— А что это такое? — спросил шофер.

— Это мои вещи, они мне больше не нужны, — ответила девушка.

— Ты так думаешь? — спросил шофер.

— Конечно, — сказала девушка.

— Тогда хорошо, — подал голос шофер, наклоняясь над кучей.

Они вдвоем с пассажиром стали разглядывать вещи и что-то уже потянули в рот.

А девушка тихо попятилась и вышла в коридор.

— Я сейчас, — крикнула она, увидев, что они подняли головы в ее сторону.

В коридоре она на цыпочках, широко ступая, добралась до дверей и оказалась на лестнице.

Сердце громко билось, стучало в пересохшем горле.

Совершенно нечем было дышать.

«Как все-таки повезло, что первая попавшаяся квартира открылась моим ключом, — думала она. — Никто не заметил, что я ничего не помню».

Она спустилась этажом ниже и услышала быстрые шаги наверху на лестнице.

Тут же ей пришло в голову опять воспользоваться ключом.

И, как ни странно, первая же дверь отперлась, девушка скользнула в квартиру и захлопнула за собой дверь.

Было темно и тихо.

Никто не преследовал ее, не стучал, может быть, незнакомцы уже ушли вниз по лестнице, таща найденные вещи, и оставили в покое бедную девушку.

Теперь можно было как-то обдумать свое положение.

В квартире не очень холодно, это уже хорошо.

Наконец-то найдено пристанище, хоть временное, и можно лечь где-нибудь в углу.

У нее от усталости болела шея и спина.

Девушка тихо пошла по квартире, в окна бил свет от уличных фонарей, комнаты были абсолютно пустые.

Однако когда она зашла в последнюю дверь, сердце у нее громко застучало: в углу лежала куча каких-то вещей.

В том же углу, что и этажом выше.

Девушка постояла, ожидая какого-то нового происшествия, но ничего не случилось, тогда она подошла к этой груди и села на тряпки.

— Ты что, обалдела? — закричал полузадушенный голос, и она почувствовала, что тряпки под ней шевелятся как живые, как будто змеи.

Тут же сбоку высунулись две головы и четыре руки одна за другой, оба ее знаконца активно возились в тряпках и наконец выбрались наружу.

Девушка побежала на лестницу.

Ноги у нее были словно ватные.

За ее спиной кто-то активно выползал в коридор.

И тут она увидела полоску света под ближайшей дверью.

Девушка опять неожиданно легко открыла своим ключом квартиру напротив и ворвалась туда, быстро закрыв за собой дверь.

Перед ней на пороге стояла женщина с горящей спичкой в руке.

— Спасите меня ради Бога, — зашептала девушка.

На лестнице за ее спиной уже слышались легкие шорохи, как будто кто-то полз.

— Проходи, — сказала женщина, выше поднимая догорающую спичку.

Девушка подвинулась еще на шаг.

На лестнице было тихо, как будто кто-то остановился и размышлял.

— Ты что в двери по ночам ломишься, — грубовато спросила женщина со спичкой.

— Пойдемте туда, — шептала девушка, — туда куда-нибудь, я вам все объясню.

— Туда я не могу, — глухо сказала женщина. — Спичка по дороге погаснет. Нам дается только десять спичек.

— У меня есть спички, — обрадовалась девушка, — возьмите.

Она нашарила коробок в кармане пальто и протянула женщине.

— Зажги сама, — потребовала женщина.

Девушка зажгла, и при мерцающем свете спички они пошли по коридору.

— Сколько их у тебя? — спросила женщина, глядя на коробок.

Девушка погремела спичками.

— Мало, — сказала женщина. — Наверно, уже девять.

— Как освободиться? — прошептала девушка.

— Можно проснуться, — ответила женщина, — но это бывает не всегда. Я, например, уже больше не проснусь. Мои спички кончились, тью-тью.

И она засмеялась, обнажив в улыбке большие зубы. Она смеялась очень тихо, беззвучно, как будто хотела просто раскрыть рот как можно шире, как будто зевала.

— Я хочу проснуться, — сказала девушка. — Давайте кончим этот страшный сон.

— Пока горит спичка, ты еще можешь спастись, — сказала женщина. — Мою последнюю спичку я израсходовала только что, хотела тебе помочь. Теперь мне уже все безразлично. Я даже хочу, чтобы ты тут осталась. Ты знаешь — все очень просто, не надо дышать. Можно сразу перелететь, куда хочешь. Не нужен свет, не нужно есть. Черное пальто спасает от всех бед. Я скоро полечу посмотреть, как мои дети. Они были большие озорники и не слушались меня. Один раз младший плюнул в мою сторону, когда я сказала, что папы больше нет. Заплакал и плюнул. Теперь я уже не могу их любить. Еще я мечтаю полететь посмотреть, как там мой муж и его подружка. Я к ним тоже теперь равнодушна. Я сейчас очень многое поняла. Я была такая дура!

И она опять засмеялась.

— С этой последней спичкой выпадение памяти прошло. Теперь я вспомнила всю свою жизнь и считаю, что была неправа. Я смеюсь над собой.

Она действительно смеялась во весь рот, но беззвучно.

— Где мы? — спросила девушка.

— На этот вопрос не бывает ответа, скоро увидишь сама. Будет запах.

— Кто я? — спросила девушка.

— Ты узнаешь.

— Когда?

— Когда кончится десятая спичка.

А спичка девушки уже догорала.

— Пока она горит, ты можешь проснуться. Но я не знаю, как. Мне не удалось.

— Как тебя зовут? — спросила девушка.

— Мое имя скоро напишут масляной краской на железной дощечке. И воткнут в маленькую горку земли. Тогда я прочту и узнаю. Уже готова банка краски и эта пустая дощечка. Но это

известно только мне, остальные еще не в курсе. Ни мой муж, ни его подруга, ни мои дети. Как пусто! — сказала женщина. — Скоро я улечу и увижу себя сверху.

— Не улетай, я прошу тебя, — сказала девушка. — Хочешь мои спички?

Женщина подумала и сказала:

— Пожалуй, я возьму одну. Мне еще кажется, что мои дети любят меня. Что они будут плакать. Что они будут никому на свете не нужны, ни их отцу, ни его новой жене.

Девушка сунула свободную руку в карман и вместо коробка спичек нашарила там бумажку.

— Смотри, что тут написано! «Прошу никого не винить, мама, прости». А раньше она была пустая!

— А, ты так написала! А я написала «больше так не хочу, дети, люблю вас». Она проявилась только недавно.

И женщина достала из кармана черного пальто свою бумажку.

Она стала читать ее и воскликнула:

— Смотри, буквы растворяются! Наверно, кто-то эту записку уже читает! Она уже попала в чьи-то руки... Нет буквы «б» и буквы «о»! И тает буква «л»!

Тут девушка спросила:

— Ты знаешь, почему мы здесь?

— Знаю. Но тебе не скажу. Ты сама узнаешь. У тебя еще есть запас спичек.

Девушка тогда достала из кармана коробок и протянула женщине:

— Бери все! Но скажи мне!

Женщина отсыпала себе половину спичек и сказала:

— Кому ты написала эту записку? Помнишь?

— Нет.

— Ты сожги еще одну спичку, эта уже догорела. С каждой сожженной спичкой я вспоминала все больше.

Девушка взяла тогда все свои четыре спички и подожгла.

Вдруг все осветилось перед ней: как она стояла на табуретке под лампочкой, как на столе лежала маленькая записка «Прошу никого не винить», как где-то там, за окном, лежал ночной город и в нем была квартира, где ее любимый, ее жених, не хотел больше подходить к телефону, узнав, что у нее будет ребенок, а брала трубку его мать и все время спрашивала «А кто и по какому вопросу», — хотя прекрасно разбиралась — и по какому вопросу, и кто звонит...

Последняя спичка догорала, но девушка очень хотела знать, кто спал за стеной в ее собственной квартире, кто там, в соседней комнате, похрапывал и стонал, пока она стояла на табуретке и привязывала свой тонкий шарф к трубе под потолком...

Кто там, в соседней комнате, спит — и кто не спит, а лежит глядит большими глазами в пустоту и плачет...

Кто?

Спичка уже почти догорела.

Еще немного — и девушка поняла все.

И тогда она, находясь в пустом темном доме, в чужой квартире, схватила свой клочок бумажки и подожгла его!

И увидела, что там, в той жизни, за стеной храпит ее больной дедушка, а мама лежит на раскладушке поблизости от него, потому что он тяжело заболел и все время просит пить.

Но был еще кто-то там, чье присутствие она ясно чувствовала и кто любил ее — но бумажка быстро угасала в ее руках.

Этот кто-то тихо стоял перед ней и жалел ее, и хотел подержать, но она его не могла видеть и слышать и не желала говорить с ним, слишком у нее сильно болела душа, она любила своего жениха и только его, она не любила больше ни маму, ни деда, ни того, кто стоял перед ней той ночью и пытался ее утешить.

И в самый последний момент, когда догорал последний огонь ее записки, она захотела поговорить с тем, кто стоял перед ней внизу, на полу, а глаза его были вровень с ее глазами, как-то так получалось.

Но бедная маленькая бумажка уже догорала, как догорали остатки ее жизни там, в комнате с лампочкой.

И девушка тогда сбросила с себя черное пальто и, обжигая пальцы, последним язычком пламени дотронулась до сухой черной материи.

Что-то щелкнуло, запахло паленым, и за дверью завывли в два голоса.

— Скорей снимай с себя свое пальто! — закричала она женщине, но та уже спокойно улыбалась, раскрыв свой широкий рот, и в ее руках догорала последняя из спичек...

Тогда девушка — которая была и тут, в темном коридоре перед дымящимся черным пальто, и там, у себя дома, под лампочкой, и она видела перед собой чьи-то ласковые, добрые глаза — девушка дотронулась своим дымящимся рукавом до черного рукава стоящей женщины, и тут же раздался новый двойной вой на лестнице, а от пальто женщины повалил смрад-

ный дым, и женщина в страхе сбросила с себя пальто и тут же исчезла.

И все вокруг тоже исчезло.

В то же мгновение девушка уже стояла на табуретке с затянутым шарфом на шее и, давясь слюной, смотрела на стол, где белела записка, в глазах плавали огненные круги.

В соседней комнате кто-то застонал, закашлялся, и раздался сонный голос мамы: «Отец, давай попьем?»

Девушка быстро, как только могла, растянула шарф на шее, задышала, непослушными пальцами развязала узел на трубе под потолком, соскочила с табуретки, скомкала свою записку и плюхнулась в кровать, укрывшись одеялом.

И как раз вовремя.

Мама, жмурясь от света, заглянула в комнату и жалобно сказала:

— Господи, какой мне страшный сон приснился... Какой-то огромный ком земли стоит в углу, и из него торчат корни... И твоя рука... И она ко мне тянется, мол, помоги... Что ты спишь в шарфе, горло заболело? Дай я тебя укрою, моя маленькая... Я плакала во сне...

— Ой, мама, — своим всегдашним тоном ответила ее дочь. — Ты вечно с этими снами! Ты можешь меня оставить в покое хотя бы ночью! Три часа утра, между прочим!

И про себя она подумала, что бы было с матерью, если бы она проснулась на десять минут раньше...

А где-то на другом конце города женщина выплюнула горсть таблеток и тщательно прополоскала горло.

А потом она пошла в детскую, где спали ее довольно большие дети, десяти и двенадцати лет, и поправила на них сбившиеся одеяла.

А потом опустилась на колени и начала просить прощения.

ЧУДО

У одной женщины повесился сын.

То есть когда она пришла с ночного дежурства, мальчик лежал на полу, рядом валялась табуретка, а с люстры свисала тонкая синтетическая веревка.

Рот у парня был в крови, на шее ясно виднелась красная полоска.

Он был без сознания, однако сердце еле слышно билось, так что приехавший на «скорой помощи» врач сказал, что это была только попытка самоубийства.

Причем на столе лежала записка: «Мамочка, прости, я тебя люблю».

Только тогда, когда сына увезли на каталке по больничному коридору (а мать вместе с ним в карете «скорой помощи» доехала до приемного покоя и отстала от него не раньше чем у дверей реанимации, держалась за его руку) — только тогда она,

вернувшись домой, обнаружила, что у нее в тайнике, в шерстяном носке на дне чемодана, ничего не осталось.

А там было два обручальных кольца, все деньги, немного долларов и золотые сережки с рубинами.

Бедная женщина затем недосчиталась и магнитофона, единственной ценной вещи, которую она вынуждена была купить сыну под его обещание вернуться в школу.

Потом она увидела под кроватью и в кухне много пустых бутылок, в раковине груды грязной посуды, а в уборной следы рвоты и безобразия.

Правду сказать, она еще с порога, придя рано утром после ночного дежурства, подумала, что тут явно шла гульба (сыну предстояло идти в армию, и он говорил, что пригласит гостей, но мать все время возражала).

Однако, когда она утром вошла в квартиру, в их единственную на двоих комнату, и увидела покосившуюся люстру, отодвинутый стол, лежащую табуретку и, что еще страшней, веревку и тело на полу, у нее мгновенно отшибло все гневные мысли.

И только теперь, вернувшись из больницы, она все сразу восстановила в памяти и тут же, подняв табуретку, выдвинула из-под кровати чемодан.

Он был заперт небрежно, только на один замочек, второй отскочил.

Этот торчащий замочек много ей сказал, и она уже безо всякой надежды, оцепенев, открыла чемодан.

Носок лежал на своем месте, в углу под одеждой, но пустой.

В этом носке хранилась вся ее надежда на спасение, она строила разные планы, то купить телевизор, то заплатить, чтобы у парня приняли экстерном экзамены за курс средней школы, он бросил учиться в середине года.

То она мечтала поменять квартиру с доплатой, еще поднажить и накопить, однокомнатную на двухкомнатную, хоть в плохом районе, чтобы у мальчика была своя комнатка: пусть ей жилось тяжело с ним, но он был единственным родным человеком, больше никого у нее не осталось, вся семья умерла, весь их род: родители, тетки-дядьки, потом молодым погиб ее муж, какой-то злой рок преследовал их.

И вот теперь и мальчик захотел уйти.

Кстати, он давно уже поговаривал о таких вещах, неуклонно приближалось время идти в армию, а он с детства был мягким, добрым ребенком, не любил драться, говорил, что не может тронуть человека, и из-за этого его частенько избивали

в школе, его постоянно преследовали трое ребят из соседнего класса, смеялись, что он не дает сдачи, такой слабак, и вытрясали у него из карманов все вплоть до носового платка, а он молчал.

Что не мешало ему теперь, в пьяном виде, замахиваться на мать: вообще с ним произошли страшные перемены, когда он подружился с дворовыми парнями старше его.

Они взяли мальчика под защиту, как он признался матери, он пришел домой и сказал, что все, теперь его никто не тронет, и ходил веселый, даже слишком веселый.

Вот тогда, в четырнадцать лет, он стал требовать у матери магнитофон, ребята давали ему переписать кассеты, а он не мог им признаться, что у него ничего нет, только сидел и смотрел на эти кассеты.

Он, видимо, им нахвастал насчет собственного магнитофона, выдавая желаемое за действительное.

Он знал, что у матери есть деньги, она берегла, копила, работала везде, где могла, но при этом она всегда ему твердо говорила, что карманные деньги могут его испортить, он еще, чего доброго, начнет пить и курить.

Он и начал довольно быстро пить и курить, его угошали, видимо; кроме того, он все-таки находил материнские записки и подворовывал помаленьку, она была рассеянной и никогда не знала, сколько у нее чего.

Однажды он особенно долго кричал насчет магнитофона, плакал и даже заболел, поднялась температура, и он сказал, что лечиться не будет, хочет уйти.

Начался бред, он упорно отказывался от еды, и вот тут материнское сердце дрогнуло, она пошла купила ему магнитофон, самый дешевый, но все равно страшно дорогой.

Сынок быстро очнулся, стал смотреть во все глаза на магнитофон, она плакала от счастья, видя его ошеломление, но он вдруг опять лег, отвернулся и сказал, что это совершенно не то, что нужно.

Они вместе на следующий день потащились в эту дешевую лавочку менять магнитофон, приплатили опять бешеные деньги, причем их явно обманули, видя состояние матери и что она готова на все.

После этого он безо всяких тормозов слушал магнитофон день и ночь как сумасшедший, переписывал кассеты (понадобились деньги и на кассеты), а вскоре встал вопрос о кожаной куртке, джинсах и кроссовках.

Тут мать резко отказалась, эта веревочка могла виться бесконечно.

Она сказала ему: раз ты не учишься, поработай, как я. Я на всякую работу согласна ради тебя. Он стал говорить, что в жизни не будет, как его мать, гнуть спину за копейки.

Причем ведь он боялся делать все то же, что обычно делают в такой ситуации все мальчишки, — продавать газеты, мыть стекла машин у светофора: может быть, думала мать, он просто трусит, что опять прогонят, избыют и т. д. Она, мать, и сама была из породы боязливых, всего пугалась, ото всего плакала, и он, видимо, вырос такой же без отца.

Но очень быстро после этих скандалов дело покатилося к тому, что он не хотел ходить в своих старых штанах и курточке, впал в тоску, не делал уроки, соответственно незачем было шляться в школу, стоять там позориться перед классом, просто незачем. Не за руганью же.

Он не любил нотаций, просто ненавидел.

Все больше времени он проводил со своими защитниками, дворовой компанией, а они ведь, размышляла мать, сидя у растерзанного чемодана, и пили там, и курили, и ели, а он угощался за их счет.

И теперь скорее всего, подумала она, ему наконец припомнили, что это все он пил-ел на их денежки, и пришло наконец время их тоже угостить.

Вот почему он все говорил, что надо устроить проводы в армию, а она отшучивалась, что рано, еще два месяца.

И, конечно, всякий ребенок знает о тайниках в доме, куда мама прячет денежки.

Мать даже забудет, а ребенок помнит, и был случай, когда эта Надя (мать) не могла найти заначку, припрятанную на покупку ботинок для сыночка Вовы, а Вова указал ей под шкаф, ему тогда было восемь лет, а сейчас уже стукнуло семнадцать.

Короче говоря, мать сидела посреди всего этого разора, этого издевательства (на стене в уборной было написано уличное слово, крупа была высыпана изо всех баночек, как будто там что-то искали) — она сидела и думала, что делать больше нечего.

Врач сказал еще в приемном покое, что он дышит и жив, что в реанимацию его отправляют просто так, для надежности, для порядка, а потом переведут в психиатрическое отделение.

Если его там, в больнице, признают сумасшедшим, то это то, чего он больше всего сам боялся, потому что втайне думал

приобрести когда-нибудь машину, а сумасшедшим прав не дают.

В этом случае он не пойдет в армию и останется навсегда жить у нее на руках, как жил, и будет все больше катиться на дно.

Если же его не признают сумасшедшим, что тоже вероятно — ведь он теперь явно будет отрицать самоубийство, бороться изо всех сил, скажет, что хотел поугубить мамашу, — тогда его ждет армия и уж там точно самоубийство, цинковый гроб. Он так и предупредил мать: унижений я не вынесу, жди меня из армии быстро, похоронишь вместе с отцом.

Делать было нечего. Надя переждала вечер, ночь и утро и пошла, покачиваясь, в больницу. Там врач психиатрического отделения встретила ее приветливо, сказала, что это была симуляция самоубийства с помощью дружков, парень сам признался. «Но на шее полоса!» — воскликнула Надя.

— Веревка очень слабенькая была, он это сделал специально, — ответила врач. — Он сказал, что если бы хотел повеситься, то в доме была другая веревка, шнур. Потом он нам все рассказал, что вы говорили фельдшеру «скорой», что она говорила, какой внешний вид был у девушки, как одета. Он все притворился перед вами.

«А пена с кровью», — будто бы возразила Надя, но врач ее не слушала, а сказала, что парень очень переживает и не хочет видеть мать, не хочет идти домой после таких шуток.

«Да он меня обокрал», — хотела воскликнуть Надя, но только горестно заплакала. «Вам самой надо полечиться», — посоветовала ей доктор.

На этом Надя поплелась домой и там стала обзванивать знакомых, советоваться.

Потом спустилась во двор, где сидели старушки, тоже с ними посоветовалась.

Она вела себя как настоящая сумасшедшая, то есть ее кто-то как будто тянул за язык.

Она даже останавливала в переулке случайных знакомых и все им рассказывала как на исповеди.

Люди уже поглядывали на нее с интересом, поддакивали, задавали вопросы.

Но ей помогла одна встреченная на улице бывшая соседская бабушка, которая теперь жила далеко, у сестры, и теперь заболела, как она рассказала, смертельной болезнью со сроком жизни две недели, и потому давно не видела Надю (а Надя, был

такой момент, носила ей продукты из магазина, и бабушка все ей рассказывала: как передала по дарственной свою квартиру любимому внуку, чтобы доживать век в уверенности, что парень пристроен, — и как этот внук, получив дарственную, сразу решил делать большой ремонт, вскрывать полы, менять паркет, а бабушку перевез временно к ее сестре, чтобы не беспокоить, а потом исчез, а в квартире теперь живут посторонние люди, которые купили ее у внука по всем правилам, такие дела — эту историю знали все в их доме).

Эта выгнанная обманом старушка раньше навещала соседей и все плакала, а теперь уже, видно, давно успокоилась, поэтому больше не жаловалась, сказала, что живет прилично («Вместе с сестрой?» — спросила Надя, и старушка ответила, что теперь без сестры, и Надя забоялась дальше спрашивать, не умерла ли эта древняя сестра), живет прилично, развела много цветов («На балконе?» — спросила опять Надя, а старушка сказала, что нет, над головой, как-то странно ответила, и Надя опять не стала переспрашивать где), но Наде самой было важно выговориться, и она тут же все выложила по порядку.

Старушка ей сказала так: «Ищи дядю Корнила».

И все.

Дальше она заторопилась и как-то буквально молниеносно исчезла за углом своего бывшего дома.

Надя, пораженная, заглянула за угол, повернула еще раз за угол, но и во дворе уже знакомой старушки не было.

Делать нечего: Надя опять стала всех обзванивать и опрашивать кого могла, и на почте одна женщина в очереди сказала ей, что дядя Корнил живет в слесарне при больнице около метро.

И что он сам на грани смерти, ему нельзя пить.

Но без бутылки слесаря ее туда не пустят.

Мало того, без бутылки и он ничего не скажет.

Надо сделать то-то и то-то, постелить свежее полотенчико, поставить водку и так далее.

Женщина все объяснила и сказала, где больница.

Вид у нее был нехороший, бледный, как будто она сама была из больницы, причем вся в черном и на голове как покрывало, волосы черные, глаза красивые, какие-то добрые.

Не помня себя, Надя бросилась покупать водку, все приготовила, сложила в сумку.

У больницы ей указали наконец эту мастерскую, обычный подвал в больнице, вернее, обычный шалман.

Видимо, все алкаши района собирались там.

У входа Надя увидела двоих-троих, которые болтались под дверью, то ли ожидая кого, то ли просто гуляя.

Надя, испугавшись, что у нее отнимут бутылки, пошла на дверь как танк, буквально разметала сопротивление (дверь открылась только на громкий стук, даже едва приотворилась, но Надя, показавши бутылки из сумки, протиснулась в подвал, и следом за нею стали проталкиваться, видимо, и те уличные, была какая-то возня, крики за спиной).

Бутылку у нее приняли сразу.

Причем тот человек, который взял у нее спиртное, покачал головой и сказал, что дядя Корнил отходит, а пить ему нельзя.

Тем не менее они сразу указали ей в угол, где около шкафа без дверей лежал прямо на полу мужик как из помойки, раскинув руки.

Надя поступила так, как ей говорила та женщина с почты, — расстелила полотенчко, поставила чистую бутылку со стаканчиком, нарезала хлеба, выложила соленых огурчиков на бумагу и рядом денежку на опохмел.

Дядя Корнил лежал уже как мертвый, раскрывши рот, на лбу запеклось множество мелких ссадин, одна была большая как рана посреди.

На ладонях какие-то язвы типа аллергических.

Надя сидела и ждала, потом открыла бутылку, налила в стакан водки.

Дядя Корнил очнулся, открыл глаза, перекрестился (Надя тоже) и прошептал:

— Надя. — (Она вздрогнула). — У тебя есть его фотография?

У Нади фотографии сына не было. Она обомлела от горя.

— А что-нибудь с него есть?

Надя стала шарить в сумке, выложила на пол кошелечек, пакет молока, грязноватый носовой платок.

Больше не было ничего.

Этим носовым платком она вытирала слезы, когда шла из больницы от сына в первый раз.

Надя поднесла лежащему полный стакан.

Тогда дядя Корнил приподнялся на локте, выпил, заел кусочком огурца и снова лег со словами:

— Дай носовой платок.

А потом он сказал, держа ее носовой платок в руке (а на кисти у него была грязная, гнойная рана):

— Еще один стакан — и мне конец.

Надя испугалась и кивнула.

Она стояла перед ним на коленях, готовясь выслушать все. Там, на носовом платке, были следы ее страданий, ее засохшие слезы, может быть, это был тоже след сына — так она надеялась.

— Так чего ты хочешь, — пробормотал дядя Корнил. — Скажи мне, грешница.

Надя тут же ответила, заплакав:

— В чем это я грешница, на мне нет греха.

За ее спиной, у стола, раздался громкий, хриплый хохот: видимо, кто-то из алкоголиков рассказал что-то смешное.

— Твой дед по отцу убил сто семь человек, — прохрипел дядя Корнил. — А ты сейчас убьешь меня.

Надя снова кивнула, вытирая свои горячие слезы.

Дядя Корнил замолчал.

Он лежал и молчал, а время шло.

Видимо, ему надо было выпить, чтобы он начал опять говорить.

Про деда по отцовской линии Надя не знала почти ничего, он вроде бы пропал без вести — да мало ли было войн, на которых люди нехотя, без злобы, убивали друг друга!

Дается приказ, и либо ты убьешь, либо тебя убьют за невыполнение.

— Так то дед, прадед, он солдат был. А то мальчик. Он в чем виноват, — забормотала Надя с обидой. — Пусть я страдаю, но ему за что такая судьба! Мало ли кто кого когда убил.

Дядя Корнил молчал и лежал как мертвый.

По его лбу побежала живая капля крови.

— Ой, — сказала Надя, с ужасом глядя на эту струйку.

Надо бы ее вытереть, но нечем, не юбкой же, испачкаешься, пойдешь по городу в замаранной юбке. А платок в руке у дяди Корнила.

Без платка он ничего не скажет.

В этом платке след страданий ее и сына.

Тут опять раздался гогот.

Надя обернулась и увидела смеющиеся рожи за столом. На нее никто не обращал внимания.

— Мне не на что надеяться, — вдруг вырвалось у Нади. — Ты сам знаешь, дядя Корнил.

Время шло.

Струйка крови запеклась на лбу у лежащего мужика.

Он был страшный, грязный, худой, какой-то вонючий: скорее всего, не вставал уже много дней.

В шкафу без дверок лежали пустые бутылки.
Видимо, этот Корнил уже многим людям сегодня нагадал, что делать.

И ждал, пока ему нальют еще.

Та женщина же говорила, что без бутылки он говорить не будет.

Надя налила еще стакан.

Держа его в руках, она сказала:

— Ты спросил, чего я хочу. Я хочу счастья для своего сына. Больше ничего.

Тут она помолчала, представляя себе, что сейчас этот дурной дядя Корнил нагадает счастья ее сыну, а для Вовы счастье заключалось в пьянках, гулянках, веселой жизни, мотоциклах.

— Но чтобы он учился, вернулся в школу и учился.

Здесь она опять остановилась, подумав о том, что ему нужно учиться теперь еще два года в школе, и все это время ей придется опять гнуть спину на трех работах, кормить его, а сил уже нет.

— Пусть он мне помогает, — сказала Надя, — тоже и работает, зарабатывает, учится трудиться.

Но потом она подумала, что ведь его скоро заберут в армию, а оттуда он вернется в цинковом гробу, как обещал.

— Пусть учится в институте потом, а в армию ему не надо, — твердо решила Надя.

Однако перспектива еще семь лет мучиться и не спать перед каждым экзаменом ее озаботила всерьез: она знала, каково это, она сходила с ума, если ее Вова приходил не вовремя домой, плакала, кричала после любого вызова в школу, после двоек, забытых учебников, драк и замечаний в дневнике.

— Так, — сказала она наконец дяде Корнилу, — пусть он хорошо учится и работает, меня слушается, вовремя приходит и... никаких пьянок и гулянок, товарищей этих... особенно подруг... доведут до тюрьмы и все! Утром раненько встал, ушел, пришел, все сделал, мне помог...

Тут бедная Надя вдруг подумала, что лучше всего, если бы сыночек был жив, здоров, учился, зарабатывал, но его бы никогда не было дома.

Когда он дома, это гром, музыка, все раскидано, телефонные разговоры до ночи, ест стоя, как конь, кричит, обвиняет мать в жадности, требует денег со слезами...

Она вспомнила, сколько ей пришлось вынести от родного единственного сына, и заговорила с горечью:

— Вот ты говоришь грешница, а где мне грешить? Когда? Я для себя не живу, только для него... Все только ему... Думаю, что ему купить. Как одеть. Что подешевле. Экономила-экономила, теперь вообще деньги он все украл... Да, чтобы он больше никогда не крал, дядя Корнил... У нас никто никогда в семье не крал... И чтобы не пил. Здоровье у него плохое, аллергия, хронический бронхит. Пусть поступит в институт. Окончит — тогда пусть женится на хорошей-то девочке. И уходит к ней. Бог с ними. То он один, а то двое на мне начнут ездить... И еще и с ребенком... А у меня сил уже нет. Мне психиатр советовал полечиться самой. А я им помогу. Мне-то, мне-то когда свою жизнь изживать... А я только о нем, буквально только о нем плачу день и ночь... Какая же я тебе грешница...

Она присела на колени со стаканом в руке, слезы у нее текли по щекам так обильно, что она не замечала ничего вокруг.

— Сотвори чудо, дядя Корнил, — сказала она. — Я тебе не грешница, на мне нет греха. Помоги. Сделай что-нибудь, не знаю что. Я уже запуталась.

Дядя Корнил лежал неподвижно и почти не дышал.

Надя стала бережно подносить полный стакан к его полураскрытому рту, примеряясь, как бы ловчей влить водку, не потеряв ни капли.

Надо приподнять ему голову, тогда все получится.

Все вышло, как хотелось — одной рукой она поддерживала затылок дяди Корнила, а другой осторожно приближала краешек стакана к тонким высохшим губам.

При этом она горячо плакала об исполнении своих просьб, непонятно каких.

— Сейчас выпьем... — бормотала она заботливо. — И все будет хорошо.

В этот момент его глаза открылись, как у мертвого, — Надя хорошо помнила этот немигающий взгляд, обращенный куда-то в угол потолка, где как будто бы находилось что-то очень важное.

Надя поняла, что ее надежды не сбываются, что сейчас-сейчас дядя Корнил умрет, ничего не сделав.

Последняя ее надежда была в водке.

Если успеть влить в него эту водку, он, возможно, и оживет на какое-то время — а там пусть умирает, он же сам сказал, что еще один стакан и конец.

Но этот стакан-то, он еще не влит!

Как же так, дядя Корнил ведь обещал!

Другим он все сделал, а ей ничего: вон сколько пустых бутылок в шкафу от предыдущих.

В это время мужики заговорили в несколько голосов:

— О, вон Андревна колесит, вон она... Андревне откройте, Андревне. Дядя Корнил, твоя мать вон прется. О, как чувствует, что бутылка есть...

В окне мелькнул женский профиль.

Надя растерянно замерла со стаканом в руке.

Надо было побыстрей заканчивать с этим делом, пока мать дяди Корнила не застала ее.

Вот всегда так, подумала Надя, другим все удается, только не мне.

На ее руке лежала тяжелая голова умирающего, который упорно смотрел под потолок.

— Дядя Корнил, — позвала Надя, — дядечка Корнил, выпей вот!

Рот его был широко открыт, челюсть бессильно отвисла.

В дверь уже стучали, кто-то пошел открывать.

«Только бы не пролить, — лихорадочно думала Надя, — а то все пойдет к черту».

Почему-то она думала, что если не уронит ни капли, все ее пожелания сбудутся.

Кончится эта пожизненная каторга.

Она еще выше подняла голову дяди Корнила.

— Ну вот так, и сейчас выпьем, — бормотала Надя, приравливая край полного стакана. — Ам!

Так она поила в детстве своего сыночка молоком.

Это было в деревне, где они жили, когда Вовочка был еще маленький, и муж приезжал на выходные...

Вовочка всегда так бестолково разевал свой ротик с двумя зубами, молоко проливалось.

Тут хлопнула дверь и послышался громкий, пьяный женский голос:

— Че есть выпить, хроники?

«Это его мать, — подумала с ужасом Надя. — Я не успела».

Стакан задрожал у нее в руке.

Сейчас эта мать подойдет и наведет порядок.

— Андревна, собирай на гроб с музыкой, — весело загалдели мужики, — твоего Корнила ща уговаривают на последнюю.

— А на хрена ему гроб, мы его продадим в медицинский институт! — бойко отвечала женщина. — Пропьем его!

Ей ответили одобрительным смехом.

— Ну, Надька, — сказала женщина не подходя, — заваливай его, мальчишку. Никак не зажмурится. Сегодня ему последний стакан.

«Откуда она знает мое имя?» — испуганно подумала Надя.

— Во дьявол, что тянешь, — продолжала женщина. — Прикончи его, он тебя только и ждал. Ему уже надоело тут, все любят, все подносят. Отказаться ему нельзя, будет обида. Он никого не может обидеть, он таковский.

Мужички довольно засмеялись. Надя боялась обернуться. Судя по звукам, женщина села за стол, забулькала жидкость.

— Он только ее ждал, последняя капля в чаше, сказал.

Надя ничего уже не соображала, обе руки у нее тряслись.

— Он тебе все исполнит, не бойся, — кричала мать Корнилу. — Он всем все исполнял, творил чудеса, слепых исцелял, безногих подымал. Умершего одного еврея воскресил, Лазаря Моисеевича. А дети этого Лазаря уже из-за наследства в суд подали! Он воскрес, они претензию предъявили Корнилу: «кто вас просил». Просила его вторая жена, она жила вместе с ним, когда он овдовел, детей его растила. Когда он умер, дети на нее сразу в суд подали, чтобы она выметалась из их квартиры или всем им заплатила, их двое. Эта жена нашла Корнилу, поставила ему две бутылки. Лазарь воскрес, ничего не понял. Потом: слепец пробирался с палочкой на вокзале, Корнил увидел его муки и сказал: «открой глаза и иди», так он снял очки и пошел, но начал ругаться, что теперь никто ему не подаст. Дальше: Корнил поднял безногого, его мать приходила, не может его ворочать, жалко, мужик весь лежа сгнил: Корнил его поднял, так тот как начал снова пить, на двух ногах за матерью стал гоняться как раньше, с ножом по всей квартире. Она к нам прибежала опять с водкой, вали обратно.

Раздался жуткий смех мужиков.

Мать выпила, откашлялась и продолжала:

— Что мечтаешь, то сбудется, Надя, поверь мне! Поднеси и ты ему, сделай свое дело. Он тебя выбрал. Помнишь бабу на почте? Это была я. Он посылал за тобой. Помнишь ту старушку? Он сказал, Надя пойдет на все, не побоится, ей надо с Вовой окончательно решать. Да ты не волнуйся. Тебе тяжело с сыном, а моему сыну тоже тяжело. Напрасно приходил он в этот раз, напрасно, вот и ждет, кто его проводит. Сам он уйти не может, не полагается, кто-нибудь должен помочь.

Надя, не слушая, посмотрела на дядю Корнила, который лежал головой на ее руке, потом кивнула, аккуратно поставила стакан и сказала:

— Да ну, спасибо, мы сами справимся с нашей бедой, сын-то у вас чересчур больной, вы что, поить такого. Вы что, женщина. Прямо не знаю. Ему надо в больницу, вы что. Я же вижу, он умирает, у меня у самой муж умер на руках, я разбираюсь.

И она даже легонько ткнула пальцем в стакан, он покачнулся и упал, водка разлилась, все окуталось дымом.

А Надя обнаружила себя на улице, что она идет домой с совершенно пустой головой, даже слегка покачиваясь.

Но почему-то она шла легкая и счастливая, не плача, не думая о будущем, не переживая ни о чем.

Как будто самое страшное в ее жизни осталось позади.

ЛУНЫ

Я поселилась на четвертом этаже нашего пансионата на берегу моря, которое в это ненастное время грохотало, как вечно идущий мимо поезд. Волны шли и шли, раз пущенные в ход, а у нас завтрак сменялся обедом, болтовня, заменявшая нам реальную жизнь, заполняла все свободные промежутки. У нас у всех была пора отдыха, обслуга подавала, мыла и выносила отбросы бесшумно, все шло хорошо, завелись также интимные отношения, как это всегда бывает в таких условиях, и нескольким семьям, оставленным в городе, грозил распад, а мы, старые люди, пенсионеры, попавшие в пансионат только благодаря свободным в это холодное время года местам, — мы занимались своими болезнями, сидели по утрам в очереди на ингаляции, а вечерами у телевизора, так оно и шло. У нас тоже дело не обходилось без жестоких страстей, без клеветы, без любви и ревности, у нас составились партии, но мы также

жили и жизнью одной молодой пары и их друга. Мы все гадали, кого выберет Айна, одни старушки любили беленького Иманта с голубыми глазками и впалыми щеками, обещавшими к зрелому возрасту обратить лицо Иманта в произведение скульптуры, — другие отдавали предпочтение маленькому черному Эдгару, очень похожему на Чарли Чаплина, чудаку с мелкими чертами лица и прокуренными зубами. Они, Имант и Эдгар, были давнишние друзья, Айна же появилась у них только тут и была просто неизменным элементом отдыха. Высокая, с судорожным смехом и большим опытом личной жизни, Айна ходила с Эдгаром, спала с Имантом, а они оба хотели обратного. Так мы все и жили, пока однажды вечером, выпив обязательный кефир, я в плохом расположении духа не поднялась к себе на четвертый этаж. Я зажгла свет и пошла к окну задернуть занавески, и тут началось. Кто-то заглядывал в окно. Лицо, похожее на хоккейную маску, на череп, на дыню, истыканную ножом, то приближалось, то отдалялось. Я бросилась вон из комнаты в коридор, в коридоре толпились все наши, а среди них я увидела опять-таки те же луноподобные существа. Все наши стояли в полной тишине, не делая ни шагу, оцепенев. Айна, Имант и Эдгар как бы слиплись все трое, но в пространство, образовавшееся между их шеями, протискивалось луноподобное существо. Имант и Эдгар крепко держали Айну или держались за нее и оттого, видимо, с таким упорством протискивалось со спины Айны к их подбородкам то существо с необязательным выражением лица, словно это была луна, старательно пробивающаяся в ущельях гор. Я стояла отдельно, меня поэтому существа не очень касались, не было, видимо, заманчивого промежутка между мной и кем-то еще, хотя он был, как я убедилась через некоторое время, почувствовав под мышкой как бы трепетанье, и не только под мышкой. Тогда я широко раскинула руки, поставила ноги на ширину плеч, затем пришлось разжать пальцы рук. Всего хуже дело обстояло со ртом, но вскоре, когда я разинула рот, они убедились, что ни туда, ни в ноздри, ни в уши им хода нет, несмотря на их большую обтекаемость. Их интересовало больше всего то, что имело обратный выход в видимой перспективе. Поэтому они протискивались с какой-то озабоченностью между нашими тремя влюбленными.

Человек очень быстро ко всему привыкает, ему важно только изучить правила поведения в каждом отдельном случае, вывести законы. Так что вскоре все мы стали кричать Айне, Иманту

и Эдгару, чтобы они немедленно расцепились, и наша неразлучная влюбленная команда расстроила свои ряды. Хуже всего пришлось Айне, она хотела сохранить обоих мальчиков и все прижимала их к себе, пока собственные беды не отвлекли ее внимания и она не начала судорожно прыгать на месте в своей длинной юбке, а потом ей все же пришлось сбросить эту юбку и широко расставить ноги, чтобы очередная невозмутимая личность протиснулась у нее между колен. Все боялись вернуться в свои комнаты, все приспособились, речь уже не шла ни об удобствах, ни о сохранении приличий. Айна, как наименее устойчивый персонаж, упала в обморок, и тут же, лежа на полу, начала бугриться, колыхаться, потому что под нее подползли в надежде выбраться с другой стороны наши новые знакомцы, наши поковерканные луны, дыни и черт знает еще что. Общая судьба явственно предстала перед нами, нам приходилось теперь спать на живом, под нами должно было ползать, перемещаться, нырять, ни одна постель, ни одно кресло не гарантировало отдыха, ну и что, человек ко всему приспособливается, и вскоре жизнь вернулась в свое русло. Появились подпорки для рук, особые позы (руки в бок), рты были постоянно разинуты, чтобы пришельцы не заткнули нам глотку в поисках выхода, которого в обозримом пространстве не было, в чем их и надо было убедить. Имант и Эдгар покинули Айну и разошлись друг с другом, Айна бродила как живое распятие, как воплощенное горе, как ярко выраженное одиночество. Имант со своей беленькой бородкой смотрел издали с большим напряжением, что могло выражать и то и это, но выражало, на наш взгляд, опасение за свою жизнь и за все то, что он еще собирался сделать, хотя в свете последних событий он не мог думать, что все останется по-прежнему, и его планы в том числе. Эдгар ходил как бы помахивая крыльями, он же изобрел ту походку, которой немедленно воспользовались все: носками внутрь, напружинив икры наружу. Таким образом, создавался широкий фронт для прохождения пришельцев и одновременно не терялось человеческое достоинство, потому что существуют же косолапые люди, и они ходят на кривых ногах как ни в чем не бывало, они не виноваты.

Одна только Айна сидела взаперти у себя в номере, и именно к ней сквозь все щели тянулись наши пришельцы (у всех двери были широко раскрыты, и поток пришельцев наблюдался только односторонний — через щели в окнах к раскрытым дверям. Было установлено, что из широкого в узкое они

ходят хуже и неохотней: это было похоже на некий закон, были предположительно найдены и истоки появления существ, что это мутации то ли микробов, то ли еще чего-то, гиганты с призрачной структурой и намеком на хвостик. (Хвостик особенно неприятно извивался при прохождении под лежащим телом, ибо мы ведь спали, не обращая ни на что внимания, только отмечая извивы хвостиков.) Одна лишь Айна сидела у себя запершись, и к ней лезло неисчислимое количество прищельцев с улицы и от нас. Было вдруг замечено, что чем дольше заперто у Айны, тем больше устремляется к ней существ и тем меньше их у нас. Они, видимо, не размножались беспредельно, число их было конечно, так что в итоге все уравнилось, у каждого в номере жило по два-три постельных существа, но зато у Айны ими, видимо, кишмя кишело. Как она могла так жить, непонятно, их у нее развелось как тараканов, она и выскакивала в столовую вся измордованная и жаловалась, что не спит, что нет сил жить. Она ведь ходила по-прежнему грациозно, на прямых ногах, разве что надела брюки, и словно черви мелькали у нее под мышками и в промежности хвосты прищельцев, снующих взад-вперед, и все от нее отвернулись.

И когда однажды она, вдруг сообразив что к чему, широко распахнула свою дверь, кто-то просто, проходя мимо, вынул из ее дверей ключ и запер ее снаружи, чтобы прищельцы опять не сунулись к нам. Айна билась об дверь, колотилась, потом выбила себе окна, запертые по причине холодов, потом все замерло, и мы заснули, сотрясаясь во сне от лазающих в постели прищельцев.

А Айна осталась жива, хотя никто ее не отпер. Она спрыгнула с четвертого этажа на глазах у всех, когда все гуляли по пляжу врастопырку. Она постояла в своем разбитом окне, а потом прыгнула, а вся ее кривомордая команда дружно всколыхнулась и понесла ее — они же летали, как мы могли забыть. Айна летела над нами, как торпеда, а эти бледнолицые сопровождали ее почетным эскортом, поддерживали ее в полете, и это было красиво, во-первых, а во-вторых, это ведь было решение вопроса: можно было бы спать на весу, они поддержали бы, у них не было другого выхода. Для этого достаточно было упасть с кровати, чтобы тебя подхватили: это открытие сделал белокурый Имант, его как-то застали в раскрытую дверь за таким вот лежанием, и вскоре все мы так спали, на весу. А наша прекрасная Айна улетела, мы ей за-

видовали, потому что ни у кого из нас не было достаточно сопровождающих лиц, чтобы улететь отсюда вон, она увела всех своих, а транспорт на Земле больше не ходит. Иногда мы видим перелетных птичек, таких же, как Айна, они несутся над нашими головами, а мы разводим в огородах картофель, потому что остались здесь пожизненно. Ну и что, прекрасная судьба. Правда, уже началась борьба за овладение лишними существами, остающимися после мертвых (от живых они не уходят), и все большее число захватывают себе Имант и Эдгар, так что скоро и они полетят, и единственно что — им так скоро и так высоко не улететь, как удалось Айне, лун у них мало, а цена слишком высокая, человеческая жизнь, мы не так легко расстаемся с жизнью...

■
ПЕСНИ
ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН
■



СЛУЧАЙ В СОКОЛЬНИКАХ

В начале войны в Москве жила одна женщина. Муж ее был летчик, и она его не очень любила, но жили они не плохо. Когда началась война, мужа оставили служить под Москвой, и эта Лида ездила к нему на аэродром. Однажды она приехала, и ей сказали, что вчера самолет мужа сбили недалеко от аэродрома и завтра будут похороны.

Лида была на похоронах, видела три закрытых гроба, а потом вернулась к себе в московскую комнату, и тут ее ждала повестка на рытье противотанковых рвов. Вернулась домой она уже в начале осени и стала замечать иногда, что за ней ходит один молодой человек очень странной наружности — худой, бледный, изможденный. Она встречала его на улице, в магазине, где отоваривалась по карточкам, по пути на службу. Однажды вечером в квартире раздался звонок, и Лида открыла. За дверью стоял тот человек, он сказал: «Лида, неужели ты меня не

узнаешь? Я же твой муж». Оказалось, что его вовсе не похоронили, похоронили землю, а его воздушной волной бросило на деревья, и он решил больше не возвращаться на фронт. Как он жил эти два с лишним месяца, Лида не стала расспрашивать, он ей сказал, что все с себя оставил в лесу и добыл гражданскую одежду в брошенном доме.

Так они стали жить. Лида очень боялась, чтобы не узнали соседи, но все сходило с рук, почти все в те месяцы эвакуировались из Москвы. Однажды Лидин муж сказал, что приближается зима, надо съездить закопать то обмундирование, которое он оставил в кустах, а то кто-нибудь найдет.

Лида взяла у дворничихи короткий заступ, и они поехали. Ехать надо было на трамвае в район Сокольников, потом долго идти лесом, по какому-то ручью. Их никто не остановил, и наконец к вечеру они добрались до широкой поляны, на краю которой оказалась большая воронка. Уже темнело. Муж сказал Лиде, что у него нет сил, а нужно закопать эту воронку, потому что вспомнил, что бросил обмундирование в воронку. Лида заглянула туда и действительно увидела внизу что-то вроде летчицкого комбинезона. Она начала бросать сверху землю, и муж ее очень торопил, потому что становилось совсем темно. Она закапывала воронку три часа, а потом увидела, что мужа нет. Лида испугалась, стала искать, бегать, чуть не упала в воронку и тут увидела, что на дне воронки шевелится комбинезон. Лида бросилась бежать. В лесу было совсем темно, однако Лида все-таки вышла на рассвете к трамваю, поехала домой и легла спать.

И во сне ей явился муж и сказал: «Спасибо тебе, что ты меня похоронила».

РУКА

Одному полковнику во время войны жена прислала письмо, что очень тоскует и просит его приехать, потому что боится, что умрет, не повидав его. Полковник стал хлопотать об отпуске, как раз перед этим он получил орден, и его отпустили на три дня. Он прилетел на самолете, но за час до его прилета жена умерла: Он поплакал, похоронил жену и поехал на поезде назад, как вдруг обнаружил, что потерял партийный билет. Он обшарил все вещи, вернулся на тот вокзал, откуда уехал, все с большими трудностями, но ничего не нашел и наконец возвратился домой. Там он заснул, и ночью ему явилась жена, которая сказала, что партбилет лежит у нее в гробу с левой стороны, он выпал, когда полковник целовал жену. Жена также сказала полковнику, чтобы он не поднимал с ее лица покрывала.

Полковник так и сделал, как говорила ему жена: откопал гроб, открыл его, нашел у плеча жены свой партбилет, но не

удержался и поднял с лица жены платок. Жена лежала как живая, только на левой щеке у нее был червячок. Полковник смахнул червячка рукой, закрыл лицо жены покрывалом, и гроб снова закопали.

Теперь уже времени у него было совсем мало, и он поехал на аэродром. Нужного самолета не оказалось, но вдруг его отозвал в сторону какой-то летчик в обгоревшем комбинезоне и сказал, что летит как раз в те края, куда нужно полковнику, и подбросит его. Полковник удивился, откуда летчик знает, куда ему нужно, и вдруг увидел, что это тот самый летчик, который вез его домой.

— Что с вами? — спросил полковник.

— Да я маленько разбился, — ответил летчик. — Как раз на обратной дороге. Но ничего. Я вас подброшу, я знаю, куда вам надо, мне это по пути.

Они летели ночью, полковник сидел на железной лавке, идущей вдоль самолета, и удивлялся, как это самолет вообще летит. Внутри самолет был сильно покорежен, везде висели ключья, под ногами катался какой-то обгорелый чурбан, сильно пахло горелым мясом. Они прилетели очень быстро, полковник еще переспросил, туда ли они прилетели, а летчик сказал, что точно туда. «Что это у вас самолет в каком виде?» — сделал замечание полковник, а летчик ответил, что всегда убирал штурман, а он только что сгорел. И он стал вытаскивать из самолета обгорелый чурбан со словами «вот мой штурман».

Самолет стоял на поляне, а вокруг бродили раненые. Со всех сторон был лес, вдали горел костер, среди разбитых машин и пушек лежали и сидели люди, кто стоял, а кто ходил среди других.

— Ты куда меня привез, сволочь? — закричал полковник. — Разве это мой аэродром?

— Это теперь ваша часть, — ответил летчик. — Откуда я вас взял, туда и доставил.

Полковник понял, что его полк находится в окружении, разбит наголову, и проклял все на свете, в том числе и своего летчика, который все возился с чурбаном, которого он называл штурманом и упрашивал встать и пойти.

— Ну что же, начнем эвакуацию, — сказал полковник, — сначала штабные бумаги, полковое знамя и особо тяжелораненых.

— Самолет больше никуда не полетит, — заметил летчик.

Полковник выхватил пистолет и сказал, что расстреляет на месте летчика за невыполнение приказа. Но летчик насвистывал и все ставил чурбан то одной, то другой стороной на землю со словами «ну давай, пойдём».

Полковник выстрелил, но, как видно, не попал, потому что летчик все продолжал бормотать свое «пошли, пошли», а тем временем раздался гул машин, и на поляну выехала колонна немецких грузовиков с солдатами.

Полковник спрятался в траву за какой-то холмик, машины шли и шли, но никаких ни выстрелов, ни команд, ни остановки моторов не последовало. Через десять минут машины прошли, полковник поднял голову — летчик все так же возился с обгорелым чурбаном, вдали у костра сидели, лежали и прохаживались люди. Полковник встал и пошел к костру. Он никого не узнавал вокруг, это был совсем не его полк, здесь находилась и пехота, и артиллеристы, и Бог знает еще кто, все в порванном обмундировании, с открытыми ранениями рук, ног, живота, только лица у всех были чистые. Люди негромко переговаривались. У самого костра сидела спиной к полковнику женщина в темном гражданском костюме и в платке на голове.

— Кто здесь старший по званию, доложите обстановку, — сказал полковник.

Никто не пошевелился, никто не обратил внимания на то, что полковник начал стрелять, зато когда летчик прикатил к костру горелый чурбан, все помогли взвалить этого «штурмана», как его называл летчик, на костер и тем самым сбили пламя. Стало совсем темно.

Полковник весь дрожал от холода и стал ругаться, что теперь совсем не согреешься, от такого чурбана огонь не разгорится.

И тут женщина, не поворачиваясь, сказала:

— Зачем же ты посмотрел на меня, зачем поднял покрывало, теперь у тебя отсохнет рука.

Это был голос жены.

Полковник потерял сознание, а когда очнулся, то увидел, что находится в госпитале. Ему рассказали, что нашли его на кладбище, у могилы жены, и что рука, на которой он лежал, сильно повреждена и теперь, возможно, отсохнет.

МАТЕРИНСКИЙ ПРИВЕТ

Один молодой человек Олег остался без отца и матери, когда умерла мать. У него осталась только сестра, а отец хотя и был жив, но, как потом выяснилось, был Олегу не отцом. Отцом же был какой-то неизвестный человек, с которым мать встречалась, уже будучи замужем. Об этом Олегу стало известно, когда он начал перебирать бумаги умершей матери, надеясь узнать о ней побольше. Тут и был им найден документ, а именно письмо, в котором неизвестный человек писал, что у него семья и он не вправе бросать двоих детей ради одного будущего неизвестно чьего ребенка. В письме была дата. Стало быть, мать хотела незадолго до родов бросить своего мужа и выйти за другого человека, и значит, действительно все обстояло так, как намекнула однажды старшая сестра Олега в беседе с ним, намекнула мстительно и зло. Молодой человек, обнаружив это письмо, стал автоматически перебирать бумаги и нашел черный пакет

с фотографиями, на которых его мать была изображена на разных стадиях раздевания, в том числе и голой. Все это было снято как театр, мать даже в голом виде держала над собой длинный шарф, и все это было большим ударом для молодого человека. Он слышал от родственников, что мать в молодости славилась своей красотой, но на фотографиях это была уже женщина лет тридцати пяти, стройная, но не особенно красивая, просто хорошо сохранившаяся.

После этого удара молодой человек — а ему было шестнадцать лет — бросил школу, бросил все и два года вплоть до армии ничего не делал, никого не слушал, ел что было в доме в холодильнике, уходил, когда отец и сестра возвращались домой, приходил, когда они спали. Он дошел до полного истощения, и отец своей властью добился, что его должна была осматривать врачебно-трудовая экспертная комиссия, чтобы дать ему пенсию по шизофрении, но в последний момент, перед самой комиссией, отец скончался ночью у себя в постели, и все расстроилось. Сестра быстро разменяла квартиру, оставив Олега одного в его комнате, и он вскоре пошел в армию.

Там у него случилось событие: его вместе с другими солдатами поставили на горной тропе, на перевале, через который должен был идти из колонии сбежавший заключенный. Этот заключенный гулял на свободе уже около месяца, успел убить на своем пути пятерых, среди которых была и девушка, и приближался к единственному горному перевалу, через который шел путь на Большую землю, то есть в европейскую часть. По всем сведениям, эск должен был показаться не скоро, но засаду засадили на тропе заранее, за три дня, мало ли каким транспортом мог воспользоваться беглец. Засада состояла из Олега, сержанта и еще троих солдат, они сидели за большим камнем, положив на него автоматы. Они поочередно сменялись, и как раз в дежурство Олега на тропе показался мужик, фотографию которого им заранее показали. И Олег не выдержал и расстрелял его, а потом оказалось, что это был другой человек, вольнопоселенец, уже отсидевший срок и пробиравшийся, тоже, правда, нелегально, домой в Россию. Настоящий же преступник был схвачен на соседнем перевале. С Олегом поступили хорошо, его признали временно невменяемым, положили в больницу, а потом вообще уволили из армии как не годного к прохождению военной службы, и он еще дешево отделался, потому что жена вольнопоселенца, говорят, все разыскивала того ненормального солдата, который убил ее мужа, только-только нарушившего на

несколько шагов границу своего поселения — по перевалу проходила административная граница области.

Олег возвратился домой. Он был уже почти совершенно лысый, зубы у него выпадали один за другим, есть было нечего, делать было нечего, кроме как идти работать безо всякого образования. Однако старшая сестра вдруг появилась в его жизни, взяла все дела в свои руки, устроила Олега в техникум, убрала в комнате, привозила продукты и деньги, хотя была ему не полностью родная сестра и никогда раньше его не любила. Однажды вечером, когда она собралась уходить, она как бы между прочим сказала:

— Ты мне не верь, что я тебе тогда наговорила насчет матери, это ее наш отец подозревал, он был тяжелым человеком и мог свести с ума кого угодно.

И она ушла.

После ухода сестры Олег открыл чемодан, стал рыться в бумагах, в которых лежало письмо, но нашел только конверт, в котором оказалась фотография материнских похорон. В том самом черном пакете, где Олег ожидал увидеть фотографии раздевающейся матери, лежала только черная бумажка, очень старая и ветхая, и когда Олег стал ее вытаскивать, она тут же рассыпалась в прах.

Олег стал просматривать бумаги и везде читал письма матери к отцу, в которых говорилось о любви, о верности, об Олеге и как он похож на отца. Олег проплакал весь вечер, слезы лились у него из глаз произвольно, а на следующее утро он стал ждать сестру, чтобы рассказать ей, как он сошел с ума в шестнадцать лет и видел то, чего не было, и из-за этого даже убил человека, совершенно не похожего на ту фотографию, по которой его надо было опознать.

Но он так и не дождался сестру, она, видимо, забыла о нем, да и он вскоре забыл о ней, занятый своей жизнью. Он окончил техникум, потом институт, женился, обзавелся детьми.

Причем он был черноглазым и жена его была черноглазая брюнетка, а оба сына получились белокурые и с голубыми глазами — точь-в-точь умершая мать, их бабушка.

Однажды жена вдруг предложила съездить на могилу к его матери. Они нашли могилу с трудом, на старом кладбище надгробия стояли в страшной тесноте, и на материнской могиле вдруг оказалось второе надгробие, поменьше.

— Наверное, отец, — сказал Олег, который отца не хоронил.

— Нет, прочти, это твоя родная сестра, — ответила жена.

Олег ужаснулся, что так мог забыть о своей сестре; он нагнулся к плите и прочел надпись. Это действительно была сестра.

— Только дата смерти что-то перепутана, — сказал он, — сестра приезжала ко мне гораздо позже этой даты смерти, когда я пришел из армии. Я ведь тебе рассказывал, она меня поставила на ноги, она буквально вернула мне жизнь. Я был молодой и по пустякам сходил с ума.

— Так не бывает, они не пугают дат, — ответила жена. — Это ты перепутал. Ты в каком году пришел из армии?

И они заспорили, стоя у края могилы, заброшенной и заросшей, и сорная трава, сильно поднявшаяся за лето, касалась их колен, пока они не ушли.

НОВЫЙ РАЙОН

Дело было в Москве, в новом районе. У одного инженера, сотрудника министерства, были очень плохие отношения с женой. У них была двухкомнатная квартира со всей обстановкой, ковры, сервизы, цветной телевизор, и все это при разводе жена требовала себе. Муж был не из Москвы, а откуда-то из-под Тулы, пришел к жене в дом буквально, что называется, с голым задом, со студенческой скамьи. Они вместе учились, сошлись, у них должен был родиться ребенок, и его заставили жениться, вплоть до исключения из института. У него же была девушка курсом старше, они собирались пожениться и уехать подальше, но дело сложилось так, что этой девушке в случае его отказа жениться на беременной однокурснице не давали на руки диплома, поскольку отец беременной побывал во всех инстанциях. Стало быть, его заставили жениться, причем не просто так, а как следует, не просто пришли расписались посидели

у родителей и разошлись, а как следует. То есть он был вынужден ради диплома своей любимой девушки (и она этому не противилась, хотя лила горькие слезы и хотела выскочить в окно, когда он попрощался перед уходом из общежития в загс и за ним приехал отец беременной однокурсницы на машине, на собственной «Волге»), — он, стало быть, был вынужден пойти жить в тот ненавистный дом и как бы состоять под надзором все время, пока учился в институте, то есть два года. А за это время его любимая девушка уехала, ее распределили куда-то в город Грозный, где она вышла замуж за дагестанца, крупного работника, и родила девочку, а у девочки оказались какие-то приступы чуть ли не эпилепсии, она регулярно синела и задыхалась, так что врачи не рекомендовали матери бросать кормить грудью, и она кормила ребенка чуть ли не до шестилетнего возраста — покормит девочку кашей, а та показывает: а теперь вот этого. Все это Василий узнал, когда однажды, уже после окончания института, встретил в пивбаре товарища, он работал как раз в химпромышленности и ездил на родственное предприятие в Грозный, а заодно и повидался там с бывшей своей однокурсницей, все выяснил, что у ее дочери, оказывается, припадки были от скрытого аппендицита, вырезали, наконец, аппендицит и общие мучения кончились. Василий к тому времени уже забыл свою прежнюю любовь, а про детей и вообще слышать не хотел, потому что после его женитьбы жена выкинула шестимесячный плод, лежала в больнице, и ребеночек, после месяца жизни в инкубаторе, подумавшись, что в нем было, двести пятьдесят граммов, пачка творога, — он умер, его даже не отдали похоронить, у него и имени не было, его оставили в институте, там истопница их сжигала в печке. Она как-то скандалила в канцелярии, жена Василия слышала, когда приходила в институт закрывать бюллетень. Целый месяц были эти мытарства, у жены открылось молоко, она четыре раза в день ездила в институт сдаиваться, а ее молоком не обязательно кормили именно их пачку творога, были и другие, блатные дети, которые выжили, один был даже выживший пяти с половиной месяцев. Жена не могла проконтролировать всего, ее вообще не пускали к инкубатору, даже не дали взглянуть на малыша, даже когда он умер, она стонала после этого дни и ночи. Тесть тоже прилагал все усилия, чтобы посмотреть, они делали подарки медсестрам, но трупику им не выдали. Не знал тогда тесть, кого надо было подкупать, истопницу-пропитушку, она была бы рада за пол-литра и самой не делать грязное дело, за которое ей даже

не доплачивали, — почему она в пьяном виде и скандалила, орала в канцелярии института. В общем, Василий жил в этой семье чужой и одинокий, жена страшно раздражала его слезами, но и себя ему тоже было жалко, ребеночек был бы ему очень кстати, хоть одна была бы родная душа в этом мире. Но он был такого характера, что до поры до времени затаился. Жена его просто из кожи вон лезла, чтобы занять опять ребенка, но Василий очень берегся, берег свою сперму как зеницу ока, делал все, чтобы жена не могла забеременеть.

Родители жены тут же после свадьбы стали строить кооператив для дочери и построили его на ее имя. В случае чего Василий не мог бы ни копейки забрать у нее, это был официально заверенный у нотариуса долг жены ее родителям, и как общее нажитое имущество квартиры считаться не могла. Везде подстелили соломки родители жены, одного только не учли, что они не вечно будут скручивать пружину, однажды она развернется с тем большей силой.

Наконец жена Василия все-таки забеременела, очень уж она хотела ребеночка, загладить память о пачке творога, а в таких случаях как с неба каплет, хоть оберегайся, хоть нет, подпойт, снотворного подсыплет, с чужим мужиком трахнет, а своего добьется. Да и не всегда муж за себя отвечает. Короче, родилась у них дочка (а тот, первый, был сын), назвали ее Аленушка, Аленушка-солнышко, росла на глазах у отца, чернявенькая, вся в него, потому что мать, Тамара, была как белая моль. Василий любил дочку, даже в ночь убийства, на Новый год, когда он уже почти убил жену, а тут как раз дочка заплакала — он подошел к дочке, убаюкал ее, а потом вернулся к жене в ванную и домолотил ее окончательно, раздробил все кости лица и отрезал пальцы, чтобы не опознали. У него уже был, кстати, приготовлен большой двухметровый пластиковый мешок, в каких хранят шубы, но как он справился с кровью, никому не ведомо. То ли он вымыл Тамару под холодным душем, но как-то он управился, крови не было нигде, он завернул ее сначала в клеенку, так он рассказывал потом, уложил в мешок, мешок сбросил с балкона в снег (была вьюжная ночь) и так, чтобы пронесло мимо окон, а дом их выходил на стройку, где из-за праздника в ту ночь никто не работал. Василий положил в пальто пальцы Тамары, как-то так он умудрился их отделить без стука, видимо, просто отрезал. Еще он взял с собой саночки дочери, аккуратно спустился, уложил труп на саночки и отвез на стройку, где и по-

ложил куда-то под плиту, а пальцы положил в трубу, а сам стал ждать весны, откроется дело или нет.

Он заявил в милицию о пропаже жены, ему, конечно, не поверили, тесть с тещей подробно рассказали, как он вел себя вообще, а на работе рассказали, что он жил с одной страшно подлой бабой, которая держала его на крючке и требовала от него денег, но замуж за него, разведенного, идти не хотела, поскольку он к своим тридцати двум годам снова бы оказался с голым задом, уйдя от жены. Даже машина, которую ему устроил тесть, была по договоренности записана опять-таки на долги жены перед родителями, они опутали его со всех сторон, ему в этом мире ничего не принадлежало.

Но теперь-то, после смерти жены, он по крайней мере четыре месяца, до апреля, мог жить спокойно, до таяния снегов, да могло и так оказаться, что труп давно уже был забетонирован на стройке. Он как-то вскоре после убийства наведлся на стройплощадку, но своей захоронки найти не мог, все было завалено грудами материалов, все следы занесены снегом.

Родители жены забрали к себе дочку, а с ним самим регулярно беседовала женщина-следователь. Он все время повторял, что жили плохо, поссорились с женой на Новый год, она оделась и ушла к родителям, а дочку будить он ей не дал.

Наконец оттаял снег, но ничего не произошло, так как труп жены действительно не обнаружился. Но как-то однажды, в начале мая, Василий сам пришел с повинной к следовательнице и показал, что убил жену сам. Следовательница потребовала, чтобы он доказал свою виновность, тогда он повел ее и всю команду к строительной площадке, где уже возвышался почти построенный дом. Трупа не обнаружили, доказательств не оказалось, в ту людную новогоднюю ночь вообще никто не видел ни трупа, ни санок, ничего, и Василия отпустили. Правда, стали поговаривать, что все же совесть не дала ему спокойно спать, потому что он не выдержал и признался, да и ту подлую бабу из своего министерства совсем забросил, то есть, короче говоря, переменялся.

Но он-то, Василий, позвонил тестю с тещей и сказал, что из крана торчит палец с маникюром. Тесть возразил ему, что если он так говорит, что он положил пальцы отдельно в трубу и это оказалась водопроводная труба, то за тот месяц, пока течет вода в новом доме, палец должен был просто разложиться, распухнуть, а тем более он не мог пройти через водозаборный насос, и вообще что общего имеет соседняя водопроводная система

с уже давно построенным домом? Так он говорил ему и успокаивал, а Василий совсем ополоумел. Конечно, приехав, родители жены ничего не нашли. Василий сказал, что боялся заходить в ванную, что, наверное, палец ушел в слив.

И в доказательство он предъявил им чешуйку красного лака, найденную им на полу, но эта чешуйка опять-таки никого не устроила, мало ли, была тут какая-то баба с маникюром, так что Василий все еще живет, как отщепенец, и все видит в разных местах разбросанные волосы, и все их собирает для вещественных доказательств.

ТЕНЬ ЖИЗНИ

Сейчас это вполне взрослая, высокая замужняя женщина, а была сирота при бабушке, бабушка взяла ее к себе, когда мать исчезла, бывают такие случаи: человек исчезает. Отец исчез еще раньше, когда девочке было пять лет, на похороны ее не взяли, она думала: пропал, и очень боялась за мать, буквально цеплялась за нее, если мать вечером уходила; не плакала — не была вправе плакать, мать ее не баловала; тихая, скромная росла и дождалась, что мать действительно исчезла, и в свои девять лет девочка переночевала одна, накрывшись маминым халатом, утром умылась и как была, в том же платье, пошла в школу. Соседи заметили неладное через два дня, девочка перестала ходить в школу, из комнаты раздавались странные звуки, как будто кто-то смеется, а на кухне ничего не варилось, никто не выходил, в том числе и мать этой маленькой Жени. Соседка добилась от девочки признания в том, что она не ела ничего два

дня и что матери нет. Все забегали, отбили бабушке телеграмму, и бабушка среди зимы забрала из маленького города на реке Оке свою внучку и отвезла ее к себе в курортный городишко у моря.

Дорога была знакомая, Женя ездила к бабушке на все каникулы, но тут никаких каникул не предвиделось, а было долгое ожидание. От матери не нашли ничего, ни следа. Мать, говорила бабушка, всю жизнь боролась за правду и никогда не воровала, а кругом все воровали, она работала в детском саду. Мать, считала бабушка, поехала куда-то в Москву добиваться правды (перед исчезновением ее уволили), ее, наверно, держат в доме сумасшедших; так бывает, считала бабушка.

Женя выросла тихой, симпатичной девушкой, поступила даже в пединститут в другом городе, усиленно занималась и прославилась в своем общежитии тем, что каждую бабушкину посылку с овощами, салом и сухофруктами ставила на стол и всех кормила, а потом наступали голодные деньки, но сразу для всех. Женя как росла при матери и бабушке без претензий, так и сейчас жила в своем общежитии.

У нее появился молодой человек, строитель и даже бригадир на стройке, который весной возил ее на электричке в лес, читал ей свои самодельные стихи, но был, к сожалению, женат, как оказалось.

Жена его однажды обнаружила Женю, нашла ее в общежитии, увела на улицу и рассказала, что Саша женат, у него двое детей и она сама временно с ним не живет, потому что у него венерическая болезнь, он обязан лечиться, и она сама тоже лечится от него, а где он это подхватил, вот вопрос, сказала эта жена и с ненавистью посмотрела на Женю. Они сидели в скверике. «А тебя, — добавила супруга Саши, — свободно надо убить, как ты распространяешь заразу».

Нищей студентке не с кем было посоветоваться, она боялась идти в поликлинику (все сразу все узнают), но, по счастью, блуждая в районе рынка, она увидела вывеску: «Венерические заболевания». Ее приняла старуха врач, нужны были деньги, без денег врача даже не согласилась ее выслушать. Женя вынула из ушей мамины сережки, единственную память, врач взяла сережки, увела девушку на осмотр и сказала, что надо подождать анализов. Анализы пришли хорошие. Женя, по счастью, не заразилась, либо Сашина супруга наврала. Но Саша больше не появлялся на горизонте, а Женя поняла, что не так все просто у людей и существует тайная, упорно процветающая, животная

сторона жизни, и именно там сосредоточены отвратительные, безобразные вещи, и не убили ли вообще маму, думала взрослая (восемнадцать лет) Женя, ведь мама была еще молодая и могла попасть в эту тень жизни, где погибает так много людей.

Тем более, что тут же летом с Женей случилось несчастье, как раз у бабушки. Тем летом за городом на свалке были найдены два женских трупа, изрезанные, изувеченные, с руками, вывернутыми как выжатые тряпки, без голов. Городишко гудел. Видимо, убили двух каких-то отдыхающих или туристов, потому что свои были все на местах.

Не очень поздно вечером Женя возвращалась от подруги, и недалеко от дома ее с двух сторон схватили. Это были подростки лет по шестнадцать-семнадцать, трое, смуглые, то есть, по-местному, чурки, она их не знала, они не знали ее, за три года отсутствия они-то как раз и выросли. Они заткнули ей рот кляпом и вели, вывернув руки за спиной, точно по тому сценарию. Женя шла согнувшись, толчками, рывками, под лопатку ее кололи ножом. Они переговаривались по-своему, Женя кое-что понимала, они называли себя греками в городишке, но это были не греки. Женя поняла, что они на ходу спорят, кто первый, потому что один укорял другого, что он болен нехорошей болезнью. Они покрикивали в ночной тьме, ругались по-русски, волоча бегущую согнутую Женю, как вдруг все вокруг осветилось. Будто бы включили прожектор. Трое остановились, выпустив на мгновение Женю, и она, завидев освещенную стройку и старика и женщину среди наваленного камня, рванулась изо всех сил к ним, вытащила кляп изо рта и закричала: «Убейте меня! Убейте меня!». Она стояла около старика, протягивала к нему распухшие руки и кричала: «Убейте меня, но не отдавайте им!»

Трое возмущенно заорали, что это шлюха и она им должна, они платили! Они кричали по-русски.

Старик отправил парней вон одним жестом руки, сказал по-ихнему «идите», и трое повернулись как солдаты и канули в ночную тьму, услышав свою речь.

Старик сказал Жене, что проводит ее в дом, женщина осталась на стройке, и Женя только мельком рассмотрела ее склоненную голову и подумала, как она похожа на маму. Женя боялась уходить, но старик пошел, и пришлось идти. Старик привел ее к какому-то дому, Женя ничего не узнавала в ночной тьме, и, войдя в комнатку как чулан, она услышала, что старик запер за ней дверь и удалился. Женя села на пол, потом

нащупала неровную, корявую стену, прислонилась к ней и заснула.

Утром она очнулась в каком-то месте, она сидела спиной к шершавому стволу тополя, вокруг был глухой, заросший пустырь.

Женя побежала, ничего не узнавая вокруг, наконец нашла дорогу домой и легла спать в сарайчике во дворе. Было раннее утро. Бабушке она сказала, что ночевала у подруги, так как боялась идти домой. Также Женя сказала, что постарается сегодня уехать. Бабушка, наверно, все поняла, руки у Жени были огромные и сплошь в синих пятнах, лицо разбухло и угол рта оказался надорван.

Бабушка сказала, что этой ночью она не спала, рылась в старых вещах и нашла в сундучке сережки своей дочки и иконку, еще от бабушки, и хочет отдать это Жене.

Женя надела материны сережки, точно такие, какие недавно сняла, взяла иконку, собрала свои бедные вещички и пошла на вокзал. Она нарочно решила пройти мимо той стройки, чтобы увидеть старика и женщину, похожую на маму, но ничего такого не обнаружила. Не было ни стройки, ни того пустыря, сиял белый день, кругом тянулись дома и сады.

Бабушка, провожавшая ее, ни слова не спросила у нее, почему Женя идет не на вокзал, а в другую сторону, к свалке, а Женя сказала вдруг, что, думает, где-то тут должна быть могила мамы, надо поискать у тополя на пустыре.

Бабушка возразила, что дочь ее исчезла совсем в другом городе, но Женя не слушала, а все искала тополь, и у первого же попавшегося села на землю, прислонилась к стволу и заплакала навзрыд.

Они так просидели некоторое время, плача, а потом Женя в своем зимнем платье с длинными рукавами уехала из городка насовсем и с тех пор больше не ждала свою мать и не разыскивала ее по психбольницам и тюрьмам. Сережек, правда, она не снимала и не снимает.

ЖЕНА

Один человек похоронил жену и остался один с дочкой и старухой матерью. Жена его долго болела, он сам сидел с ней в больнице, сам таскал горшки, кормил и умывал ее. Когда она умерла, он долго не находил себе места, но потом стал забегать на соседнюю улицу в гости к одной женщине, которая как раз собиралась покупать себе машину. Однажды вечером он пошел к ней по какому-то делу — взять или отдать книжку — и увидел прямо посреди улицы сидящую кошку. Мела метель, кошку заносило снегом. Этот человек пробежал мимо, пришел к той женщине, посидел у нее, выпил чаю и отправился домой. На обратном пути он увидел уже вместо кошки холмик снега. Тогда он разгреб снег и взял кошку на руки. Он хотел сунуть ее под пальто, но кошка настолько была в снегу, что все бы у него промокло. И неизвестно еще, больная это была кошка или здоровая, мало ли что можно было подхватить.

Старуха мать его не любила животных, но возражать не стала, они вместе выкупали кошку в помойном ведре и завернули в чистый половик. Кошка была настолько благодарна своему новому хозяину, что ни разу не мяукнула, ни разу не оцарапала его, хотя кошки не выносят купания. Даже когда он только принес кошку домой, она по дороге, еще на улице, уже прижималась к нему и мурлыкала.

Но наутро выяснилось, что кошка больная. Она ночью встала и нагадила под шкафом и под детской кроваткой, налила и навоняла. Мать-старуха потыкала кошку во все лужи и хорошенько шлепнула ее по спине, все-таки кошка была взрослая и должна была понять, что нельзя гадить. Ей специально был поставлен в уборной подносик с газетой, но кошка продолжала гадить везде по семь-восемь раз в день. Кошка все время лежала на старом девочкином пальтишке в прихожей, почти не шевелясь, только вставала гадить. Старуха мать не спала, не ела, все ловила кошку, когда та собиралась идти гадить, и носила ее в уборную на подносик, приучала. Но кошка как будто только родилась, она ничего не понимала, а в уборной пряталась под трубу, на подносик даже не ступала. В конце концов кошка перестала выходить из-под трубы в уборной и стала там жить, а гадила на пол у двери, но никогда на подносик.

Девочка очень полюбила кошку и тоже все время торчала в уборной, гладила кошку, целовала, кормила ее. А старуха мать и ее взрослый сын прямо не знали, что делать с кошкой. На дикую она была не похожа, слишком была слабая и ласковая, дикие коты очень свирепые, а домашняя кошка давно бы поняла, куда надо гадить.

Так они жили, мучились, пока однажды старуха, потерявшая сон и покой, не решила отнести кошку в лечебницу, узнать, что с ней. Старуха посадила кошку в глубокую сумку и понесла. Кошка страшно испугалась и старалась выпрыгнуть, а у старухи глаза были на мокром месте, потому что она думала, что кошку там, в лечебнице, отберут как заразную и усыпят. Но врач посмотрел кошку и сказал, что она не старая, скорее молодая, два с половиной года, и что у кошки больной желудок, гастрит, ей надо давать таблетки и все только вареное и молочное, и все пройдет.

Так они и сделали. Кошка не хотела глотать таблетки, горлышко у нее было очень узкое, она царапалась и очень стала бояться старуху и хозяина, буквально пригибалась к полу, когда они проходили мимо. А девочку она не боялась, бывало, найдет

на полу ее брошенную тапочку, потрется и давай мурлыкать. Девочка говорила, что это ее кошечка и чтобы кошку отдали ей, она все будет делать, убирать и подтирать, но ей не разрешили, какой спрос с ребенка.

• Тем временем старуха совсем перестала спать по ночам — все караулила, когда кошка пойдет гадить, настолько уже устала подтирать и мыть. И однажды ночью старуха решила выпустить кошку на ночь в подъезд на лестницу — кошек ведь выпускают на ночь.

Кошка очень не хотела идти на лестницу, но хозяйка ее выставляла. С тех пор кошка каждую ночь ночевала на лестнице, видимо, там нашла себе в мусорном ведре какое-то нужное вещество, мало ли, может, просто картофельные очистки, и поправилась — а таблетки ей так и не помогли.

Старуха очень обрадовалась, что нашла такой выход из положения, и утром всегда искала кошку на лестнице, звала ее в дом, или хозяин ходил за кошкой — она всегда почему-то сидела на третьем этаже, там, видимо, нашлись добрые люди, там уже стояла кошачья мисочка и бумажка с едой. Теперь кошка не лила зловонные лужи, а ходила очень аккуратно, кучкой, и когда старуха находила на лестнице кучку, то всегда убирала за кошкой.

Так это и установилось. Кошка на ночь сама просилась выйти, и все было бы хорошо. Но однажды хозяин возвращался как-то поздно вечером и прошел мимо Мурки, которая уже сидела на своем новом месте возле добрых людей с третьего этажа, у мисочки. Мурка увидела хозяина и побежала домой за ним в первый и последний раз в жизни. Хозяин услышал, как она мяучит на бегу. Но он ускорил шаги, буквально побежал вверх по лестнице, и Мурка отстала.

Рано утром хозяин пошел искать Мурку, обегал всю лестницу, весь двор, соседние дворы, но Мурки он не нашел больше никогда. То ли ее бросили в мусоропровод, как это делают злые люди, то ли просто выгнали из подъезда и Мурка замерзла где-нибудь во дворе, но следов ее он не нашел. Целый месяц после пропажи Мурки девочка плакала, плакала и старуха мать, да и сам хозяин все не мог найти себе места, потому что знал теперь уже точно, что это приходила его жена.

В МАЛЕНЬКОМ ДОМЕ

Дело было на новый, 1947 год. В маленьком двухэтажном доме за Елоховской церковью жила девушка двадцати пяти лет по имени Вера. Она ничем особенным не отличалась, разве что все время рассказывала соседям по квартире, которые все сменились за время войны, что ее жених Витя погиб. Но со слов других жильцов дома ее новые соседи знали, что это был не жених, а просто тоже сосед по квартире. Витя был ей не жених, он вселился в свою комнату незадолго до войны, потом сразу ушел на фронт и погиб очень быстро, в 1941 году под Москвой. И только после того как Витя погиб, за Верой стали замечать, что она плачет по Вите, говорит о нем как о своем женихе и пытается взять из его комнаты, где теперь поселилась истопница Стеша, то одну, то другую вещь на подержание, то репродуктор, то патефон. Но Стеша не давала, возражала, что вещи не ее и что, может, хозяин вернется. Теперь Витин патефон заводили

по воскресеньям Стешины мужики, приезжавшие на колхозный рынок из деревни, а репродуктор не выключался никогда и молчал только от ночного гимна до утренних сигналов точного времени, то есть от двенадцати часов до утра. Но и ночью, жаловалась Вера, репродуктор работает, или у Стеши завелся мужик, который ночью бормочет и не дает спать. «Скоро чертей гонять будешь», — отвечала ей на это Стеша, которая была страшной матерщинницей.

Как раз на Новый год Стеша собиралась на дежурство и все ходила мимо распахнутой двери Веры, а Вера в это время, на самый Новый год, без музыки, без ничего, под Гимн Советского Союза, доносившийся из Стешиного репродуктора, танцевала со стулом, нежно прижимая его к себе.

— О, чертей увидишь, — заметила на это Стеша и ушла.

Утром, когда в первом часу дня Стеша возвращалась с дежурства, она увидела у своего дома огромную толпу и конную милицию. С трудом Стеша пробилась по лестнице к себе на второй этаж, вошла в свою квартиру и увидела, что дверь в Верину комнату распахнута, Вера со стулом стоит посреди комнаты, а вокруг хлопочет милиция и мужик с пилой. Оказывается, еще ночью соседи заметили, что Вера со стулом превратилась в окаменелый столб, она продержала стул на вытянутых руках всю ночь при свете лампочки, и стул, как ни пытались, не могли у нее взять, и сдвинуть с места ее не смогли. Стеша упала на колени, стала плакать и креститься, ее прогнали, и мужик начал врубаться топором в пол. Но тут же стук затих, и мужик выскочил из комнаты с топором, с которого капала кровь. «Из пола идет кровь», — сказал мужик Стеше, и тут же вся толпа в коридоре, на лестнице и во дворе зашумела и завывала, многие плакали и кричали: «Не трожь ее!»

Короче говоря, милиция вышла из комнаты, захлопнула дверь и закрыла ее на ключ. Стали ждать неизвестно чего, на первый случай «скорую помощь». Толпа увеличивалась. Конная милиция оцепила дом. Когда приехала «скорая помощь» и молодая врачиха с двумя санитарями, несшими свернутые носилки, подошли к дверям Веринной комнаты, милиция не смогла открыть дверь. Стоило вставить ключ в замочную скважину, как из скважины начинала литься горячая кровь. Врачиха с чемоданчиком в руке постояла перед закрытой дверью, но ни на что так и не решилась и уехала. Была вызвана пожарная команда, которая через окно проникла в комнату, но дверь, запертую снаружи, открыть не удалось, и Веру взять тоже не удалось.

К ночи толпа увеличилась, все окна светились, пожарники стояли под лестницей, а Стеша сидела в своей комнате. Пробило двенадцать часов, спели гимн, репродуктор замолчал. Стеша стала разбирать постель и вдруг услышала явственные стоны. Она выбежала в коридор, но там стоял постовой под дверью и ничего не было слышно. Она вернулась в комнату — стоны и бормотание послышались опять. Голос шел из репродуктора. «Стой, не бей ногами в стену», — шептал репродуктор и стонал.

Стеша схватила полушубок, вскочила в валенки и выбежала на улицу. Она увидела, что мальчишки забавляются, пиная ногами дом — им слышались какие-то отзвуки при этом. «Стой, заразы!» — заорала Стеша и побежала к ребятам, но те, испуганные и довольные, помчались от нее вокруг дома, по дороге стуча ладонями по стенам. Кончилось дело тем, что Стеша вернулась к себе, попросила постового вызвать старшину и долго с ним о чем-то говорила. Наутро к дому подъехала «скорая помощь», из парадного вынесли завернутую в простыню Веру и погрузили в машину, а Стеша вскоре тоже вышла, неся завернутую в тряпицу как бы большую тарелку. Она поехала на кладбище и попросила сторожа закопать свою ношу где-нибудь. «Ты что?» — сказал сторож, а Стеша ответила, что это мертвый голос солдата, и дала сторожу триста рублей. Сторож взял деньги, Стешу отправил, а репродуктор вынул из тряпки и хоронить не стал, мало ли свихнувшихся баб, просто бросил в кучу хлама, и снег прикрыл репродуктор.

Вера осталась жива, Стеша отдала ей патефон, а про репродуктор сказала, что он сломался. Он и сломался действительно в тот самый момент, когда пожарники поднесли его к неподвижно стоящей Вере и стул выпал из ее рук.

ФОНАРИК

Однажды молодая девушка возвращалась зимним вечером с электрички к себе в деревню.

Идти было недалеко, но дорога шла через мостик и дальше вверх, по полю.

И вот, поднимаясь на гору, девушка увидела какой-то свет, как будто горел фонарик в руке у прохожего, причем луч упирался прямо ей в глаза.

Она испугалась, было уже поздно и темно, никого вокруг, только этот пучок света, который приближался по тропинке.

Что было делать?

Поворачивать обратно слишком опасно, получается как будто бегство, догонят и убьют, а идти навстречу фонарику тоже страшно, но в этом случае лучше сделать вид, что ничего не происходит.

Девушка быстро переложила свои небольшие деньги из сумочки за пазуху и пошла как ни в чем не бывало навстречу фонарику.

Сердце ее билось от страха, но она не замедляла шаги и не останавливалась, чтобы не показать виду, что боится.

Этот луч фонарика, однако, все светил и светил, но не приближался ни на шаг, и девушка летела на этот свет, как бабочка на огонек лампы.

Она шла так уже довольно долго и вдруг заметила, что идет прямо по полю.

Тропинка куда-то исчезла, только впереди горел огонь фонарика.

Идти по полю было нетяжело, снег давно слежался, хотя поле было бугристое.

Снег давал какое-никакое, а все же освещение, и девушка стала выбирать путь поровней, хотя куда она шла при этом, было неизвестно.

Тут что-то сбоку сильно рвануло и осветило все окрестности, как молнией, только продержалось подольше.

Девушка даже оглянулась в сторону этого взрыва, но ничего уже не было видно.

Потом она посмотрела по сторонам и поняла, что совершенно не понимает, где находится.

Было темно, тихо светил снег и вдали неподвижно стоял кто-то неразличимый со своим фонариком.

И девушка покорно пошла на свет этого фонаря: по крайней мере, можно спросить дорогу.

Хоть она и выросла в этих местах, но всякое случается с человеком.

Ей было ясно, что она заблудилась.

Она шла и шла, свет фонарика вел ее куда-то, и она уже совершенно не понимала, зачем ей двигаться по снежному полю, и где ее дом и сколько прошло времени.

Иногда она падала и с ужасом вскакивала, помня рассказы бабушки Поля о том, как замерзали на снегу усталые люди, которые хотели отдохнуть.

Бабушка Поля умерла не так давно, она растила свою внучку от рождения и все время разговаривала с ней, все время, даже когда та еще не умела говорить.

Девушка еле шла, потому что очень устала, она училась в торговом техникуме, и в этот день у них была практика в магазине, полный день на ногах.

Обычно она не возвращалась так поздно, старалась остаться ночевать у подруги в Москве, но сегодня не получилось, к той понаехали родственники.

Девушка подумала, что отец с матерью, наверно, пошли ее встречать и не встретили, потому что она свернула с тропинки в поле и заблудилась, и теперь родители вернулись домой и звонят-названивают ее подружке в Москву, и как они восприняли эту новость, что их дочь давно уехала на электричке?

Девушка немножко поплакала, но потом уже шла как деревенная: она поняла, что спасения ей нет, этот свет фонарика заманивает ее куда-то.

Сердце ее билось, во рту пересохло, в горле саднило.

Иногда она шла с закрытыми глазами, иногда сворачивала в сторону — но знала, что свет фонаря все равно светит впереди.

Наконец она наткнулась на что-то твердое и вскрикнула.

Это была ограда кладбища, невысокий штакетник.

Перед ней был как бы кусок леса в поле, старые деревья, еле различимые во тьме кресты и памятники за оградой, занесенные снегом.

Луч фонарика (или пламя свечи) теперь затерялся в гуще деревьев и светил издалека.

Девушка поняла, где она находится, и поняла, что фонарик теперь светит на могилке бабушки Поли.

И бессознательно, совершенно не думая ни о чем, девушка пошла к калитке, чтобы войти на кладбище.

Однако она с ужасом услышала чье-то громкое дыхание за спиной и легкий шорох.

Она не стала оглядываться, только ускорила шаги и втянула голову в плечи, ожидая удара.

И тут кто-то слегка тронул ее за варежку, а потом взял и потянул вбок.

Девушка открыла глаза и увидела небольшую лохматую собачку, которая, улыбаясь, смотрела на нее.

Сразу стало легче на душе.

Девушка посмотрела через забор — огонек на кладбище погас.

Собака опять потянула девушку вбок.

Девушка стояла на утоптанной, довольно широкой тропинке, на которой валялись еловые ветки — видимо, с последних похорон.

И тут девушка со всех ног помчалась по этой найденной тропинке, а собака сразу же отстала.

Это, видимо, была собака, которая подбирала на кладбище остатки от поминок и тем кормилась, такая кладбищенская нищенка, и она никуда не отходила от своего места.

Через полчаса девушка уже подходила к своей деревне.

А ее отец с матерью, как потом оказалось, действительно пошли встречать свою дочку, но на полдороге увидели и услышали взрыв впереди. Это взорвался газопровод, который как раз шел поперек тропинки.

Взрывом разнесло деревья вокруг, все было обуглено, и со свистом горел высокий факел.

Родители девушки бросились к месту взрыва, облазили все вокруг, но не нашли ничего, никаких останков.

Потом они пошли на станцию, позвонили в Москву, узнали от подруги своей дочери, что та выехала два часа назад, дождались последнюю электричку, никого не встретили и тогда быстро отправились домой теперь уже другой дорогой, надеясь на последнее — что разминутся с дочкой.

Вернувшись, они позвонили в милицию, но им сказали, что все на месте аварии и никто сейчас не поедет искать.

Мать на коленях молилась перед иконой, отец лежал лицом к стенке на диване, когда девушка вошла в дом.

Отец сел на диване и схватился за сердце, мать кинулась к ней и обняла ее со словами:

— Где ж ты была? А мы думали, что Бог тебя прибрал. — и тут она заплакала. — Что бабушка Поля позвала тебя к себе. Ты знаешь, на твоей тропинке ведь был взрыв. Скоро после прихода твоей электрички. Мы посчитали, ты должна была попасть в этот взрыв. Мы тебя там искали.

— Да, — ответила девушка. — Я видела взрыв, но я была уже далеко. Я была около нее. Баба Поля позвала меня.

МЕСТЬ

Одна женщина ненавидела свою соседку, одинокую мать с ребенком. По мере того как ребенок вырастал и начинал все больше бегать по квартире, та женщина стала словно бы невзначай оставлять на полу то бидончик с кипятком, то банку с раствором каустической соды, а то роняла коробку с иглками прямо в коридоре. Бедная мать ни о чем не догадывалась, потому что девочка еще очень плохо ходила, а ползать по коридору мать ее не выпускала, так как была зима. Но должно было настать то время, когда ребенок мог выйти из комнаты на простор коридора. Мать делала соседке замечания, что это на самом ходу стоит банка или: «Раечка, вы снова упустили иголки», — на что соседка спохватывалась и жаловалась на свою страшную память. Когда-то они были подружками, еще бы, две одинокие женщины в двухкомнатной квартире, у них было много общего и даже гости бывали общие,

в дни рождения они ходили друг к другу с подарками. Кроме того, они все друг другу рассказывали, но тогда, когда Зина стала ходить с уже большим животом, Рая ее возненавидела до потери сознания. Она просто заболела от ненависти, начала являться домой поздно, не могла спать по ночам, ей все время чудился мужской голос за стеной у Зины, ей казалось, что она слышит слова и стуки, в то время как Зина жила совершенно одна. Зина же, наоборот, еще больше привязалась к Рае и даже ей однажды сказала, что это большое счастье, что у нее такая соседка, как старшая сестра, которая никогда не бросит в тяжелую минуту. Рая действительно помогала Зине шить детское приданое и отвезла ее, когда пришло время, в родильный дом, только приехать за ней и новорожденным ребенком не смогла, так что Зина лишний день просидела в роддоме без приданого и наконец унесла оттуда ребенка в казенном драном одеяльце с обещанием вернуть. Рая отговорила болезнью и так и отговаривалась все время болезнью и ни в магазин ни разу не сходила для Зины, ни купить ей не помогала, а только сидела с какими-то примочками на плечах. И на ребенка она даже и не смотрела, хотя Зина все время проносила его на руках то в ванную, то в кухню, то гулять, да и дверь в ее комнату была всегда открыта — заходи и смотри.

Зина заблаговременно перешла на надомную работу, освоила вязальную машину, поскольку родни у нее не было, а про хорошую соседку это было только красное словцо, на самом деле она не могла ни на кого положиться, сама взялась, самой и нужно было нести груз. Когда дочка была маленькая, Зина отвозила работу и ездила за получкой одна, оставляя ребенка спящим, а когда девочка стала спать мало и выросла, начались хлопоты. Зине приходилось брать ее с собой. А Рая упрямо возилась со своими плечевыми суставами, даже сидела из-за них на больничном, но просить ее посидеть с ребенком Зина не решалась. А Рая начала подготовку к убийству ребенка, и все чаще Зина, ведя топающую девочку за обе руки по коридору, видела в кухне на полу стакан как бы с водой, или видела на табуретке горячий чайник с висящей набок ручкой, но подозрений у Зины никаких не было. По крайней мере она все так же весело щебетала со своей девочкой, говоря ей: «Скажи мама». Но, уходя в магазин или на работу, Зина стала запирает ребенка, и это не прошло даром. Рая страшно разозлилась. Зина как-то ушла, девочка за дверью проснулась, видимо, выпала из кроват-

ки и приползла плакать под дверь. Рая знала, что девочка ходит плохо, что она выпала из кровати и, наверное, сильно расшиблась; поскольку страшно кричит, и что она лежит при этом под самой дверью. Рая не могла больше слышать эти крики, надела резиновые перчатки, взяла из ванной хранившуюся там пачку каустической соды, развела ее в ведре и стала мыть полы в коридоре, причем плеснула раствор под дверь, где лежала девочка. Крик перешел в вопль. Рая вытерла полы в коридоре, все вымыла — ведро, шетку и перчатки, — оделась и ушла в поликлинику.

После врача она сходила в кино, походила по магазинам и вернулась домой вечером. В комнате Зины было темно и тихо. Рая посмотрела телевизор и легла спать, но не могла уснуть. Зины не было всю ночь и весь последующий день. Рая взяла топор, вскрыла дверь и увидела, что в комнате пыльно, что на полу у кровати застывшее пятно крови и широкий след к дверям. От потека каустической соды не осталось никакого следа. Рая вымыла соседке пол, прибралась у нее и стала жить в лихорадочном ожидании. Наконец через неделю пришла Зина, сказала, что девочку схоронила, что устроилась на работу по суткам, и больше ничего она говорить не стала. Ввалившиеся глаза и желтая, обвисшая кожа говорили сами за себя. Рая не стала утешать Зину, жизнь в квартире теперь замерла, Рая одиноко смотрела телевизор, а Зина то работала сутками, то отсыпалась. Она словно сошла с ума, везде развесила фотографии дочери. Боли у Раи усилились, она не могла поднимать руки и ходить, не помогали даже уколы в суставы. Врачи определили отложение солей. Дело дошло до того, что Рая не в состоянии была сварить себе обед и даже поставить чайник на огонь. Когда Зина бывала дома, она кормила Раю с рук, но Зина все реже приходила домой, отговариваясь тем, что ей тяжело. От боли в плечах Рая перестала спать. Узнав, что Зина работает санитаркой где-то чуть ли не в больнице, Рая попросила у нее достать сильное болеутоляющее типа морфия. Зина сказала, что не может: «Я на такие дела не хожу».

— Тогда надо принять побольше этих. Отсчитай мне тридцать штук.

— Нет, не буду, — сказала Зина, — от моих рук ты не умрешь.

— Но мои руки не поднимаются, — возразила Рая.

— Так дешево ты не отделаешься, — сказала Зина.

Тогда больная нечеловеческим усилием дотянулась до флакончика ртом, зубами вынула пробку и высыпала все таблетки

в рот. Зина сидела у постели. Рая умирала очень долго. Когда наступило утро, Зина сказала:

— А теперь слушай. Я тебя обманула. Леночка моя жива, хорошо бегает. Она живет в Доме ребенка, а я там санитаркой. А под дверь ты плеснула не каустиком, а обыкновенной пищевой содой, я подменила каустик. А кровь на полу — это Леночка ушибла нос, когда выпала из кровати. Так что ты не виновата, ты ни в чем не виновата, никто бы этого не доказал. Но и я не виновата. Мы в расчете.

И тут она увидела, что на мертвом лице медленно проступает улыбка счастья.

ТАЙНА ДОМА



ВАСЕНЬКИ

В общем, это была не семья, а целая слобода.

Считаем: сама Антонина, то есть Тося, баба Тося, теперь уже без мужа дяди Володи, который в положенное судьбой время убрался с водянкой в анамнезе, ходил так года три, высокий и пузатый как министр, а Тося, вынося свой душевный груз на улицу, на дворовую скамейку, говорила все о больницах и о том, как «самому» спускают воду там, в шестьдесят седьмой.

Тося все сносила на улицу и командовала целой скамейкой бабок своего подъезда, в случае чего заводила дикий крик, ясный и страшный по содержанию, от чего леденело все живое, ибо про каждого кое-что знала и еще добавляла, кто с кем живет, кто кого с кем прижил (дочь с отцом, сестра с братом), и что мачеха выгнала пасынка с беременной женой, родной отец ни слова; далее, что у директора школы старуха мать курит и ее внук шести лет курит и приучает Тосиногу внука Генерала пяти

лет, а корнеевская дочка гуляет, не ждет своего из тюрьмы, ох, он и придет и т. д.

До Генерала мы еще не добрались, поскольку у Тоси своих детей было девять штук, причем когда пузатый министр ее муж был еще не пузатым и ушел на фронт, она проводила его с пятью, а встретила через четыре-то года с шестью, младший Васька путался в ногах, учился ходить, что ли.

Короче, муж вселился обратно в свою семью, где старший сын Сережка уже в свои десять лет ходил в третий класс, остальные девки кто во что горазд, младшие шастали в заводской детсад, да еще Васька ползал, плод материнской страсти или результат изнасилования, мало ли: Тося никому ничего не говорила, однако скамейки знали, что Васька не батькин сын.

Затем посыпались еще девки, и последняя оказалась Мариночка, любимая дочка, поскребыш, переросшая впоследствии в мать отсталого в развитии сына, которого она также родила без мужа, как ее мать родила Ваську.

Короче: мать, Антонина, с кем-то спуталась (или ее, как говорят бабы, ночью встретили, это бывало после второй смены), и к приходу мужа с войны был готов этот Васька.

Далее: третья по счету дочь, Галька, принесла в подоле сына Мишку, и, наконец, последняя, Мариночка, ничего никому не сказав, вдруг на глазах полезла, как тесто через край, через свои юбочки и платьвица, через самое себя, ходила с задранными впереди подолом — и Тося, образно говоря, почернела от горя (то есть побелела от горя, она белела в тяжелые времена, бывают такие женщины) и все кричала внизу во дворе про других страшные вещи, и нате: родился тоже Васька.

Маленького Ваську назвали так в честь старшего Васьки, которого в те поры уже не было в семье, и след простыл, так что уже много лет мать ездила к нему на могилку то с рассадой, то с банкой краски серебрянки, красить ограду, за оградкой лежали у нее старая мать, затем Министр, успокоившийся навеки после десятой водянки, и Васенька, которого в шестнадцать лет вынули из-под грузовика, но шофера оправдал судмедэксперт, который обнаружил на теле у Васеньки одиннадцать ножевых ран, и к тому моменту, когда грузовик тронулся и аккуратно переехал подложенного под задние колеса Тосино-го ребенка, дело было уже сделано и Васенька не дышал.

Говорили, что шофер выбежал посмотреть, через что переехали задние колеса и так сильно трянуло, и что он как ненормальный всем твердил, что э т о т сам бросился под задние колеса: хотя непонятно как.

Васенька при жизни был высокий уже в двенадцать лет, широколобый, кудрявый, и уже в двенадцать лет он перестал учиться и приходил домой, туда, где его ждал его пузатый батя с готовым ремнем за все дела, а Васенька, наоборот, начал ходить, куда его звали, а звали его в основном студенты Университета имени Патриса Лумумбы в свое общежитие, давали ему выпить и покурить и укладывали спать в свои мужские постели, иностранные студенты стран Азии и Африки, и Васенька так там и прижился, бродил из комнаты в комнату и поворовывал поесть и где чего подвернется, и его наконец поймали коменданты и сдали в руки милиции, а оттуда он попал куда-то в колонию для малолетних преступников, куда же еще.

Куда же еще девать изнасилованных, испорченных детей.

Мать Тося возила ему бедные передачи, он просил курева и каких-нибудь конфет, она наскребала деньжонок, устроилась ночным сторожем в гараж, не спала ни днем, ни теперь ночью.

Там, в колонии, он вскоре стал известен как объект любви, бабки на скамейке туманно об этом говорили, используя оборот «там узнали, каку ему статью дали», а шел мальчик как раз по двум статьям, воровство и мужеложество.

И Васенька улучил момент и сбежал, мать в его оправдание говорила на скамейке, что его там избивали по ночам, каждую ночь, ему было уже пятнадцать, но домой он не явился, мать опять таскалась вся белая по подвалам со здоровой идеей вернуть сына к месту отсидки, а в шестнадцать его уже нашли под грузовиком с одиннадцатью ножевыми ранами, поработал какой-то маньяк, к которому Васенька, возможно, сам пошел в лапы, раз некуда было деваться: дело происходило в морозы.

Тося-то утверждала, что там не один маньяк поработал, раны были разные, целая шайка, один бы не справился, принесли и положили под колеса, но мало ли что Тося кричала во дворе своим глухим подругам, следовательно закрыл дело, объяснив, что оно повисло, «висяк».

И потом, много лет спустя, когда все слезы были выплаканы, а восемнадцатилетняя Мариночка, единственная из всех детей похожая на Васеньку (тот же лоб, зеленые глаза, так же всегда смеется), Мариночка вдруг быстро разбухла и пошла рожать без мужа через год после школы, вот тогда Тося решила: пусть ребенок будет Васенькой.

К приходу нового Васеньки в семейном гнезде произошли уже большие дела, вышеупомянутая дочь Галька, родившая когда-то тоже без мужа сына Мишку (Мишка этот-то как раз в ответ на вопросы бабулек во дворе, а где же его папка, отвечал

еще в детстве известной фразой «мой отец подох»), — так вот, эта Галька у себя на «Буревестнике» нашла туберкулезного Толю, и они, оба маленькие, пузатые как бочонки, произвели на свет Генерала, и бабка Тося, успокоенная на старости лет хотя бы этим, что все приходит, что дочь обосновалась и вышла замуж, пусть за Толю, пусть привела туберкулезника в дом и прописала, с намерением дальше получить отдельную квартиру, пусть он пьет и сволочь, но Галька вышла замуж (скамейка во дворе заткнулась, когда свадьба вывалилась во двор с гармонисткой и пьяными бабами в мужских костюмах, одна была с морковкой в ширинке).

В честь этого бабка Тося держала Генерала, маленького и крепкого, как бочонок, на подушке у себя на кровати, и он сидел, выставив тугое брюшко, вылитый генерал.

Это было первое желанное дитя в семействе, старшие давно отпочковались и уже имелись внуки, бабка Тося их не различала по именам, а тут собственный Генерал сидит на подушке и тянет ногу в рот, а старший, Мишка, наоборот, выгнан из материнной комнаты отчимом и, памятуя прошлые драмы. Тося взяла бездомного Мишку и поселила в углу у себя на кресле-кровати, так что в трехкомнатной квартире оказалось в наличии всего два внука: Мишка и Генерал.

И все было бы уже хорошо, в одной комнате баба Тося с Генералом и одичалым с детства Мишкой, в другой комнате живот к животу Галька с туберкулезником, а в третьей, маленькой, тихо живет песня поет пионерка и комсомолка Мариночка, любимое дитя.

Ан нет, Мариночка опять-таки родила неизвестно от кого, назвали Васенькой, родня подарила деньги, Мариночка в восемнадцать лет накупила всего: полированный шкаф, сервант, детскую кроватку и себе диван-кровать, затем положила в кроватку свою ношу, пеленала, кормила, шила, пела песенки, вязала, а потом вышла опять на работу, оставив ребеночка бабе Тосе, то есть Мишке и Генералу.

Васенька так и рос при них и неожиданно к пяти годам вырос без единого слова: то ли его старшие внуки затюкали, забили, то ли мать отравила своими горькими мыслями, когда он сидел в ее утробе, мало ли.

Мариночка поздно опомнилась, бабка Антонина считала, что до трех дети не должны разговаривать вообще, а потом кто как, и к врачу не обращались.

Насобачился кивать или головой мотать — и хорошо.

Марина добилась консультации у специалистов, те сказали, что ребенок может говорить, но не говорит: такой вид заикания.

Мариночка побегала и устроила своего Васеньку в специальный детский сад при психбольнице, и Васенька приходил домой только на субботу-воскресенье, ничего не требовал и молчал, как бы учтя опыт предыдущих сгинувших поколений детей.

Однако как-то все в очередной раз рассосалось, Толе как туберкулезнику все-таки дали квартиру, они уехали, прихватив с собой своего бандитского Генерала, а Мишка без слова ушел в армию охранять северные рубежи, от него и писем не приходило, и тут Васенька немного отошел, оттаял и стал, запинаясь, говорить, даже правильно говорить, выученный логопедами, торжественно и медленно, как диктор. И он даже пошел не в тихую спецшколу для дураков, а в обыкновенную хулиганскую дворовую школу, где дым стоял коромыслом и дрались на всех переменах, били стекла и мочились так, что вся школа шибала сразу при входе чем-то кислым — нянек посокращали в те тяжелые уже времена, денег у школы не было.

То, что тихий Васенька все-таки миновал спецшколу для отсталых разумом детей, это Марина постаралась, походила по министерствам здравоохранения и просвещения, но добилась своего, умная выросла, высокая, красивая молодая женщина, стройная и прекрасно сама себе шьет, одевается не хуже других, глаза зеленые, лоб широкий, рот тонкий, похожа на Грету Гарбо.

Есть, однако, маленький недостаток: стоит ей встретить бывших соседей, как она начинает рассказывать об отце Васеньки, гигантском миллионере, директоре авторемонта, у него своих детей пятеро, дом в два этажа в зеленой зоне, новая жена, но и Васю не забывает и выхлопотал, что ребенка взяли в нормальную школу, Марина ему так прямо и сказала: твой ребенок, ты отец, постарайся, никогда ничего у тебя не просила, ни денег, ничего. Это прошу, ты отец.

Тут глаза ее, широко расставленные глаза под светлым широким лбом Греты Гарбо, эти глаза ее загораются, и она повторяет, на все лады повторяет это святое слово «отец», которого и сама-то не знала, отец умер года через четыре после ее рождения.

А на скамейке глухие бабки давно говорят, что нет никакого директора, что Маринка сама плакала-переплакала во всех приемных и кабинетах, все сама.

Одна стояла, борясь за честь своего молчащего Васеньки, и победила хоть в этом.

МОСТ ВАТЕРЛОО

Ее уже все называли кто «бабуля», кто «мамаша», в транспорте и на улице.

В общем, она и была баба Оля для своих внуков, а дочь ее, взрослый географ в школе, полная, большая, все еще жила вместе с матерью, а муж дочери, ничтожный фотограф из ателье (неравный брак курортного происхождения) — муж этот то приходил, а то и не являлся.

Баба Оля сама жила без мужа давным-давно, он все уезжал в командировки, а затем вернулся, но не домой, плюнул, бросил все, имущество, костюмы, обувь и книги по кино; все осталось бабе Оле неизвестно зачем.

Они так и поникли вдвоем с дочерью и ничего не делали, чтобы вернуть ушельцу вещи, было больно куда-то звонить, кого-то искать и тем более с кем-то встречаться.

Папаша, видно, и сам не хотел, было, видимо, неудобно — счастливым молодоженом, имеющим маленького сына, являться за имуществом в квартиру, где гнездились его внуки и жена-бабушка.

Может быть, считала баба Оля, ТА его жена сказала: плюнь на все, что надо утром купим.

Может быть, она была богатая, в отличие от бабы Оли, которая привыкла к винегрету и постному маслу, ботинки покупала в ортопедической мастерской для бедных инвалидов, как бы детские, на шнурках и шире обычного: из-за шишек.

Облезлая была баба Оля, кроткий выпученный взгляд из-под очков, перья на головке, тучный стан, широкая нога.

Баба Оля была, однако, удивительно доброе существо, вечно о ком-то хлопотала, таскалась с сумками по всяким заплесневелым родственникам, шастала по больницам, даже могилки ездил приводить в порядок, причем одна.

Дочь ее географ в этом мамашу не поддерживала, хотя сама была готова расшибиться в лепешку для своих так называемых подруг, их кормила, их слушала, но не бабу Олю, отнюдь.

Короче, баба Оля легко улепетывала из дому, настряпав винегретов и нажарив дешевой рыбешки, а дочь-географ, мало-подвижная, как многие семейные люди, зазывала подруг к себе, шло широкое обсуждение жизни с привлечением примеров из личной практики.

Муж географа обычно отсутствовал, этот муж из фотоателье привычно вел побочное существование при красном свете в фотолaborатории, и мало ли что у него там происходило, сама дочь-географ прошла когда-то через этот красный свет, вернувшись с курорта в обалделом виде, юная очкастая дылда с припухшими глазами и как будто замороженным ртом, а потом она и привела домой фотоработника (к тому же алиментщика и без жилья) к порядочной маме и тогда еще папе в их маленькую трехкомнатную профессорскую квартиру, дура.

Дело прошлое, много воды утекло, а баба Оля, оставшись и сама без ничего после ухода профессора, ни рабочего стажа, ни перспектив на пенсию и ни копейки в зубы, а также в проходной комнате (фотограф с географом быстро заняли изолированную после ухода отца, так называемый кабинет, раньше они с детьми жили в запроходной, теперь пошли на расширение, что способствует семейной жизни, а баба Оля как спала на диване в гостиной, так там и застряла) — она теперь по своей новой профессии много топала и шлепала по лужам, будучи

страховым агентом, колотилась у чужих дверей, просилась внутрь, оформляла на кухнях страховые полисы, вечно с пухлым портфелем, добрая, нос потный, зоб как у гуся-матери.

Некрасивая, болтливая, преданная, вызывающая у посторонних людей полное доверие и дружелюбие (но не у своей дочери, которая ни в грош не ставила мать и полностью оправдывала ушедшего папу), — такова была баба Оля и совсем не жила для себя, забывая голову чужими делами и попутно тут же при знакомстве рассказывая свою историю блестящей певицы из консерватории, которая вышла замуж и уехала с мужем по его распределению в заповедник Тьмутаракань, он там делал диссертацию, а она родила, и т. д., в доказательство чего баба Оля даже исполняла фразу из романса «Мой голос для тебя и ласковый и томный», хохоча вместе с изумленными слушателями, которые не ожидали такого эффекта, поскольку в буфете начинали звенеть стаканы, а с подоконника срывались голуби.

Дочь-то, разумеется, а также и внуки не выносили бабы Оли оперную, а не комнатную певицу, причем редкого тембра драматическое сопрано.

Однако и на старуху бывает проруха, и в данном случае баба Оля как-то не выдержала бремени и хлопот от бесплодных звонков по чужим подворотням и вдруг заваялась в кино лично для себя: там тепло, буфет, картина иностранная и, что интересно, множество сверстниц у входа, таких же теток с сумками.

Какой-то как бы шабаш творился у дверей маленького кинотеатра, и баба Оля, кривя душой и уговаривая себя хоть немного отдохнуть, потопала неудержимо, влекомая странными чувствами, к кассе, купила себе билет и вошла в чужое теплое фойе.

У буфета толпились люди, была и молодежь парочками, и баба Оля тоже взяла себе какой-то сомнительной сладкой водички, бутерброд и якобы пирожное за бешеные деньги, гулять так гулять, а затем, утершись клетчатый платком мужа, в непонятном волнении она вместе с толпой вошла в зал, села, сняла с себя меховую кубанку на резиночке, шарф, расстегнула зимнее обдерганное пальто, когда-то шикарное, синий габардин и чернобурка, в зеркало лучше не смотреться, — и тут погас свет и возник рай.

Баба Оля увидела на экране все свои мечты, себя молоденькую, тоненькую как тростинка в заповеднике, с чистым личи-

ком, а также увидела своего мужа, каким он должен быть, и ту жизнь, которую она почему-то не прожила.

Жизнь была полна любви, героиня умирала, как мы все умрем, в бедности и болезнях, но по дороге был вальс при свечах.

В конце баба Оля плакала, и все вокруг сморкались, и потом, еле перебирая ногами, баба Оля отправилась снова собирать дань как трудовая пчела, опять поцеловала две запертых двери и, сломавшись на профессиональном поприще, поползла домой.

Автобус со слезящимися стеклами, парное метро, одна остановка пешком, третий этаж, густой домашний запах, детские голосишки в кухне, родное, любимое, знакомое — стоп.

И вдруг баба Оля, как наяву, увидела перед собой полное нежности и заботы лицо Роберта Тейлора.

Назавтра она опять мчалась в тот район пораньше с утра, застала клиентов на дому, собрала с них деньги, завязала еще несколько знакомств на кухнях в тех же коммуналках, приглашая людей выгодно застраховать жизнь и еще по дороге в качестве приза получить компенсацию за все ушибы, переломы и операции, что самое заманчивое, и люди охотно ее слушали, задумывались о судьбе, дело продвигалось, и затем баба Оля опрометью кинулась в знакомый кинотеатр на утренний сеанс.

Там, однако, шел уже другой фильм, детский.

Тем не менее у кассы баба Оля застала одно полузнакомое лицо, вчерашнюю бабульку в каракулевой папаше, еще довольно молодую, бабулька тоже прилетела в этот кинотеатр с утра пораньше и теперь, обездоленная, спрашивала, где висит киноафиша, явно чтобы пробраться в другую киношку, где демонстрируется любимая картина.

Баба Оля насторожила ушки, переспросила, поняла суть вопроса и назавтра — только назавтра — в одиночестве засеменяла на свидание с любимым и опять вернулась в тот волшебный мир своей другой жизни.

При этом она уже меньше стеснялась других бабулек и в том числе себя, и на выходе видела счастливые заплаканные лица и сама утиралась большим мужским носовым платком, оставшимся ей на память, как осталось ей на память мужское шерстяное белье, так называемое егерское белье, и она поддевала это белье в морозы, а также и кальсоны на ночь, а дочь носила в школу папины клетчатые рубашки под сарафан: надо жить!

— О Господи, — думала честная и чистая как горный хрусталь баба Оля, — что со мной, какое-то наваждение. И главное, эти старухи бегают с сеанса на сеанс, кошмар...

Сама она себя старухой не чувствовала, у нее еще многое было впереди, мало ли: бабу Олю ценили на работе, уважали клиенты, она содержала теперь семью и даже купила детям аквариум и ездила с ними на Птичий рынок за рыбками, надеясь забыть ТО, главное (баба Оля умела управлять своими страстями, умела жертвовать собой, в Тьмутаракани, например).

Однако ни фига не вышло, говорила себе баба Оля после очередного посещения клиентов на дому: о чем бы ни говорили, она обязательно снова и снова вворачивала любимое имя, Роберт, название фильма («Мост Ватерлоо») и подробности жизни актеров.

Люди пытались рассказывать ей о своем, а баба Оля опять упоминала, допустим, позавчерашний сеанс и в каком кинотеатре дальше пойдет картина.

Она уже сама чувствовала, что скатывается куда-то вниз, особенно в глазах клиентов, что она уже не так прилежно внимает всем этим историям, не так заинтересованно, как раньше, обсуждает их квартирные интриги, суды, измены, планы, а что она уже слушает все это как бы машинально, кивая и хлюпая носом в поисках носового платка, но что сквозь всю эту дребедень, накипь, пену жизни просвечивает то, главное, муки ЕГО. И, попутно, муки ЕЕ.

И наконец баба Оля окончательно определилась в жизни.

Она плюнула на все условности.

И главной своей задачей баба Оля считала теперь не страхование и не сбор взносов, а внушение погруженным в персть земную клиентам, именно что внушение мысли, что есть иная жизнь, другая, неземная, высшая, сеансы, допустим, девятнадцать и двадцать один, кинотеатр «Экран жизни», Садово-Каретная.

Глаза ее при этом сияли сквозь толстые очки.

Зачем и почему она это делает, баба Оля не знала, но ей было необходимо теперь нести людям счастье, новое счастье, нужно было вербовать еще и еще сторонников «Робика», и она испытывала к редким новобранцам (новобранкам) нежность матери — но, с другой стороны, и строгость матери, была их проводником в том мире и охранителем от них правил и традиций. У нее уже имелась толстая тетрадка с переписанными из газет статьями о Роберте Тейлоре и Вивьен Ли.

Там же были вклеены портреты и кадры из фильма, тут поработал никуда не годный зять под красным фонарем в своей сомнительной фотолaborатории: с паршивой овцы!

Худо было то, что орды теток и бабок слетались на священнодействия, это уже был какой-то содом и гоморра, рыдания, истерики, ходили по рукам поэмы.

Был установлен день рождения «Робика», и они отмечали это свое рождество в фойе кинотеатров, пили кагор и беленькую, шумели перед сеансом, а баба Оля, как строгий жрец, праздновала одна дома на кухне.

Встречаясь, они рассказывали друг другу как было, баба Оля же не допускала до себя эти их пустяки, хранила свою тайну, но в тиши ночей сама писала стихи и потом неудержимо поверяла их своим клиентам, выбрав момент.

Не бабушкам же декламировать, им прочтешь, они тут же читают тебе в отместку доморощенные глупости типа «И много девушек так сладко перешуupal», тьфу!

Баба Оля проборматывала свои возвышенные стихи особо избранным клиентам, торопилась, шмурыгала носом, очки заплывали слезой.

Слушатели маялись, глядели в сторону, как тогда, когда она, расчувствовавшись, пела в полную мощь, и баба Оля понимала всю неловкость своего положения, но ничего не могла с собой поделать.

Где, когда и как постигает человека страсть, он не замечает и затем не способен себя контролировать, судить, вникать в последствия, а радостно подчиняется, наконец найдя свой путь, каким бы он ни был.

— Это безобидно, — твердила себе баба Оля, счастливо засыпая, — я умная женщина, а это никого не касается, это, наконец, только мое дело.

И она вплывала в сновидения, где один раз даже проехала с Робертом Тейлором на открытой машине, оба они сидели на заднем сиденье, больше в ЛАНДО никого не было, даже шофера, и ОН полуобнимал плечи бабы Оли и преданно сидел рядом.

Вот кому расскажешь такое!

Однажды только был позорный момент, потому что не шлайся ночами! (как сказала дочь-географ).

Баба Оля шла развинченной походкой после сеанса где-то у черта на куличках, чуть ли не у Заставы Ильича — охота пуще неволи, — и ее обогнал молодой мужчина, высокий, полный, в шапке-ушанке с опущенными ушами (а баба Оля шла по-моло-

дому, кубанка набекрень, и чуть ли не пела в мороз, напевала «Растворил я окно»), и этот молодой человек на ходу, обогнав бабу Олю, заметил:

— Какая у вас маленькая нога!

— Шшто? — переспросила баба Оля.

Он приостановился и задал вопрос:

— Размер ноги какой?

— Тридцать девять, — удивленно ответила баба Оля.

— Маленькая, — печально откликнулся молодой человек, и тут баба Оля ринулась мимо него домой, домой, к трамваю, хлопая портфелем.

Но затем, ночью, уже по трезвом размышлении, жалкий и больной вид молодого человека, его шаркающие подошвы, небритый, запущенный облик и тем более темные усики смутили бедную бабу Олю: кто это был?

Она пыталась сочинять о нем известные истории типа мама умерла, нервное потрясение, уволился, сестра с семьей не заботится и гонит и так далее, но что-то тут не совпадало.

Баба Оля, несмотря на упреждающие крики дочери, следующим вечером опять поехала на фильм туда же, на тот же сеанс.

И она начала понимать, посмотрев еще раз на Тейлора, кто встретился ей на темной улице после кино, кто это шел больной и запущенный, тоскующий, небритый, но с усиками.

И действительно, если подумать, кто еще мог таскаться искать свою любимую, когда о ней забыли в целом мире, кто мог бродить по такому месту как Застава Ильича в 1954 году, какой бедный и больной призрак в маловатом пальто, брошенный всеми, бродил, чтобы явиться на мосту Ватерлоо самой последней душе, забытой всеми, брошенной, используемой как тряпка или половик, да еще и на буквально последнем шагу жизни, на отлете...

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ

В нашей квартире в течение тридцати лет, то есть с того момента, как я появилась на свет, неизменно живут три женщины: я, Марина и Галя. Марине сейчас сорок пять лет, Гале — пятьдесят восемь, мне соответственно тридцать. За эти тридцать лет в нашей квартире появлялись и умирали или уходили жить в другие места мужчины: мой отец, отец и затем муж Марины и муж и сын Гали.

Наша квартира была построена как раз тридцать лет назад, перед войной, как квартира в доме военнослужащих, как квартира высшей категории, с квадратными комнатами, из которых две, моя и Гали, выходят по фасаду здания на улицу, на точно такой же дом с колоннами, стоящий на другой стороне улицы, а комната Марины и кухня выходят на сквер, теперь уже довольно старый и разросшийся. Летом мою комнату и комнату Гали заливают до трех часов дня нестерпимое солнце, поэтому

наши комнаты называются выходящими на солнечную сторону, что когда-то ценилось, а теперь мы с Галей буквально задыхаемся от вони, которая идет снизу, с проезжей улицы, и от жары и света. Но Галя всегда летом выезжает на дачу, это я одна остаюсь в квартире, потому что и Марина тоже уезжает на месяц в отпуск. Маринина же комната, которая когда-то считалась неинтересной из-за того, что выходила на север, теперь в нашей квартире считается в летнее время настоящим раем, а Марина, вероятно, спит с открытым окном, чего мы с Галей, правда, не видим, потому что никогда не бываем в комнате Марины, особенно последние семь лет, хотя она к нам иногда заходит.

Последние семь лет, правда, были испытанием и для всех нас, но только Марина слегка тронулась в разуме, и, несмотря на то, что об этом она никогда никому не говорила, все-таки мы с Галей все знали. Марина всегда была скрытной особой и мало с нами разговаривала, разговаривала она только иногда с моей матерью, которая вообще ангел во плоти. Но все-таки мы с Галей иногда слыхали через закрытую дверь Мариной комнаты, что там происходит, и знали, что Марина кричит на мать, кричит, что убьет ее и себя, хотя более кроткого и простодушного существа, чем Маринина мать, я не видела в течение всей своей жизни. Правда, я мало что видела, мало кого видела, я работаю преимущественно дома и почти, особенно сейчас, ни с кем не общаюсь, хотя иногда позволяю себе принять гостей, но это общение особое и не в счет, и не во время пребывания в гостях ведь проявляется человеческая кротость, тем более что и гости у меня особого порядка, скорее буйные и невосдержанные люди. Так что Маринина мать и до сих пор, спустя много лет после ее смерти, остается для меня образцом простодушия и кротости. Она ничего никогда не скрывала, не способна была удержать в своем простодушном мозгу; может быть, она даже и не задумывалась над тем, какой вред и позор приносят ее дочери все эти рассказы о жизни за закрытой дверью Мариной комнаты. Я думаю, что Маринина мать не принимала во внимание одно обстоятельство: то, что она рассказывала о Марине, она рассказывала с одним чувством, с чувством собственности, принадлежности к ней Марины и подразумевая, как само собой разумеющееся, что Марина в целом, в основе, очень хороший человек, дорогой и любимый, а все эти ее поступки вызывают недоумение и их можно объяснить какими-то внешними раздражителями, например, тем, что у Марины после пребывания на фронте, после ранения,

не может быть детей и она чувствует себя ущербной и готовится к тому, что муж ее покинет. Это у матери Марины была постоянная песня, объяснение всему, надоевшее всем нам, но если бы сама Марина услышала когда-нибудь это объяснение, которое, может быть, было неверным, она бы что-нибудь действительно бы сделала с собой и со своей матерью, что и произошло в конце концов. Я часто думаю о том, что Марина была бессильна перед простодушием своей матери и перед ее простодушной самозащитой и всеми этими бесконечными объяснениями причин поведения Марины. Старушка, вероятно, трактовала все правильно, но несколько однобоко, исключая из цепи причин Мариного поведения себя, свою личность и свое влияние на события. Это было не косвенное влияние, не влияние, которое оказывает человек на человека, повсюду о нем рассказывая и тем самым вызывая у него чувство бессилия и незащитности, когда он узнает от совершенно посторонних людей какие-то сведения о себе, о своих поступках, о своих недостатках, привычках и словах.

Нет, этого не было в нашей квартире, потому что мы с Галей хранили молчание, о моей матери я уже сказала, что это ангел во плоти, а сын Гали, тогда еще довольно малолетний, на шесть лет младше меня мальчик, вообще жил своей жизнью. Правда, Марина не могла не видеть, что мы с Галей плохо к ней относимся ни с того ни с сего, хотя она довольно любезна с нами в тех случаях, когда ей приходится говорить на общеквартирные темы. И даже моя мать, которая не то что всех жалеет, но просто хорошо ко всем людям относится, и та как-то немного через силу с ней разговаривала, как-то испуганно, но этого, конечно, никто не мог заметить, кроме меня. Но, вероятно, Марина тоже это замечала, ведь человек всегда остро чувствует отношение к себе, особенно если он общается с людьми, которых по каким-то причинам любит, а Марина любила мою мать и до сих пор ее любит, я в этом уверена. А моя мать до сих пор, когда приезжает к нам от моей тетки, разговаривает с Мариной через силу любезно, хотя знает о Марине все и знает, насколько тяжело Марина пережила смерть своей матери.

Но Марина была бессильна перед своей матерью еще и тем, что мать все-таки вмешивалась в ее семейную жизнь с Олегом, защищая Марину, так что Олег вдвойне тяжело должен был переносить все эти ссоры, а Марина его жалела, как свою собственность, и не хотела никому давать в обиду, и ничего хорошего из этого не выходило. Это была какая-то сплошная

жизнь наоборот: мать Марины, я это хорошо знаю, любила Олега и жалела его, особенно это было заметно, когда она произносила свои длинные монологи на кухне. Но на кухне, осуждая Марину, она в то же время для себя самой знала, что она имеет право осуждать Марину, потому что все равно в глубине души она не допускает и мысли, что кто-нибудь другой, кроме нее, мог бы осуждать Марину, и поэтому старушка чувствовала себя перед Мариной справедливой и правой и даже защитницей ее, потому что ведь выдвигала же она как причину всего Марининого поведения это ее фронтовое несчастье во время операции и оправдывала ее этим. Но в комнате, перед Олегом, она защищала Марину вслух всеми средствами, часто нелогично, часто несправедливо по отношению к Олегу, даже с какой-то особой, свойственной только ей, обидной для Олега памятью. А в глубине души, вслух защищая Марину и горой, часто несправедливо, вставая за ее интересы, она в глубине души досадовала именно на Марину, сознавая себя борцом за ее интересы без всякой после этого благодарности.

Марина просто терялась, теряла себя в таких ситуациях настолько, что громко рыдала у себя в комнате. И только Олег молчал, он был действительно довольно хорошим человеком, и немудрено, что у него в конце концов лопнуло терпение и он повел себя так, как бы повел себя любой человек в такой ситуации, то есть просто стал думать о себе, как спасти себя. И с его уходом в Марининой комнате действительно наступила тишина.

Этому предшествовало то, что Марина узнала, что у Олега вот уже долгое время на его заводе есть женщина. Правда, тут же после этого Олег вдруг ушел из дома, и она искала его на работе и даже пошла к нему на завод и как-то там его встретила — возможно, дождалась у проходной, потому что наверняка на завод ее не впустили, требовалось ведь заказать пропуск, а Марина с ее характером чтобы добивалась у Олега пропуска? Хотя все может быть, в эти дни Марина совершенно опустила и могла опуститься до того, чтобы вызывать его из конструкторского бюро по телефону и просить у него пропуск. Незвестно, что там произошло, Маринина мать ходила со странным выражением лица, было похоже на то, что она, закрыв рот, все время ощупывает языком коренной зуб, вся поглощенная этим занятием.

Затем, в отсутствие Марины, она долго, почти целый день звонила, звонила, как мы поняли, секретарю парткома завода,

его не было на месте, и она провела почти весь день в коридоре под телефоном, неустанно звоня, и наконец дозвонилась и попросила у него приема по личному вопросу и договорилась, что он ее примет на другой день даже без пропуска. потому что партком находится в одном здании с библиотекой, куда не надо пропуска.

Все-таки прошло довольно много времени после этого разговора, не меньше двух недель. В Мариной комнате было тихо. Марина ходила на работу, старушка говорила с нами мало, да и мы с Галей старались побыстрее уйти из кухни. Все-таки однажды, при полном сборе населения, в воскресенье днем Олег пришел, неизвестно зачем: то ли вернулся, то ли за вещами, то ли решил объясниться. Я услышала громкий стук, шаги нескольких людей, быстрые шаги, почти бег, потом я услышала, что открыли входную дверь и на кафельный пол лестничной площадки буквально швырнули что-то тяжелое, очевидно, чемодан с железными уголками. Затем мать Марины стала кричать в полный голос: «Отдай». Была какая-то возня. Марина говорила, улыбаясь: «Он же не хочет!» и «Он же совершенно не собирается, что ты!» Но мать кричала, чемодан стучался железными углами о кафельный пол, и, наконец, мать стала кричать: «Помогите!»

Это была ужасная сцена, во время которой, мне кажется, Марина что-то сделала со своей матерью, потому что мы с Галей долго не могли успокоить старуху, которая стояла над распаханутым чемоданом, из которого все барахло вылетело на лестницу. Мы все собрали и увели Маринину мать в квартиру, а Марины и Олега не было на лестнице, возможно, Марина убежала первая, а Олег, который не знал, что ему делать и просто как получить свои вещи, ушел, не желая подбирать свои вещи и связываться со старухой.

После этого случая не старуха, как это о можно было ожидать, перестала разговаривать с Мариной, а Марина стала держать себя так, как будто ее глубоко оскорбили. Она не желала разговаривать со своей матерью, не замечала ее, чемодан на следующий же день отнесла куда-то. А Маринина мать сначала крепилась, а потом все-таки рассказала нам с Галей, что Марина ее избивала и издевалась над ней, но и в этих ее словах все-таки чувствовалось, что она, несмотря ни на что, все равно ощущает Марину своей дочерью, частью самой себя и поэтому имеет право ее осуждать как угодно, в глубине души зная, что все равно Марина ее дочь.

Марина не разговаривала со своей матерью долго, пока та не заболела. Тут Марина начала проявлять чудеса дочерней любви, готовила для матери, приносила дорогие консервы. Но мать все время болела, и Марина устраивала в своей комнате настоящий холодильник, открывая настежь окно и посадив у батареи одетую старушку, так что дверь все время распахивалась от напора ветра и мы с Галей, проклиная все на свете, одевали чуть ли не валенки, потому что стоял ноябрь. В декабре старушка умерла, это произошло через два года после случая с Олегом.

Спустя некоторое время после того, как мы всей квартирой похоронили Маринову мать, Марина вдруг перестала выходить из комнаты. Как раз в эти дни ей исполнилось сорок лет, и это совпало с тем, что она перестала выходить из комнаты и не подходила к телефону, даже если мы ей стучали несколько раз. Чтобы выйти куда-нибудь — в магазин или даже в уборную, — Марина, очевидно, ждала, чтобы нас не было в квартире. Гали целыми днями не было дома — она то работала, то бегала в больницу к мужу, и я тоже еще не очень привыкла жить одна, все время ходила работать в библиотеку, а моя мать уехала жить насовсем к своей сестре, за которой надо было ухаживать. Но у меня было такое ощущение, что мать не из-за этого уехала и выписалась совсем из квартиры, в которой прожила тридцать лет и в которой растила меня, военное дитя. Мать уехала из-за чего-то другого, и этому есть свое объяснение, но оно слишком прямое и выглядит неправдоподобно. Дело в том, что однажды мать пришла с работы раньше, чего не должно было быть, но мать почему-то отпустили с работы раньше, неизвестно почему. Короче говоря, мать стала отпирать комнату в совершенно неподходящий момент, я ей крикнула: «Не входи пять минут!» Она тут же быстро ушла и вернулась уже в двенадцать часов ночи, когда я бегала как заведенная вокруг дома, искала ее. Она мне ничего не сказала, да больше и нечего было говорить, потому что больше не было поводов, все исчезло, растаяло, растворилось, как дым, из-за одного поворота ключа в замке в неподходящий момент. Нельзя сказать, чтобы я не переживала из-за этого, но по мне никогда не скажешь, что я в данный момент думаю, да и вечерами я ходила в библиотеку, так что мы почти не виделись с матерью. А потом она уехала жить к сестре за город, за сто двадцать километров, и перед этим показала мне письмо от сестры, в котором сестра просила ее приехать, потому что заболела и даже не могла ходить, а свои дети у нее разъехались уже давно, и она не хотела быть им обузой. Тем более что

мать ушла на пенсию буквально в эти дни и даже не успела посидеть свободно дома, хотя я ей не мешала, уходила с утра в библиотеку. Так она и не успела отдохнуть, а уехала наспех, собрав свои вещички и купив халат сестре.

Так что Марина оставалась одна в квартире и могла на свободе ходить, никто ее не видел. Мы даже не знали, работает ли она по-прежнему и что она ест, потому что она варила себе кашу, и потом эта каша стояла в кастрюле нетронутая и плесневела, пока Галя не выкидывала ее и не мыла кастрюлю.

А Галя целыми вечерами, придя из больницы от мужа, разговаривала по телефону и каждый вечер успевала поговорить с десятью родственниками. Ей звонили даже по междугороднему, особенно когда у нее скончался муж, тихий человек, Андрей Петрович, да будет ему земля пухом. Но Галя меня буквально изводила своими бесконечными рассказами по телефону, она повторяла всем одно и то же, несмотря на то, что все всё знали, потому что у нас в квартире было не протолкнуться днем, и только к вечеру все расходились, но и тут Галя не отдыхала, а выходила к телефону и начинала все рассказывать всем подряд сначала.

В эти дни стала показываться из своей комнаты и Марина, не то что просто по-нормальному выходить в кухню или еще куда-нибудь. Марина тихо исчезала, тихо прикрывала за собой входную дверь, осторожно надавливая на нее, пока с оглушительным хлопком не закрывался наш неподатливый английский замок, и каждый вечер это осторожное давление, возня за дверь и оглушительный хлопок замка вызывали у меня желание выскочить и закрыть дверь как следует. Но все-таки у Марины были и кое-какие успехи: Галя слышала, как она звонила в поликлинику, когда принимает врач. В результате Марина вообще исчезла, дверь ее оставалась запертой, на ночь она не вернулась домой, весь день ее не было, я не выходила из дому и слышала все шорохи на лестнице, но она так и не пришла. Рано утром мы с Галей провели час у телефона, пытаясь разыскать Олега. Галя может сделать буквально все, кто бы знал, каких только профессоров она не таскала к своему Андрею Петровичу, что только она не продавала, не выносила из дому, увязанное в узлы, чтобы иметь возможность делать всем подарки и платить гонорары. Так что в конце концов мы добрались до Олега, его вызвали к начальнику, и Олег говорил с Галей из кабинета своего начальника. Олег без колебаний взял на себя все дело. В нашей квартире он появился через день, открыл

своим ключом комнату Марины, чего-то там делал, вышел со свертком в руке, пошел в ванную, забрал оттуда полотенце, мыло и щетку Марины, а Галя у него отобрала старое полотенце, которое имело бог знает какой вид, и дала свое, шегольское, вывезенное еще из Германии, где служил ее Андрей Петрович после войны. Мы спросили, в какой больнице Марина лежит и когда нести передачу, и Олег ответил, что передач не надо, он сам обо всем позаботится, а что лежит она в первой клинике. Затем начались звонки с работы Марины, мы им отвечали, где она лежит, а они все равно звонили и говорили, что не нашли в первой клинике Марину, хотя обошли все корпуса.

Опять мы стали искать Олега, но он не стал говорить от начальника, а обещал позвонить попозже вечером, и вечером он нам сознался, что Марина лежит в психиатрической лечебнице, но очень не хочет, чтобы кто-нибудь об этом знал, и даже с трудом выходит к нему, когда он приезжает ее навестить.

Потом Марина вернулась, стала теперь сама подходить к телефону и объясняла, что была в санатории, и ее скоро перестали беспокоить по этому поводу, так как, очевидно, все сами узнали.

А Галя все не унималась и говорила целыми вечерами по телефону, и мы поневоле знали абсолютно все ее дела. К тому же в нашем доме снова появился ее сын Арнольд, который ушел от красавицы жены. Галя это глубоко переживала и кричала об этом по телефону. Арно, веселый, общительный парень, рассказывал нам, что они с женой копили деньги, чтобы купить квартиру и уехать от тещи, которая вела себя кое-как и приводила к себе, в ту комнату, где и они с женой жили за занавеской, своих гостей — «мы тут, а они там». Но в конце концов у него с женой все расстроилось, и он ушел от жены в чем был, потому что, самое главное, его жена не могла иметь ребенка. В этот момент его рассказа Марина все еще стояла у своего стола в кухне. Но, хоть я и испугалась, что она вспомнит про Олега, Марина никак не отреагировала и продолжала чистить картошку как ни в чем не бывало, а ведь Олег именно такое обоснование выдвигал у себя на заводе, когда его вызывали, — что он хочет ребенка, а Марина не может иметь детей, и что по законодательству он имеет право развестись.

Арно то время, пока он жил у матери, а мать дорабатывала свой срок до пенсии и не мешалась в его дела, потому что очень уставала на своей счетной работе в министерстве, этот Арно гулял как только мог. Мы его видели самое большее два вечера

в неделю, а Галя говорила по телефону: «Арно опять идет на день рождения». Мы-то знали, какие у Арно дни рождения, потому что, когда Галя по обычаю уехала на все лето, Арно каждый вечер являлся домой с бабой. И наконец Арно женился, Галя кричала по телефону, что девушка старше Арно на полтора года и что теперь это не страшно, теперь все жены старше своих мужей, а на самом деле, как сказал нам на кухне пьяный Арно, она была старше его на пять лет.

Надо было видеть, как Галя скакала, когда выяснилось, что у жены Арно, которую звали Мириам, ребенок лежит неправильно, и это перед самыми родами. Галя как будто вспомнила былые времена, опять стала выходить из дому со свертками и узлами, только теперь это было совсем старое, еще немецкое барахло, какие-то мелкие вещички.

И опять началась телефонная катавасия, и мы узнали, что Мириам берет к себе оперировать женщина-профессор, которая не берет деньгами. Галя буквально задарила эту профессоршу. Совсем недавно сыну Мириам, кесаренку, исполнилось пять месяцев, и Галя опять поволокла к профессорше мельхиоровый столовый набор.

Галя помещалась на подарках. Она не ищет подарок перед самым преподношением, она покупает то, что ей интересно встречается в магазине, и прячет у себя. У нее лежат подарки по полгода, и наконец наступает момент, когда она торжественно везет их дарить, и дарит все то, что, по ее мнению, интересно и полезно тому человеку, которому она везет подарок. Она дарит подарки буквально всем — парикмахершам, нам с Мариной, всем родным и знакомым, всем тем, кто может быть ей полезен, и всем тем, кто уже когда-нибудь что-нибудь ей сделал в жизни, а таких людей было много. Совсем недавно она опять перетряхнула свои старые связи, потому что ее племянница приехала с юга, где провела четыре месяца с больным ребенком, и мы услышали по телефону, что племянница погубила себя. Племянница вскоре появилась у нас в квартире со своей девочкой, и Галя привела профессора, который подтвердил, что племянница Гали погубила себя, спасая здоровье ребенка. Галя с быстротой молнии устроила племянницу в лучшую онкологическую больницу и четыре месяца возилась с племянницей дочкой. Потом племянница уехала к себе в Вологду, как сказал профессор, доживать, и об этом Галя неделю кричала по телефону, в том числе и по междугородному.

Наконец у Марины лопнуло терпение, и она привела телефонного монтера, который сделал к нашему аппарату шнур длиной в десять метров, и теперь мы имеем возможность спокойно жить и спокойно разговаривать по телефону, и в квартире после многих лет крика и всеобщей осведомленности наступила тишина, и мы с Мариной спокойно работаем. Марина, правда, сейчас совсем с ума сошла: в свои сорок пять лет она пишет диссертацию, хотя какого еще ей рожна нужно? Денег у нее куры не клюют, должность большая, и, между прочим, если бы она захотела, у нее было бы кавалеров сколько угодно. Когда еще у нас был телефон в коридоре, она разговаривала по телефону так, что если бы я умела так разговаривать, то у меня давным-давно была бы уже толпа. Марина так как-то себя подает, так себя высоко ставит, как я ни за что бы не смогла.

За ней ухаживали многие, один был особенно постоянным, уже выходил на кухню чинить утюг и предлагал чинить нам утюги, и мы с Галей уже считали его за своего, пока Марина его не выгнала, потому что жена этого человека пожаловалась на него на работу, и у него были крупные неприятности, и Марина его выгнала, когда обо всем узнала. И с тех пор мы больше никого у нее не видели. Но он все равно поздравительные открытки присылает перед каждым праздником.

Теперь в нашей квартире тишина. Теперь Галя разговаривает по телефону в своей комнате, я свободно разговариваю в своей, Марина — в своей. Только иногда, приходя домой, я чувствую, что Галя меня ждет. Я даже не успеваю отпереть свою дверь, потому что Галя перехватывает меня тут же на пороге и говорит со мной минут сорок пять. Я не могу ее оборвать, потому что она помнит меня, когда мне еще не было годика, а ей было двадцать девять лет. Я была воспитана моей мамой так, чтобы помнить, что Галя нас подкормила во время войны, когда мой отец пропал без вести. Я знала, что я малявка перед Галей, а они все взрослые. Но иногда я просто вынуждена скрываться в своей комнате, не могу даже выйти на кухню поставить чайник, потому что знаю, что Галя меня караулит, чтобы высказать мне все, что произошло в последнее время с ее многочисленной семьей. Я могу не выходить, но у Гали много свободного времени, она на пенсии, и в один прекрасный момент она постучит ко мне и войдет со словами: «Ты вот упорно не замечаешь мой новый халатик, а я все-таки решила тебе показать, одобришь или нет?»

И Марина, которая с нами не разговаривает, вполне спокойно может войти ко мне и как ни в чем не бывало сказать: «Слушай, я бросила курить, если я буду у тебя просить сигаретку, то ты не давай, пожалуйста». А мне-то что, я говорю: «Как хочешь, но ты ведь не бросишь». «Вот спорю, что брошу». Через два дня Марина же приходит просить сигарету, я ей даю со словами: «Ну бери!» А она все равно утверждает, что бросит, и так и бросила, больше не пришла. Она очень сильная натура, я так не могу, до сих пор не могу бросить курить. Но у Марины, видимо, процесс в легких, и врачи категорически запрещают ей курить. Легкие у нее больные еще с войны, потом ей их залечили. Но сейчас, видимо, все началось сначала, потому что эта ненормальная целый день шелкает грецкими орехами. Даже ночью иногда слышен сильный треск из ее комнаты.

Тут недавно представилась невероятная возможность нам всем получить по однокомнатной квартире в разных концах Москвы. Кого-то прельстил наш дом довоенной постройки, наш огромный коридор и чулан и наши высокие потолки и вид из кухни на сквер. Но Марина и Галя как сговорились — обе разговаривала со мной уклончиво и неохотно, и дело провалилось. Галя, как более откровенная, сказала мне, что не может жить в отдельной квартире, боится. Тогда я предложила ей еще один вариант: роскошную комнату в общей квартире, — но Галя тут же ответила: «А мало ли какие соседи попадутся, тут я все-таки привыкла».

В общем-то и я не страшно гонюсь за отдельной квартирой, мне она ни к чему, так же как не пригодилась мне и отдельная комната, оставленная мне мамой.

Мама вот уехала — это плохо, а все остальное, в том числе и поворот ключа в замке, — это не вечно, это проходит и со временем у меня пройдет.

ПЕРЕЗИМУЕМ

Он привык рассказывать и делиться, она чтобы радостно слушала и удивлялась.

Ради этого они даже обедать ходили вместе, устраивались в пирожковой или в буфете обувщиков, он нес тарелочки, она вытирала своими бумажными салфетками вилки и ложки: была очень аккуратна.

Он играл роль хозяина дома (переноска и доставка тяжестей), она разыгрывала из себя хозяйку, создающую чистоту и уют.

И начинались его рассказы.

Он так привык к ее радостному удивлению, к ее небогатому личику с серыми глазами — женщина не первый сорт, но добра, нетребовательна, исполнительный сотрудник, разведена, и где-то там болтается, звонит ей на работу дочь старшего школьного возраста (а у него и жена, и дочь, и сын — полный набор для

счастья, плюс машина, квартира и садовый дом на огороде, выстроенный с большими муками и почти своими руками).

То есть рассказывать и рассказывать.

Она рассказывала тоже радостно, но все какие-то мелочи — вот дочке нашла преподавателей, дивная англичанка, как раз завкафедрой того самого факультета, куда поступает дочка (о, маленькие хитрости), вот ищет и находит средства, преподает что-то тоже, икебану, дорогое удовольствие, где только научилась (кратко: еще в прошлом году окончила курсы по субботам).

У нее нет мужа, то есть он есть, но он рождает нового ребенка от своей аспирантки и потому отсудил у Ирины Петровны полквартиры, Ирина Петровна об этом как-то вскользь упомянула, наплевать и забыть, ну, был суд, ну, отсудил одну комнату из трех, ну и пошел он к шутам, и — вот подлец — через месяц, выяснилось, он продает эту комнату поганейшей тетке, соседке по этажу, то есть эта работница ресторана (завпроизводством), воруяга и пьянь, будет ходить в свою комнату по их с дочкой коридору, мыться в их ванной и торчать в их кухне, куда только что были шиты клетчатые занавесочки, а цель у воруяги одна — заставить их переехать в двухкомнатную убогую квартирку на том же этаже, собственную квартиру этой бывшей подавальщицы-поварихи, окна на улицу, на автобусную остановку и светофор, то есть вечно режут моторы, плюс одна стена протекает.

Наплевать и забыть, как-то смутно щебечет Ирина Петровна за обеденным столом, глаза больные.

Но, говорит она через месяц, вся осунувшись, оказывается, есть закон, что я первая могу купить эту комнату в собственной квартире и в том числе за ее настоящую стоимость, а не за эти тысячи долларов, есть закон!

Закон есть закон, зато у дочки не будет преподавателей в этом году, мы по уши в долгах, но ничего, перезимуем!

И ни разу не попросила денег у него, что характерно, только все худела и худела, а глаза немножко отводила в сторону, как будто бы она уже попросила у него денег, а он отказал.

Он бы и отказал, ремонтировал машину, купил на дачу материал для террасы, еле оборачивались.

А она и не попросила, все обошлось.

Перезимуем и так, все продала, зато деньги вложены в квартиру, и утерли нос уже родившему бывшему мужу с его кривой толстой, хотя и молодой женой, они тоже себе купили квартиру и все успокоилось, ходят с коляской в тот же университетам.

А собеседник Ирины Петровны очень вникает в ее дела, дает советы, нашел адвоката (правда, Ирина Петровна туда не дозвонилась и в спешке взяла другого, тоже неплохого, а, наплевать и забыть) — но главная его, сольная, партия впереди.

Он рассказывает и жалуется насчет детей, что не хотят вкалывать и даже ездить на дачу, ни тебе приколотить гвоздь, ни (летом) полить или привезти хлеба из магазина на велосипеде, в гробу они видали труд, а они ведь с женой все детям, все им, а кому же еще?

Сыну семнадцать, дочери вообще девятнадцать, состоят при телевизоре безотрывно и дерутся с братом за телефонный аппарат, типа кончай базарить, я жду звонка.

Домик же, дача, двухэтажный такой домишко, каждое бревно вымечтано, выкуплено, привезено, ошкурено, каждая дощечка выстругана и прибита, светится весь на закате, как яичко этот дом, как украден.

А детки приезжают без желания, спят оба как убоина по разным этажам, утром у них в двенадцать завтрак.

А завтрак-то: свой салат, огурчики из-под пленки ранние, двухэтажный парник, висят помидоры как виноград, сладкие!

Весь поселок ходит к ним смотреть.

Ирина Петровна радостно слушает, жуя капустный салат зимой в буфете обувщиков.

А детки продирают глаза, пощурют вилочкой и весь разговор, колбасы кинут в пасть, кофею нальются и в ящик устались.

Они, видите ли, не коровы сено ваше есть!

Единственно о чем их просят: ребята, пошли бы прогулялись в лес, грибов косой коси, бабка бы замариновала, сами зимой бы покушали!

Все вон в четыре утра в телогрейках и сапогах добровольно к лесу направляются чешут пятками.

В гробу мы видали этих ваших добровольцев, отвечают они.

И соседи им не нравятся, такие же, говорят, куркули, как наши папочка с мамочкой.

Почему куркули, поясняют: они тоже не разрешают привезти на дачу друзей (вагон пьяни и курящих девок, которые норовят все в доме облевать, хату поджечь, а парники выжрать в один прием).

Теперь у них созрело условие, у детей: да, мы будем ездить к вам на дачу, но чтобы вас там и духу не было и бабушки тоже.

Ирина Петровна с сочувствием слушает, ей добавить нечего, она пугливо возражает, что и Валечка, и Володя приличные ребята, студенты, хорошо учатся, пусть живут как могут, какой спрос.

Учатся-то учатся куда папаша засунул, отвечает собеседник, каждая сессия мы с матерью как на военном положении, в спальне у себя в окопе отсиживаемся, уши заткнув.

Но так все живут, ладно, как бы возражает всем своим видом Ирина Петровна.

Ее дочь (без преподавателей) день и ночь сидит, учась в своем десятом классе, готовится в жалкий пединститут, в университет и соваться нечего, там все распределено давно, как в каждом конкурсе.

Ирина Петровна же преподает на своих курсах икебаны, несмотря на сносную зарплату: никаких денег не хватает выплатить что заняли.

Ни одного вечера, ни одного выходного, а тут наступает весна, экзамены дочери, дороги длинные из конца в конец, метро и автобусы.

Он отвечает: хорошо, что у него машина, и тут следует целая поэма о ремонте, и что сын разбил тачку сразу после покупки, спасибо не разбился сам: вот подлец, влез в карман, выкрал вечером ключи, якобы пошел за конспектами к товарищу, а позвонила им уже только из больницы медсестра, чтобы не волновались, швы наложены, какие швы?

Они с женой к тому времени уже сделали заявку в милицию о краже новой машины, переволновались и второпях не обратили внимание, где ключи: машины-то нет и за фигом ключи.

Что касаето Володи, то он и не так еще умудрялся исчезать, мать уже привыкла и даже не кричала на него, когда он приходил среди ночи, рылся в холодильнике, ронял банки, а потом залезал под душ на полчаса. не давал никому спать.

Кричать на него было себе дороже, он тут же начинал орать дурным голосом.

Ну слава Богу, машина разбилась не совсем, фара и дверь, и слава Богу, сын жив, а сестра его встретила утром из больницы плевком в бинты.

Такие отношения, с детства дрались, ревновали друг друга как звери, что дают одной, то надо и другому.

А как радовались в свое время, что после доченьки жена принесла из роддома сыночка, это тебе живой кукленок, гово-

рили дочери, ей было два года, и она все просила отнести его обратно в больницу: ну дети дети и есть, все такие.

Ох, говорит Виктор Иванович, допивая кофе в пирожковой, что и говорить.

А Ирина Петровна ему улыбается сочувственно, женщина неприметная, как серая утка, но глаза хорошие и улыбка приятная.

Жена гораздо эффектней, хотя и злобнее, но жена — это святое.

И практикантка Мариночка взята к секретарше отвечать на телефон.

Все в ажуре.

Виктор Иванович каждый раз привозит из-за границы всем дамам пустячки, Ирине Петровне тоже перепадает, какие-то пестрые платочки с городскими видами, духи, брелки.

Один раз даже привез Ирине Петровне спецзаказ — красивую шерсть на шапочку, у Ирины дочь вяжет.

Ну и Ирина Петровна не раз выручала шефа, когда американцы приезжали, вернее, один Джон, его буквально некуда было сунуть, гостиница оказалась днем позже, шеф даже хотел взять его к себе, но дома опять было военное положение, сын женился, когда ему стукнуло 18 лет!

Дождался и женился, поскольку у него будет ребенок.

Скандалы ежевечерне, а мог и воспользоваться присутствием американской стороны и притаранить жену с животом, тем более она старше его на год, склонила к сожительству, опытная баба, 19 лет с гаком.

И американец Джон был привезен на починенной машине шефа в дом к Ирине Петровне, пожил у нее двое суток, а потом был перевезен в гостиницу для аспирантов.

Ирина Петровна за очередным ланчем у обувщиков сказала:

— Джон опять переехал к нам, там в гостинице тараканы, и его кто-то ночью искусал.

Ну добре, ну переехал, далее: он просит съездить с ним в Загорск в выходной.

— Не в силах, — выражает шеф чуть не плача, этого Джоню ему вообще навесил парень из ЮНЕСКО, курирует нашу программу по Енисею, это его Джоня, а не наш, а парень из ЮНЕСКО умотал к себе в Женеву и с концами.

Тем более что они расселились на два лагеря — теща охраняет дачу, а они с женой городское хозяйство, а то молодые заселятся, сын тут приходил за вещами и кричал, что у его Маши есть

где жить, семиметровка у ее папы с мамой, и он и Маша будут там жить и растить ребенка, и что она не пустит его родителей на порог семиметровки посмотреть на внука, вот так.

Но это все одни слова.

И дочь ходит мрачная, как же так, Володю обидели ее любимого, выясняется, что она всей душой за него.

Тут просматривается далекий ход, может, она тоже хочет привести в дом какого-нибудь сибирского паренька, ошивался тут один, даже приходил на день рождения жены, все буквально насторожились.

А Джоня съездил в Загорск, его отвезла на общественном транспорте исхудавшая Ирина (дочь сдает все-таки в университет), Ирина бросила на один день свою икебану, только она по-английски говорит слабо, ее язык французский.

— Так это тебе и практика, — возражает шеф. — И дочке твоей.

Ну вот, оказалось, что дочь все-таки поступила в университет, почти что, недобрала полбалла, Ирина Петровна с командой таких же родителей бегают по министерским кабинетам, каждый год, говорят, принимают таких десять человек.

И Виктор Иванович за обедом (уже осень, Ирина пришла из отпуска, загорела, жила с девочкой в каком-то пансионате) спрашивает как дела, а Ирина Петровна говорит: сначала вы, что у вас.

Виктор Иванович рассказывает, что жизнь как бы остановилась, сын резко ушел из дому к жене, хоть они возражали и прятали паспорт, так; теперь молодые сидят втроем на семи метрах, родился сын, и та жена (девятнадцати лет) не пускает бабу с дедом (то есть шефа и его жену) уже второй раз поглядеть на маленького.

Первый раз когда встречали их из роддома на своей машине, сын, правда, нанял такси и на нем увез свое сокровище, но жена В. И. все-таки краем глазика увидела ребеночка, и ее буквально зацепило, теперь плачет и звонит ТУДА сыну, но они не уступают; сидят голозадые мамаша с папашей, и что они там едят?

Уже командировали тещу с грибной и кабачковой икрой, мать нагрузила полную машину яблок (не своих, правда, свои яблоньки еще маленькие сидят), и в результате сама увязалась за ней, обе все это перетаскали вместе с тещей на кухню к тем родителям, молодые даже не показали и не показали мальчишка, это уже был второй раз.

Жена В. И. даже плакала у них на этой кухне, потому что узнала из чужих уст, что Володя ушел из института и пошел работать на инофирму водителем.

То есть он должен идти в армию, надо принимать меры.

Проходит еще месяца два, и Ирина Петровна как бы между делом сообщает, что Джон опять в Москве и шлет большой привет Виктору.

И по традиции живет у них.

— Ну, повалился горшок по воду ходить, — весело отвечает Виктор Иванович, — он как честный человек должен теперь жениться.

— Ой, — отвечает Ирина Петровна, — это так сложно, такие формальности, собирать документы, посольство, Бог знает что.

В. И. столбенеет и смотрит на свою собеседницу, смотрит на нее как бы впервые.

И видит типичную русскую бабу, полноватую, с серыми глазами, сейчас они у нее синие, потому что на шее голубой шарфик; видит спокойную, добрую русскую женщину, какую-то даже умную, терпеливую, жалостливую.

В какой-то степени нестигаемую.

Видит ее простенькую прическу, бесцветные так называемые русые волосы, но ему кажется, что перед ним блондинка с синим взором и вообще русская красавица.

И внезапно что-то колет его в сердце, какая-то жалость или обида, что-то типа «ИМ все нужно наше», а потом какое-то чеховское «Надо жить и работать».

И В. И. говорит:

— А у Мити нашего, у внучка, уже ложечка во рту звякает: зуб режется. Они у нас были в воскресенье, ночевали. И ничего, он всю ночь проспал. Она его грудью кормит, не то что все эти современные.

Ирина Петровна вздыхает:

— Ой, а моя вчера пришла в одиннадцать, говорит, с Сашкой смотрели в телескоп. Какой-то Сашка с их факультета. Причем я ей верю.

— Презимуем, — говорит Виктор Иванович.

ТАЙНА ДОМА

Я никогда не забуду, как я приехала с детьми в забытый властями городок с целью как-то просуществовать летний месяц. Это был, однако, старинный западный городок с дорогами хоть и частично грунтовыми, но зато не без моря в тридцати километрах, не без старинного замка, объекта съемок всех киностудий, находящихся к востоку, а к западу от городка шумело только море, откатываясь к Финляндии. Время было самое летнее, народ в городок понаехал, и нас поселили в дом, предназначенный на снос. То есть там все было: и вода во дворе, и газовая плитка от небольшого баллона, но уже что-то навесило этот дом, какое-то запустение или забытье. Нам показали комнату в четыре параллельно стоящие койки, а солнышко грело в окна, вечернее, заглядывающее глубоко в комнату, — в общем, мы, как всякие беженцы, были рады. Какой-то торопливый лоск был наведен: и занавески висели, и пол оказался

помыт недели две назад, так что его покрывала тонкая патина времени, но ни соринки, ни лишней бумажки не нашлось. Мы не знали, сколько в доме чего, сколько комнат и так далее, в нашей комнате было три двери, из кухни в какие-то глубины тоже вела лишняя дверь, и еще лестница наверх тоже присутствовала. Какие-то тайны скрывал этот дом, как скрывал бы любой старый дом, — отзвуки голосов, чьи-то смерти, чье-то одиночество. Дом заканчивал свое существование, это было ясно по общему трагическому запустению, несмотря на попытки как-то замазать это обстоятельство, подклеить, прибить, зашпаклевать. Штук двадцать деревянных плечиков висело на гвоздях скелетообразной гроздью, как бы ворох пустых ключиц, след от исчезнувших платьев и шкафов.

Мы бросили вещи и отправились, разумеется, к замку, куда и прибыли на торжественном закате. Незаходящее, стоячее солнце встретило нас и проводило все в том же виде, это были остатки белых ночей, но дети ничего не понимали и бушевали как днем, кричали, устроили концерт на открытой пустынной эстраде, совершенно сбитые с толку, улеглись при полном свете вечерней зари в свои новые ложа, на старинные проваленные панцирные койки, и только перед сном пожаловались, что муха жужжит. Я ответила первое попавшееся, что это муха попала в паутину. Действительно, такое и было впечатление: энергичное, даже мощное жужжание перемежалось небольшими паузами.

Городок отошел ко сну, тишина стала полной, я лежала, вперившись в абсолютно светлые окна, и слушала этот жуткий с паузами мушиный зов: бззз! — молчание — тжжжбззз! — ззз! — молчание.

Потом я не выдержала и полезла буквально на стенку, искать паутину. Нашла в углу даже тяжелую мухобойку с резиновой, здоровенной, как коровий язык, боевой частью. Все напрасно.

Зззз — тжж — взззз! Бззз!!! — и ничего, пусто.

После детального осмотра потолка, пола, стен и щелей, после обслушивания обоев ухом я шлепнулась на свою панцирную сетку и стала соображать, что же это такое зундит, верезжит или сверенчит, поскольку звук-то был неясный, только отдельные прорывы слышались как бы над самым ухом: взззз! взззз! — и молчание.

Потом оказалось, что это не молчание. После явственного дребезжания (как будто звук с помехами, что-то вроде, трещавшего радио, которое говорить-то говорит, но на некоторых высотах дает как бы дребезжащий звон) — так вот, после «вззз»

или «скрр» я услышала отголоски, вроде бы торопливый разговор вдали, на улице. Какие-то женщины взволнованно и монотонно гудели, бебенили, зудели все одно и то же, убеждая кого-то. Мне даже представилась уличная сцена, как будто бы много баб что-то доказывают молчащему милиционеру, причем все это передается по плохому радио. Я стала различать голоса. Потом опять пошли помехи, радио затрещало и сделало «вззз!».

Я начала понимать, что где-то в соседних комнатах работает радиоточка, и стала терпеливо ждать двенадцати часов, когда наконец все стихнет в ожидании боя часов и еженощного мощного гимна. Но что же это за радиопередача? Что за новости, какой такой радиоспектакль с полным единством места, времени и действия, когда идет буквальная трансляция какого-то общественного скандала, связанного явно с женским движением?

Время перевалило за час ночи, а это плохое радио все митинговало. И вряд ли это могла быть какая-то западная радиостанция, я сама когда-то работала на радио и знаю, что столько эфирного времени на одно событие не дадут, тем более что это все-таки была явно муха. Но болтовня? Назойливая человеческая, женская болтовня не утихала, а ведь стояла глубокая ночь. Мухи-то ночью спят. Меня не обманешь! Я встала и пошла по дому искать радиоточку. Как в замке Синей Бороды, я робко отворила неизвестно куда ведущую дверь и из кухни ступила в запыленное пространство, где находился колесами вверх велосипед, где стоял пустой стеллаж и письменный стол с какой-то дребеденью. В окнах устойчиво стояла заря. В этой комнате было тихо. Отсюда вела еще одна дверь, загороженная всем чем только можно. Надо было плюнуть и уйти, но воспоминание о сумасшедшем радио, среди ночи трещащем у меня и у детей над головами, придало мне сил. В полном забвении я начала перетаскивать тазы, велосипед, мебель и наконец рванула на себя заветную дверь. Прямо под дверью я увидела кровать, и головой ко мне, смежив веки, в этой кровати спал седенький маленький старик, и, как я поняла, с ним было что-то не в порядке. Он был просто крошечный. Совершенно белая головка его была в изнеможении откинута, и весь он излучал усталость. Я затряслась и быстро прихлопнула страшную дверчку, однако по прошествии нескольких секунд сообразила, что это спит мой сильно утомленный сынок Федя, который перед тем еще не спал целую ночь в поезде (втерся в доверие к проводнице и почти

всю дорогу продежурил с ней вместе. Какие-то у них там были дела с флажками, плюс к тому еще и я упала с верхней полки, желая прикрыть одеялом дочку, спавшую, разумеется, глубоко внизу, и не заметила перепада высот, просто шагнула к ней, и все. Дети проснулись, разумеется. И в довершение всего к нам в купе спустя час, под утро, пришел селиться молодой военный и предупредил, что уйдет рано. Так что сна не было, и бедный сынок показался мне старичком в болезни. Тьфу, тьфу!)

О, хлопоты и суета матерей!

Я вернулась, посрамленная, к своей митингующей мухе, поправила на детях одеяла и прослушала лежа еще множество выступлений, жалоб, вскрипов и злобного ропота. Может быть, пчелы? Но пчелы-то, как мы знаем, ночью-то спят! Я стала опять склоняться к мысли о радио, но там тоже есть все-таки перерывы, музыка и голос диктора.

Утром дочка, прежде чем проснуться, стала просить вынуть муху из паутины, потому что жалко всех, комаров, и мух, и всех. Пятилетнему ребенку всех жалко.

А муха все бунчала и дзыкала.

Днем к нам пришли две милые женщины, видимо, хозяйка и уборщица, или уборщица с подругой, я так в этом и не разобралась, поскольку здесь, в этих западных краях, все и одеваются и держатся скромно и с чувством собственного достоинства, то есть благожелательно. Я вообще ни в чем тут не разбиралась, ни чей это дом, ни кто кому кем здесь приходится, и в особенности в том, кому принадлежит роскошный белый двухэтажный, почти трехэтажный дом, с гаражом в подвальной части, с длинным балконом и чисто вымытыми окнами в большом количестве, а дом этот возвышался в двух шагах от нашего брошенного, от его выгребной ямы с покосившейся трубой, от его колодца со ржавой подозрительной водой, от его запахов и, наконец, от его чердака, который мы, три женщины, дружно посетили и не обнаружили там ни включенного радио, ни пчел, а обнаружили подкладное судно, которое появляется в доме при известных обстоятельствах, после чего уже все выносят и выбрасывают — матрац и все остальное.

Мы дружно посетили чердак, две не понимающие ничего по-русски женщины и я, суетливая мать своего временного гнезда. Мы с детьми на все лады изображали, как «дзз» и «взз» всю ночь, и тыкали пальцами в угол комнаты, и прислонялись ушами к обоям, но почти ничего не было слышно. Городок

проснулся, а городок-то был механизирован, несмотря на свое местоположение на краю земли, и все ездили на машинах, зундела циркулярная пила, бзыкали мотоциклы молодежи, верещали под окнами бегающие дети и так далее. Женщины, воспитанные и улыбающиеся, ничего не услышали. Мы обошли весь дом, а в нем и было-то всего три комнаты, просто в каждой комнате находилось по три двери, отсюда и впечатление замка Синей Бороды.

Мы дружной толпой вышли на улицу, обогнули дом, и тут обнаружилось, что в щель влетают шершни. Они деловито гундели, тихо по дневному времени, они были толстые и мохнатенькие, и все мы издали охотничий клич типа «вижу цель!»

Дальше все решилось очень просто, обе женщины объяснили, что хозяин придет вечером в шесть часов. Я предположила, что немного прыснуть на них хлорофосом — и они улетят. «Нет», — сказали улыбающиеся женщины, они сомневались, что хлорофос повлияет на шершней, это было видно по их улыбкам.

Мы с детьми долго мыкались по городку, ища автобус, как немые калики перехожие, нам никто не мог толком ничего объяснить. Тяжело без языка! Чувствуешь себя виноватым и лишним рядом с чужим куском хлеба. Наконец мы приехали на автовокзал, купили билет на пять часов на автобус, я встала в очередь в буфет, а детей посадила в очень милом зале ожидания, где было прохладно и царила приятная полутьма. Потом прибежала дочь, ей надо было кое-куда, мы нашли в подвале это заведение, соответствующее средневосточным стандартам (увы, некому работать), и затем поднялись опять на запад, опять я усадила их на скамейку и знакомым путем помаршировала в буфет, в тихую, степенную духоту, где стояла длинная, терпеливая западная очередь, сохраняя дистанции все до одной от человека к человеку.

Мы с детьми попили, поели, завернули с собой два пирожных в бумажку, к вечеру оба пирожных были у меня в сумке всмятку и крошку. Это уже происходило в тридцати километрах пути, на берегу моря, на пляже, на белом песке среди сосенок и отдыхающих, которые (отдыхающие) перекрикивались на непонятном языке и выглядели очень прилично.

Мы попили водички из купленной бутылки, поделили крошки и мятые кусочки пирожных, дети купались в мелком море, солнце все стояло и стояло, грело и грело, вода была просто как кипяченая, но я забеспокоилась, когда же уходит последний

автобус. Путем опроса, испытав законное чувство лишнего здесь человека, я все-таки выгребла из обломков информацию «семь тридцать», мы собрались и потащились на остановку, где ждали еще полчаса. По малолетству дочери ей уступили место, и мы даже с шиком примчались к месту ночлега, в наш старый дом, где и обнаружили следы побоища. В нашей комнате зверски пахло хлорофосом, как будто бы его щедрой рукой прыскали повсюду и потом распахнули настежь все окна. Если бы хозяин прыскал только в гнездо, он не стал бы открывать окон в нашей комнате, верно? Гнездо же со стороны улицы, верно? Но хозяин, опрыскав теперь уже наше гнездо, выкурил нас, таким образом, тоже, и мы расположились всем гнездовьем в соседней комнате, где все было приготовлено к приезду отдыхающих и стояли две заправленные коечки. Я хлопотливо перетащила постели — немятые в нашу комнату, а наши лежаные — в новую, сама легла на полу, и наконец мы успокоились на третью ночь зыбким, жарким сном, и весь этот сон я защищала и горячо выгораживала приснившегося мне великого писателя, ставшего вдруг таковым из полного ничтожества. Почему мне вдруг приснилось такое его будущее — непонятно, наяву это было полное, зловредное ничто, парализованное вечным страхом — за свою жизнь, за свои легкие, за свое будущее, он частенько говаривал, загораясь, что проживет недолго, и под этим лозунгом довел до рака груди молодую красавицу жену, так, по крайней мере, говорили люди — она умерла после пяти аборт, и все ушло в песок, вся ее жизнь, он ее бросил, не любил и бросил — а она была ссыльное дитя, лагерное, и жизнь в ней, видимо, и так еле теплилась, а потом ушла в песок — а у него тем более. Что же мне приснилось, что он гений и я его защищаю? Свою дочку он тоже покинул, ее воспитывала далекая тетушка, алиментов, по разговорам, знать не знал, в общем, гиблое дело, опять-таки жизнь без единого знака порядка, совести, долга. А впрочем, по отношению к нелюбимой женщине и многие великие вели себя как попало и губили, как все сильные губят мешающее им слабое, как я погубила несчастный мушиный рой, помешавший мне спать.

На следующую же ночь я убедилась в этом. Мы перекочевали обратно, все наладилось, дети уснули, в окнах стоял немеркнущий свет, и вдруг раздался живой стон издалека, из преисподней. Тот, кто стонал, стонал изредка, мучительно, горестно. Он был абсолютно один и всеми покинут, это была она, мушиная мать. Там, где раньше кипела трудовая, озлобленно-хлопотли-

вая, сварливая живая жизнь, там теперь все отжило. Улетели, испугавшись хлорофоса, все трудовые пчелы, а она, матка, осталась одна, ибо до последнего, видимо, вентилировала, проветривала крылышками свое еще спящее в сотах потомство, молодых, чтобы они не задохнулись. Кто мог летать — улетел, а она осталась и проветривала. Ее стон был не стон, а гудение еще живых крылышек на предмет проветривания, только проветривания помещения. Выхода у нее не было, она должна была проветривать.

Вечером следующего дня мы познакомились с хозяином обоих домов. Он был, как и ожидалось, очень крепким загорелым мужчиной, крестьянином западного образца, а на данный момент — шофером грузовика. Он повел нас осматривать новый, роскошный, в семь комнат и две мастерские дом, дом на трех уровнях с гаражом, сауной, чердаком для сушки белья! Еще и во дворе стоял такой же белый хозблок, и теплицы имелись, и клубничная поляна, и два садовых кресла на лужайке, и заросли малины — все.

— О, такой дом, для него нужно иметь много детей! — выпалила я и попала точно в самое сердце хозяина. — У вас много?

— У меня трое мальчиков, — сказал хозяин без большой помпы и стал перечислять: восемнадцать лет, тринадцать, семь лет.

— О! — сказала я. — Когда нам давали квартиру на троих детей и на нас, тетенька дает ордер, а сама смотрит и говорит: у вас старшему восемнадцать, скоро и ему надо квартиру, женится, и все. И точно... — и не успела я договорить, имея в виду очередную бестактную житейскую мысль, что сын скоро приведет жену, та детей, и надо будет опять что-то думать насчет них, — как хозяин прервал меня на самом интересном месте. Было видно, что не эти заботы гнетут его.

— ...Вот.

Он меня привел в гостиную, где уже все было обклеено обоями, и все пятьдесят метров сияли на две стороны — на юг и на север — плюс широкий проем вел на кухню, а там открывались новые перспективы на запад, где цвел ранний закат, а там еще видна была лестница, и так далее, и так далее.

— Но это еще долго делать, — сказал хозяин.

— Ничего, — ответила я на это. — Говорят, что надо всегда что-нибудь не доделывать в доме; когда дом полностью закончен, жильцы умирают, — вдруг ляпнула я.

— Нет, — ответил он. — Здесь еще много работ. Когда начинают отделявать снизу, то много оставляют наверху, и так остается. Я начал отделять сверху, — сказал он, и глаза его блеснули умом.

— А тот дом, старый, вы куда?

— Придется разрушать, — ответил хозяин, — полагается так. Мешает новому дому.

— А ему сколько лет?

— Девяносто три. Я его купил у двух старых... женщин, да. Одна умирала, девяносто три лет. Она была в блокаде, Ленинград, да. Потом приехала к сестре и тут умирала.

О, тени, тени, о, чердак с подкладным судном, о, привидения и стоны умирающих! Но посмотрим, как повернулись события тут же, через секунду.

— А вы долго строили этот дом? — задала я еще один, как оказалось, большой вопрос. Здесь все вопросы были неуместны, как оказалось. Хотя этими вопросами я старалась похвалить, я старалась укрепить этого человека, который разрушался на моих глазах, сказав вот что:

— Прошлый год весь пропал, да. Я разводился с женой.

— С женой? — глупо спросила я.

— Да, так.

— Тяжело, — вымолвила я, но он не дал обстоятельствам совсем уже подавить его.

— Женился еще раз.

— Еще раз?

— Да, так, — сказал этот несломленный человек, построивший дом неизвестно кому, живущий не здесь, без своих милых детей, которых он перечислял, как Гомер корабли.

— Ну что, больше не жужжит? — весело спросил он меня.

— Нет, одна только ночью стонала тут.

— Не будет. Я им прямо так вниз: пш, пш, — показал он процесс пшиканья.

А он, видимо, понял, что они живут не со стороны улицы, а внутри, они забралась подальше и побезопасней, почти к самым обоям, и он пшикал у нас в комнате над детскими кроватками вполне простодушно, как людоед. Тем более что влетали они с улицы и могли укусить, если пшикать оттуда, со стороны входа, а в комнату еще ни одна не проникала. Это было безопасней во всех смыслах для него.

Дальше он вдруг сказал, что это у его новой жены трое детей.

— Ваши?

— Да, так.

Я стала быстро просчитывать в уме эту ситуацию, как это так, всю жизнь он копил детей на стороне, будучи женат на другой? И потом раз, бросил эту, женился на той? Восемнадцать, тринадцать и семь лет назад родил детей и теперь их только признал?

Однако тут же я поняла, что его плохой русский язык плюс естественное мужское и человеческое желание подправить ситуацию хоть на миг, хоть на секунду, на сейчас, а потом будем разбираться — что все это вкупе взятое ввело меня в заблуждение. Все-таки развод у него был с тремя его детьми, они и не показывались ни разу за ту неделю, пока мы тут жили, пока он после работы возился с полами в своей огромной гостиной, где можно было бы собрать сто гостей, но ему этих гостей не собрать было, потому что человек наживает за свою жизнь только одних гостей на всю семью, и, когда семья распадается, распадаются и гости. Новая жизнь начиналась у моего хозяина, без половины родни, без гостей и без своих милых детей, что самое главное.

Но: если он строил дом, еще будучи женатым, то полдома принадлежит жене, а детям? Им тоже что-то принадлежит?

Тут уже я потерялась мыслями в деньгах, перепутала смерть с разводом, алименты с наследством, заживо похоронила хозяина и стала делить этот огромный красавец дом: так, так... и так. И шиш в ответе.

А он, хозяин, был живой и тихо копошился, дружно и тихо копошился с той, кого я приняла за домработницу, потому что на вопрос «это ваш дом?» она ответила «нет»... но она-то имела в виду, что это дом мужа.

Они были вдвоем тихая, молчаливая, трудовая и согласная парочка, они то возились в доме, то на чердаке над нами, и вытащили оттуда шерсть и прислали мне с детьми на пробу, куплю ли я ее. Вили, вили гнездо, отлетевший рой, бросивший матку с молодыми где-то там, в неизвестности.

На следующую ночь моя муха уже умерла.

СИЛА ВОДЫ

Все случилось как во сне. Позвонили. Восемь вечера, все дома. Маринка, бабуля. Позвонили: телеграмма. Бабуля, тяжело ступая, пошла открывать, отодвинула Маринку (всегда первая у двери), спросила еще раз. Открыла дверь. Пока пошла за очками расписаться, вернулась, а дверь закрыта. Трое у дверей, в руках ножи. Бабуля стояла молча, в очках, онемев. Маринка кинулась к бабушке.

— Дед! — без голоса закричала бабуля.

Дед встал от телевизора как был, в трусах и майке, начались «Спокойные ночи», Маринкино время.

Он вышел в коридор, один из мужиков с ножом двинулся и толкнул его обратно.

— Вы что, — загудел дел, — вы что безобразите... — замолк там, в комнате.

Все трое были одного вида, в куртках светлого цвета, какие-то небритые. Второй тоже пошел в большую комнату, к деду. Третий загнал бабулю и Маринку в ванную, полотенцами завязал им рты, руки и ноги у щиколоток. Затем погасил свет, работал грубо, руки были страшные, быстрые, как какие-то змеюки, дергали, толкали, копошились, тряслись. Он запер дверь ванной и ушел, грубо выругавшись, потом вернулся и погасил свет.

Сюда, в ванную, где они обе стояли в тесном пространстве, проникали звуки из соседних квартир. Внизу играла на пианино Маринкина сверстница Вероничка, с ней занималась ее вечно кричащая мама. Из комнаты, где находился дедуля и мучители, доносились звуки какой-то возни. Маринка тряслась, прижавшись тельцем к бабуле, и бабуля стала тихо, сквозь полотенце, уговаривать ее: «Солнышко, кровиночка моя, ангел мой», Маринка еще сильнее прижималась и начала плакать. У бабули страшно болело все ее грузное, сытое тело. Изогнувшись, бабуля встала спиной к ванной и, преодолевая боль, стала поднимать связанные сзади руки. Через пятнадцать минут Вероничкина мать пойдет поведет в ванную свою дочку, Вероника играет до восьми пятнадцати, в восемь пятнадцать принимает душ, в восемь сорок пять она смотрит вторые «Спокойные ночи», в девять она в постели.

Маринкина мать всегда ставила бабуле и дедуле Вероничку в пример, поскольку Маринка ложилась поздно, как результат не высыпалась... Что же делать, если у ребенка не было сна, все после смерти отца.

Очень болели у бабули ноги. Маринкина мать была молодая вдова и чужой человек, а Гришенька, сынок, умер в больнице от белокровия, облучился на полигоне молодым офицером, был ракетчик. Пять лет с пенсией в сто рублей старался жить, белокровие врачи не признали как профессиональное заболевание, ракетчики имели дело с шахтами и с ядерными боеголовками, Гришенька ничего не рассказывал, был бедный облученный лейтенант, инвалид первой группы.

Маринка задышалась под полотенцем и топала ножками, мотала головой, как безумная, а бабуля извернулась но-новому (как же мешала стиральная машина!) и легла верхней половиной туловища на ванну, все что могла, и стала перетаскивать отяжелевшие, затекшие связанные ноги в ванну, и тяжело грянулась боком на дно.

Бабуля понимала, что их всех убьют, в квартиру поселят новых, и нижние соседи будут скандалить и с ними: что делать,

сквозь мокрый пол к ним вниз регулярно просачивалась вода. Как-то невестка набирала воду в стиральную машину и зазевалась, вовремя не отключила, и тут же прибежали снизу дед Вероники с диким криком «открывайте!» и бабка Вероники, невестка стояла белая как мел с тряпкой в руке, собирала, дура, воду с полу, ее и поймали на том, пробежали в ванную, а там вода стоит на два пальца от пола. Вызывали слесаря, составляли акт, платили за ремонт. Другой раз опять невестка положила шланг душа на край ванны у стены, там тоже была щель, всюду были щели, что делать! Из шланга капало, капало всю ночь, утром нижние, видно, пришли умываться, а потолок опять потек, опять вызывали слесаря, опять ремонт, дорожка-то протоптана. Два раза платили за полную побелку их ванной, ходили на пыпочках, ножки стульев обмотали тряпичками, чтобы не греметь, Маринку приучали не петь громко, не стучать ножками, телевизор пускали тихо: слышимость! От них, снизу, тоже все было слышно, как мать кричит на Веронику вплоть до оплеух и как Вероничка плачет с визгом, все из-за музыки.

Невестка — события с водой были после похорон — денег на ремонт не дала, Маринку забрала, ушла к себе в свою квартиру, к своей дураковатой матери, они две бабы жили как худшие враги, невестка не могла оставлять Маринку на нее, та с ней не гуляла, а гуляла сама после работы с мужиками, люди говорили. И еще она обзывала невестку по-тюремному, плохие отношения были у них, как у двух собак, все же однокомнатная квартира и две дурные бабы и после похорон, обе одиночки, не приведи Господь...

Бабуля ухнула в ванную всей своей тяжестью и, конечно, убилась, стонала, Маринка сквозь кляп старалась рассмотреть ее во тьме, нагнулась над ней и пищала, но кто услышит? Кто услышит? Внизу раздавались звуки музыки и мерный голос Вероничкиной матери, считающей громко: «И раз! И два!» Потом музыка прекратилась, раздались крики обеих музыкантш, спор и визг.

Деда не было слышно, только что-то глухо топало и стучало. Деда, видимо, били, но он молчал — рот, что ли, тоже заткнули. Дед-то был заядлый сердечник, толстый, тоже сырой пенсионер, работали с дедом последнее время по договору в «Утильсырье», чтобы перед пенсией заработок был повыше и чтобы помогать сыну, помогали, но не помогли. Деда устроил на эту работу бывший сосед (бабуля стала подниматься на колени), сосед по старой квартире, вечно ходил в куфайке,

а работал в утиле, а потом купил себе «Жигули» и кооператив самый первый из старого дома, не стал ждать, когда их развалюху на Трифоновской выселят. Съехал в Медведково, а дедуля, после того как Гришу перевели в Семипалатинск и он уехал туда без семьи, зная по слухам, чем может обернуться дело (хоть это и секрет, но все в армии все понимают, как Гриша говорил, все дубы и все шумят), — дедуля съездил к соседу в Медведково и попросился на последние годы поработать в «Утильсырье», сказал, что сына заслали на верную смерть и надо поддерживать его ребенка и жену. Володька-сосед хорошо относился к Гришеньке и один раз принес подарил беременной невестке книгу, видно, со свалки, читать можно ее было только в перчатках, а невестка брезгливая, щепетильная, даром что у такой матери росла, книгу хотела выкинуть, а Володька понял и сказал, что книга сейчас стоит дорого, а будет стоить еще дороже, и невестка смекнула, что подарок не простой, и пригласила Володьку выпить грамульку коньяка. Тут Володька сбегал за бутылкой к себе в темницу, как бабуля называла его комнату, и они посидели с Володькой, сами не пили, дед слизал ложечку коньяка, из-за сердца не мог. И Володька, довольный, что невестка, новое лицо в квартире, приняла его за человека (а все уже знали насчет кооператива, а «Жигули», вот они, красные, уже стояли у подъезда), — Володька стал хвастать и рассказывать сказки насчет заработков в «Утильсырье» и насчет того, что напарник принял от пионеров на сдаче металлолома серебряный самовар с медалями, весь погнутый, а он, Володька, нашел в ломе цветмета подсвечник, тоже серебро. И вот спустя года два дед взял бутылку и поехал к Володьке проситься на работу, мотор окончательно забарахлил у дедули, то есть сердце, и он больше не мог ездить по командировкам, перешел в инструктора, и резко снизилась зарплата, а сынок уже был инвалид и лежал в больнице какой месяц, и нужны были грецкие орехи, гранаты и черная икра, а невестка сидит с ребенком, внучка не ясельная, болеет. Володька попросил за это большие деньги, стервец, и устроил работать деда в заготхлам. Стали вдвоем зарабатывать, складывать в чулок, вот теперь все и кончилось, думала бабуля, стоя уже на коленях. Что она пыталась сделать — она пыталась открыть кран холодной воды, поддавая его головой, больной своей черепушкой. Кран поддавался туго, но все же струйка потекла, а потом и пошла хлестать. Бабуля той же обмотанной головой отвела хоботок крана на-

ружу, на край ванны. Струя теперь лилась частично на пол, частично лилась в ванну, дело было сделано.

Бабуля стала пытаться встать в ванне на ноги. Маринка сумела забраться на стиральную машину и там мотала головенкой туда-сюда, чтобы освободиться от кляпа. Бабуля наконец поднялась в полный рост в ванной, но перешагнуть через борт у нее не могла.

Ванна медленно наполнялась ледяной водичкой, ноги у бабули ооченели и ничего не чувствовали, особенно там, где накручено было полотенце.

Послышались шаги, кого-то, видно, дедулю, волокли под руки из большой комнаты в маленькую, где у них в шифоньере хранились облигации и сберкнижки, а также четыре золотых кольца впрок на Маринкину жизнь. Остальное, что скопили, дедуля держал в особом месте, в пустой ножке никелированной кровати, под отвинчивающимся шаром: бросал все вниз в ножку, как в трубу, и дело с концом. Внизу у ножки было колесико, и при надобности оно тоже отвинчивалось, но с трудом. Дед придумал это, чтобы спрятать от невестки, когда отношения стали очень плохие и после того, как он заплатил два раза за ремонт нижним соседям за невесткины потопаы. Только бы нижние не законопатили все швы! Нижние даже присылали малярку к ним в ванную после своего ремонта, чтобы зашпаклевать трещину в полу и за ванной. И пришли и предупредили, ихний дед, что на следующий случай протечки, они, если им сразу не откроют, будут вызывать не просто слесаря, а с милицией, и оформлять дело на выселение из жилого фонда.

Бабуля сумела пока что сесть на край ванны и, опираясь спиной о стенку, стала поднимать свои чугунные ноги, чтобы перенести их на пол. Маришка то ли потеряла сознание — лежит крючком на машине, как безрукий червячок. Не задохнулась она? — лихорадочно подумала бабуля. Если у нижних все законопачено, вода будет подниматься долго, часть ведь заливается в ванну.

Бабуля изо всех сил подняла ноги, но не смогла перенести их. Тут раздался приглушенный крик, бабуля рванулась и опрокинулась из ванны на пол, завалилась головой вниз, но как-то опрокинулась на Маринку. Получив неожиданный удар, Маринка глухо закричала и, видно, пришла в себя. Бабуля смогла перенести ноги на пол и встала. Воды было на полу уже порядочно, но Вероника все так же лихо барабанила по клави-

шам, и все так же издали слышался раздраженный счет и крики ее матери.

Марина крутила головой, отчаянно пытаясь освободиться, дергала подбородком, и вдруг бабуля увидела, что полотенце у Маринки сползло и она открывает рот, чтобы завизжать.

— М-а, м-а, — запрещающе замычала бабуля в знак того, что не велит Маринке плакать. — М-а.

Девочка только громко, судорожно вздохнула.

Бабуля, в свою очередь, начала дергать подбородком и крутить головой. Намокшее полотенце, отяжелев, стало сползать. Неожиданно освободившись, бабуля в первый раз полной грудью вздохнула и стала шептать внучке первое, что нужно было сделать:

— Ты зубкими-то... зубкими... или сначала давай-ка я... Повернись спинкой... ай, зубы плохи у меня...

И бабка, у которой своих зубов осталось во рту всего пять штук (на улицу она надевала протез), стала выкусывать, мотая головой, тяжелый узел полотенца на Маринкиных связанных за спиной ручках... Уж ручки-то как былиночки... Сама Маринка тощая как глистиночка...

Руки были такие худенькие, что странно, как на них держалось толстое полотенце.

Первое, что пошептала бабушка внучке, это закрыть дверь на задвижку. Тихо-тихо. Освобожденными руками Маринка действовала плохо и шелкнула задвижкой очень громко, но в этот момент что-то грохнуло, и раздался слабый старческий вопль: «А! А! О!»

Это кричал дед, и его звериный вой был заглушен ударом. Все стихло.

— Мы с тобой вот в воскресенье поедим на участок, — шептала бабуля девочке, стараясь заслонить этими словами то, что произошло. — Снег погребем от калитки... Снегу уже мало осталось... Приберемся в домике...

— Подох, — сказал голос.

— Давай этих... Бабка тоже знает, — отвечал другой. — Вскроем лохматый сейф-то...

Они загоготали. Из кухни послышался крик:

— Коньяк тут!

Это был не коньяк, а дедова настойка на грецком орехе, на перегородках, от давления. Шаги прогремели на кухню, наступила тишина.

Внизу смолкли звуки пианино, и очень отчетливо женский голос сказал:

— Ты, мразь, будешь сидеть здесь со мной безо всяких спокойных ночей до девяти вечера, поняла?

Ответом был тоскливый приглушенный плач и какие-то слова.

— Хорошо, учи Баха без меня, я уже не могу с тобой, гадина! Пианино снова загудело.

«Значит, мыться они не будут», — подумала бабуля и зашептала:

— Мариночка, попробуй развяжи мне ручки-те, а?

Она повернулась к Маринке спиной, и слабые детские ноготки вцепились в тяжелый мокрый узел.

— Ты че, — заорали в кухне, — ты че, мне оставь, блин!

Грубо, раскатисто засмеялись.

— Да у них еще полно, хромой говорил. дед много приносил... бабка должна знать заначку... Мы внучкой займемся, бабка сразу пасть откроет. Надо было сразу.

Мариночка царапала, тянула ноготками и зубами изо всех сил. Бабуля почувствовала, как слабеет узел, стала дергать, возить за спиной затекшими, больными руками.

— Та-ак, — с оттяжкой сказал голос, и в ответ захрипел, глухо застонал дед. — Та-ак, ну показывай, падло, будем ща твоих баб (он грязно, длинно выругался).

— А-а, — закричал дед. — А-а! Не на-до!

Он, видимо, пытался что-то сказать, но не мог.

И вдруг снизу, из нижней квартиры, из ванной, раздался очень ясный визг:

— Затопили! Опять, сволочи! Да что же это такое!

— Нина! — в ответ полным голосом закричала бабуля. — Звони в милицию! У нас мафия! Трое грабят! Звони! Милиция! Милиция! Нина! Сюда не ходи! Ноль два звони, срочно! Слышишь?

— Милиция! Будет тебя милиция! Вот сейчас будет! — доносился снизу панический голос. — Мало вам двести рублей, я из Москвы вас вышлю!

— Нина! Нина! Срочно милицию! У нас мафия! Воры! Мы тут связанные лежим в ванной!

— Я вам покажу! — кричала, не слыша, в полной истерике соседка. — Миша! Миша! Все! Вызывай милицию, пусть их отсюда... на хер...

К дверям ванной подскочили, дернули раз, другой, стали выламывать дверь.

Тогда бабуля громко сказала:

— Мы затопили водой нижний этаж, сюда сейчас придут соседи с милицией, у нее муж с оружием. Нина! Вы вызвали уже милицию?

И ответом был дикий крик:

— Вызвали, уже вызвали, не волнуйтесь! Сейчас будет вам все, будет милиция! Миша! Миша!

— Миша! — завопила бабушка. — Берите пистолет! Тут трое, у них ножи! Караул! Граа-бют!

И завизжала Маринка. как сирена.

Три пары ног сорвались и прогромыхали к дверям.

Наступила тишина.

Бабушка прикрутила кран. Прислушалась. Там, за дверьми, была тишина, но раздавался какой-то звук, как будто кто-то тяжело полз.

— Дед! — закричала неуверенно бабуля.

— Ай, — хрипло откликнулся дед. — Ай-ей. Ой. Иди. Иди. Ушли.

Маринка с бабушкой открыли дверь, стояли со связанными ногами в воде и смотрели, как ползет окровавленный дедуля, ползет на четвереньках к двери.

— Закрой дверь, — обычным голосом сказала бабуля, как она всегда говорила дедуле, когда он собирался что-нибудь сделать, и его это всегда раздражало. Но он ответил слабым голосом:

— Не видишь, иду.

И только тут бабуля зарыдала.

НИНА КОМАРОВА

Один раз мама послала на улицу гулять своих детей, мальчика и девочку, и велела мальчику следить за маленькой девочкой. А он заигрался, а девочка пошла к маме. Пошла, а по дороге завернула в лес и заблудилась, села под деревом и стала плакать. Наступила ночь, маленькой девочке было очень холодно и страшно, ее всю искусади комары.

А братик пришел домой один. Мама спрашивает: а почему ты один? Братик отвечает, что он подумал, что сестренка ушла домой, и поэтому не беспокоился. Мама с папой взяли фонарь и начали искать по деревне, потом пошли в лес и все время кричали, звали, но девочку не нашли. Обратились в милицию, а там был всего один дежурный, он сказал, что в темноте все равно ничего не видно, а утром они пошлют на поиски мотоцикл. Вся семья провела ночь в лесу, только мать сбегала открыла дверь в дом, чтобы дочка смогла попасть, если придет.

А девочка рано утром проснулась и продолжала плакать в лесу. Тут ее нашли грибники, муж с женой. Они стали ее спрашивать, как ее зовут, но девочка не могла говорить, только всхлипывала. Они отнесли ее в машину и срочно поехали в город, потому что подумали, что девочку привезли из города такие же грибники. А город этот находился очень далеко от той деревни, где жила девочка. По приезде выяснилось, что девочка немая. Из милиции ее передали в детский дом.

А ее родная мама заболела, слегла в больницу и долго там пролежала. Когда ее выписали, наступила осень, и бедная женщина стала пропадать в лесах, искать свою дочку, особенно когда выпал снег и все стало видно. Но время шло, и через несколько лет семья постепенно стала успокаиваться, а мальчик стал очень серьезный и задумчивый, он все время помнил, что из-за него пропала сестричка, хотя ему никто не сказал злого слова. Мать с отцом не упрекали его, не вспоминали при нем о девочке, и только когда он уходил в школу, мать доставала ботиночки дочери и ее платица и сидела, прижав их к груди, и могла поплакать. Отец тоже стал молчаливым и много работал, он перешел на работу в лес, стал лесником и почти все время искал следы дочери в лесах. У него был план исходить все вокруг на десять километров — дальше уйти трехлетняя девочка не могла.

А эта девочка тем временем выучилась говорить в детском доме, пошла вместе со всеми в школу и все время задумывалась над тем, как она попала в детский дом. У них была очень хорошая, добрая воспитательница, которая после долгих трудов нашла ей адрес тех двоих людей, которые подобрали ее в лесу.

Девочка, когда выросла, была уже в восьмом классе, отпрасилась однажды к этим людям и застала их дома. Они очень обрадовались ей, сказали, что давно хотели навестить своего найденыша, но не могли найти следов. На самом деле они просто побоялись привязывать к себе немую девочку и брать ее на себя. Девочка расспросила их о том, как они ее нашли, и попросила об одолжении — отвезти ее опять на машине на то же место, где они ее нашли. Тут же они собрались и поехали в соседнюю область за сто пятьдесят километров. Они привезли ее примерно на то место, где одиннадцать лет назад оставили машину, чтобы пойти в лес. Девочка вышла из машины и спросила, в какую сторону они потом шли. Старики показали ей. Она поблагодарила своих спасителей, попрощалась с ними и пошла в лес. Шла она очень долго, сильно обожглась крапи-

вой, залезла в болото, все как тогда, но теперь она не плакала и не кричала, а искала дорогу. Вдруг она вышла в поле, причем вдаль виднелась деревня. Девочка побежала, пришла к колодцу и стала ждать. Наконец показалась женщина с ведрами, и девочка попросила у нее воды. Женщина внимательно на нее поглядела и пригласила зайти в дом, напиться из кружки. Дома женщина напоила девочку, накормила ее и стала спрашивать, откуда она пришла. Девочка сказала:

— Не было ли в вашей деревне случая, чтобы пропала девочка двух-трех лет?

— Я живу здесь недавно, а вот мы с тобой пойдем к соседней бабушке, она все тут знает.

Они пошли, и старушка сразу как будто узнала девочку, закивала и сказала, что на том конце деревни живут люди, Вера и Саша, у которых лет десять назад пропал в лесу ребенок.

Старушка и женщина проводили девочку до той избы, девочка вошла в дом и увидела седую женщину, которая чистила картошку.

— Здравствуйте, — сказала девочка. — Скажите, у вас не пропала девочка?

— Да, — сказала женщина и встала, держась за сердце.

— Может быть, это я, — сказала девочка и заплакала.

— Как тебя зовут?

— Я не знаю, как меня зовут, — ответила девочка, — в детском доме меня назвали Нина Комарова, потому что меня туда привезли всю искусанную комарами. Меня нашли в лесу женщина и мужчина, у них была машина.

— Сколько тебе лет? — спросила женщина.

— Не знаю. Я кончила восемь классов, мне примерно четырнадцать лет. Сейчас я поступила в училище, буду жить в общежитии.

Тут вошли старушка с той женщиной, которая кормила Нину Комарову. Старушка сказала:

— Я ее узнала, она похожа на Лиду, твою мать.

И та женщина, в дом которой они пришли, упала на пол без сознания.

Старушка сразу вылила на нее кружку воды, а Нина Комарова подняла женщину с пола и уложила ее на кровать. Пока женщина лежала, сбежались соседи. Затем раздалось тарыхтение мотоцикла, и в дом с трудом вошел мужчина, которого поддерживал под руку парень. Мужчина увидел Нину Комарову, подошел к ней и прижал к груди.

— Аня, Анюточка, — твердил он.

Мать очнулась, дом был битком набит соседями, прибежал с работы старший сын, Валерик, и он сразу узнал сестру и сразу успокоился, стал шутить, взял ее на руки, как маленькую, и сказал:

— Я думал, что она вернется, а вы не верили.

Отец сказал:

— Я знал, что она найдется, потому что вокруг я обыскал на пятнадцать километров каждый куст.

Мать все твердила, что теперь надо брать Аню из училища, оформлять документы, пусть она учится дальше, она еще маленькая. Надо быстро учебники покупать, платье для школы...

И она стала перечислять, что еще надо купить.

Все рассматривали старые фотографии и удивлялись, какая Аня выросла большая и красивая. А сама Нина Комарова сидела и удивлялась, что все это происходит с ней, и думала, не сон ли это.

МИЛЬГРОМ

Молодая девушка в первый раз в жизни сама шьет себе платье, куплено три метра дешевого, по рублю с чем-то метр, но удивительно красивого штапеля, черного с пестрыми кружочками, как какой-то ночной карнавал.

Девушка эта бедная студентка, это раз. Второе, что она только что вылупилась из школьной скорлупы в прямом смысле слова: на развалинах старого коричневого форменного платья сделана юбка, получилось коряво, криво и косо, но платью конец.

И не для весны такая юбка, на дворе стоит май тысяча девятьсот лохматого года, жаркая весна и нечего надеть.

Третье, что студенточка, пыхтя над страницей «Шьем сами» из женского журнала (объем груди, какая-то половина переда и т. д.), попыталась скроить себе платье и потерпела полный крах.

Пропало платье, труд и три р. с копейками денег, а стипендия двадцать три рубля.

Тут мама вступает в ход событий мощной поступью, мама всю жизнь шила все у портнихи, пока не настали тяжелые времена, девице восемнадцать лет и кончились алименты.

Портниха, таким образом, отпала, мама сама думает, что делать, но вот проблема: денег нет.

Денег нет, девушке восемнадцать, на дворе жаркий май, какие случаются раз в сто лет, экзамены, а дочь лежит буквально за шкафом (там у нее топчан) и плачет, скулит.

Мама звонит своей мудрой старшей подруге Регине, еврейской польке из племени московских (новых) жен Третьего Интернационала, весь этот коммунистический Интернационал в тридцатых годах тайно сбежал из своих стран, из подполья, горами и морями в СССР, переженился в Москве, будучи в эмиграции, и затем ушел с лагерной пылью в небеса, а Регина, отбыв ссылку в Караганде, вернулась с победой, получила прежнюю квартиру на улице Горького, и мать студентки, тоже много повидавшая на веку, прилепилась к ней учиться уму-разуму, как к бывшей подруге еще своей, в свою очередь, матери, которую тоже ждут из далеких мест в эту весну.

Регина всегда одевалась с варшавским шиком, у нее бывали кавалеры в ее шестьдесят, и она выслушивает растерявшуюся мамашу студентки с пониманием.

У Регины есть постоянная помощница Рива Мильгром, Регина европейская дама, белые пухлые руки как у царицы, в доме жесткий порядок и приходит Мильгром.

Так ее зовут, Мильгром, по партийной привычке только фамилия. Так вот, Мильгром имеет швейную машинку «Зингер», и девушка со свертком идет к Мильгром по жаре в рыжей шерстяной юбке известного происхождения (мама носила платье, выносила до желтых полумесяцев подмышками, дочь вынуждена была таскать это дело в школу, не имея возможности поднять руку, всегда локти по швам, муки ада, наконец верх с отпотевшими подмышками отрезан и выкинут, хотя мама возражала, может выйти жилетка, но ребенок помчался к мусоропроводу и выкинул, зато осталась корявая юбка, в чем и идем косо и криво по майской жаре).

Поверх юбки, чтобы скрыть неудачное место отреза, кое-как подшитое, нитки не те, да и руки не из того места растут, — поверх юбки надета материна кофточка, тоже с темными подмышками, опять держи локти по швам.

Студентка идет как новобранец, опустив голову и наблюдая за своими зелеными зимними туфлями на толстой подошве, руки по швам, а кругом уже Патриаршие пруды, вернее, дома над прудом, пахнет нежной майской зеленью, мимо шмыгают молодые люди и идут гордые девушки в летних платьях.

Мильгром встречает заказчицу в своей комнатке где-то наверху, под палящими московскими небесами, где-то чуть ли не на чердаке, тихая Мильгром, большие влажные глаза, очень белая кожа и полное отсутствие зубов, нос висит, зато подбородок вперед, как кошелек, на вид Мильгром уже старуха.

Раскрыта швейная машинка, мелькает сантиметр, и тихая Мильгром начинает длинный рассказ (а сама записывает тот самый объем груди) о своем сыночке, о красавце Сашеньке.

Оказывается, Сашенька был такой красивый, что люди на улицах останавливались, и однажды даже фотографировали его для конфетной коробки.

Девушка видит на стене указанную перстом Мильгром фотокарточку, ничего особенного, маленький мальчик в матроске, большие черные глаза, тонкий изящный нос, верхняя губа выступает козырьком над нижней. Трогательный кудряш, но не более того. Губы тонковаты для ангелочка, рот у него мильгромовский.

В данное время у девушки не то что мыслей о ребенке, еще и друга-то нет, ухажера, кавалера, несмотря на солидные восемнадцать лет.

Все наука, наука, экзамены, библиотека, столовка, грубые зеленые туфли и коричневое шерстяное платье с вылинявшими мамиными подмышками, страх сказать.

Девушка равнодушно смотрит на стену и видит еще один портрет, увеличенную фотографию, видимо, на паспорт, ибо с уголком, портрет тщедушного офицера в большущей фуражке.

Это он, Сашенька, уже вырос, пока обмеряли объемы талии, пока записывали и критически смотрели на порезанные вкривь и вкось куски материи за рубль двадцать, и Сашенька уже женился и есть внучка Ася Мильгром.

Далее старуха Мильгром успокаивает студентку, что не одна она такая корявая, что сама Мильгром тоже в молодости была неумеха, ничего не могла, ни яичницу, ни суп, ни пеленку подрубить, а потом научилась: жизнь научила.

На каком-то этапе длинного и хвастливого рассказа о Сашеньке надо уже уходить, а платье останется и будет дошито завтра.

Через три дня девушка, которая боится выйти на улицу в своем чудовищном наряде и не умеет ни хорошенько постирать, ни погладить, ни пришить, полные слез глаза и лежание с книжкой, собирается наконец идти к Мильгром и говорит матери: иду к Мильгром.

— Она несчастная, — откликается мать, — такая несчастная жизнь у нее, у Мильгром! Муж ее буквально бросил молодую, отобрал у нее ребенка, маленького ребеночка, и не разрешал с ним встречаться, то есть как бросил: он сначала взял Мильгром из буквально литовской деревни, она была необыкновенной красоты, шестнадцати лет, но по-русски не говорила, только по-еврейски и по-польски, а потом он развелся с ней, тогда было так можно, свобода, пошел и развелся. И он привел к себе в комнату другую женщину, а Мильгром сказал уходить, она и ушла. Ей было восемнадцать лет. Мильгром чуть с ума не съехала, все дни и даже ночи проводила напротив на улице под своим бывшим окном, чтобы увидеть ребенка, а Регина ее нашла, Мильгром уже лежала на бульваре вся черная, Регина же выступала за всех угнетенных. Она устроила ее в больницу, потом взяла к себе домработницей, Мильгром спала у нее в коридоре. Потом, когда Регину арестовали, Мильгром пошла на швейную фабрику ученицей, заработала себе какие-то копейки на пенсию и вот комнатку дали.

Девушка рассеянно слушает, потом идет к Мильгром, не вникая в информацию, и видит все ту же каморку под крышей, где сладковатый запах старых шерстяных вещей буквально удушает при жаре.

Все плавится в лучах жаркого заката, Мильгром достает чашки, приносит с кухни чайник, и они пьют чай с черными солеными сухариками, роскошью нищих.

Мильгром опять хвастливо рассказывает о сыночке Сашеньке, сияющее лицо Мильгром обращено к стене, где висят две фотографии, причем, думает девушка, если мама правильно говорила, откуда у Мильгром фотографии?

Сашенька-взрослый смотрит со стены замкнуто, холодно, в расчете на офицерский документ, фуражка торчит как седло над большими черными глазами, здесь-то он уже очень похож на мать.

Какими слезами, какими словами вынудила Мильгром своего Сашеньку подарить ей снимки?

Мильгром счастливо вздыхает под своей стеной плача, а затем радостно сообщает, что у Асеньки уже выпал первый зубик: все как у всех есть и у Мильгром.

Девушка надевает платье, смотрится в зеркало, выбирается из сладковато-затхлого запаха вон, наружу, на воздух, на закат, проходит мимо многочисленных окон и подъездов, где, как ей кажется, обитают одни Мильгром, идет в новом прохладном черном платье, и счастье охватывает ее. Она полна радости, и Мильгром полна радости за своего Сашеньку.

Девушка в самом начале пути, движется в новом платье, на нее уже смотрят и т. д., через пять лет появится у ее дверей мальчик с кустом роз, где-то ночью вырвал — а Мильгром явно в конце, но может наступить время, и девушка мелькнет в конце Малой Бронной в совершенно ином образе, будет носить в сумочке фотографии своего взрослого сыночка и хвастливо рассказывать о нем на скамейке на Патриарших, а позвонить лишний раз не решится, а самому ему некогда.

Черное платье мелькает на светлой, майской Малой Бронной, при полном закатном свете, и вот все, день догорел, Мильгром, вечная Мильгром в старческой комнатке среди старых шерстяных вещей сидит как хранитель в музее своей жизни, где нет ничего, кроме робкой любви.

ТЕЩА ЭДИПА

Некто, повинувшись зову судьбы, покупает дом в деревне, вернее, хочет купить, но незадача, ничего нет.

Этот некто, обремененный семьей бородатый молодой человек, простодушный, но влекомый страшной мыслью о детях, молоке, грибах и свежем воздухе, начинает буквально рыть землю и едет просто на поезде в места, которые ему случайно назвали как благодатные: это дремучая Россия, пять часов ночным поездом в выходные по морозу, тихий, теплый провинциальный вокзальный зал ожидания со спящими шеренгами в теплых же платках, шапках и ушанках и с двумя осторожно бродящими по рядам худыми собаками без дома и пищи, как и наш соискатель теплой избы, избы где-то там, за десятки километров пути на местном автобусе, который пойдет только через два часа, отсюда и зал ожидания, тут хотя бы тепло в пять утра.

Автобус-то затем приползает на место поиска, но ничего нашему слишком простому искателю не обломилось, а зато он познакомился в сельпо, ища пропитания, с местным молодым мужичком городского вида, который и привел его купить молока к теще, а затем и к себе в почти городскую квартиру обождать автобуса.

Он знакомится с мирной семьей, молодые ребята, она красавица, он синеглазый, бородатый и длинноволосый, как мученик с иконы.

Молодые говорят, что изба есть, полуброшенная изба, ибо хозяйка старуха Онька взята дочерью на воспитание вон из деревни (40 км отсюда).

Взята так взята, как добраться до хозяев?

Но адреса этой тоже уже пенсионерки дочери пока нет.

Обещают найти.

Еще раз выходные, еще раз ночной поезд, мечты на короткой и узкой третьей полке общего вагона о земле, картошке, молоке и т. д. и как нам обустроить все это, качался-качался наш бородатик и прибыл снова туда же, в нетронутое сонное царство вокзального зала ожидания, только на сей раз оживленное групповым портретом в интерьере, восточной семьей, которая беспутно шатается взад-назад из дверей в двери в полшестого утра, впереди сам в усах, праздные руки в брюки, сзади то ли дочь, то ли жена на вид пятнадцати от силы лет, волокет два здоровенных чемоданчика и к каждому приклеен и висит, еле перебирая ножками по полу, экземпляр, две папашиних репродукции, выпученные черные глазки, носики клювами, только без усов.

Вся четверка шествует важно, олицетворяя собой факт, что и сюда проникла волна цивилизации, и не один бородатый искатель счастья бороздит местный океан, еще людишки приплыли, уже с югов, и то ли у них в чемоданах последнее, покидали и сбежали, то ли привезли товар на продажу: так начинается торговля, миграция, вавилон, так оживают города.

Затем искатель счастья едет туда, в поселок городского типа, берет наконец адресок, пьет чай со смородиновым вареньем и с разговорами, едет обратно на автобусе в город, добирается до цели и стучит в мирную дверь, обитую клеенкой, звонок еле тренькает.

Да, открывает дочь Оньки, милая, славная женщина в толстых вязаных белых носках, и возникает идиллическая картинка,

опять чай со смородиной, только при еще одном украшении стола в виде нелепо улыбающейся сухой старушки, которая после угощения уселась в прихожей на подзеркальную тумбу, одной ножонкой (толстый белый носок) гребет по полу, другая протянута повдоль подзеркальника, и идеально чистая белая вязаная подошва глядит прямоком на возможного зрителя, если бы кто вошел в этот храм чистоты и пестрых ковриков (олени, индийские расцветки, бархатная синева с ядовито-зеленым, красно-желтое типа червонного золота, плюш, сервант со стесанным избытком, бедность).

Бородач, однако, стесняется смотреть по сторонам и слышит, что да, изба есть, мама совсем плохая, никого не узнает.

— Ба! — взывает дочь. — Знаешь, кто пришел?

Она смеется, и Ба тоже, с силой помаргивая, охотно щерит пустой рот.

— Ба, к тебе избу пришли покупать! Покупатель!

Ба все еще щерится, подставив нижнюю губу корытом.

Внезапно она разражается хитрой речью, усиленно моргая и смеясь:

— Дан та бонать ка бон вона ка да.

— Хочешь? — лукаво спрашивает довольная дочь.

— А как бона вон та бон та ну.

— Врач, — делится дочь с бородатым посетителем, — врач сказал, она шизофреник.

Странник-искатель рад, что добрался до корня дела, он пьет чай третий бокал, проводит пальцами по молодой буйной бороде, и когда хитроумная хозяйка уводит речь в сторону, он в ответ, как всегда в затруднении, начинает грызть любимые ногти.

Разговор идет такой:

— Я, — говорит дочь, — за ей слежу, а она встанет посреди да и наложит. На диван два раза наделала. А что, ест хорошо. Утром встанет: чего, ба, завтракать? Она понимает, смеется. Три раза в день кормлю. Моешь ее, у ей на животе складки, жирная, хорошая.

Дочь испытующе смотрит на соискателя избы, но тот грызет указательный палец, обрабатывая его как белка орех.

Дело в том, что бородач смущен, предыдущие знакомцы, молодая пара, порассказали ему о том, что баба Онька последние два года шаталась без призора по деревне, лежала у людей под окнами, прося ее пустить, а собственная изба стояла нараспашку без огня.

Иногда они и привозили бабе поесть, но она не ела, а готовила по-своему, смешивала с дерьмом и оставляла так вроде на посмешище, сама скакала расхристанная по огородам, выдирая у кого морковку, у кого обрывая огурцы с помидорами, и это дело очень не нравилось деревенским, кому оно нужно.

И, видимо, к дочери Оньки наезжали с попреками и просьбами убрать бабулю.

Теперь же дочь говорила с явным прицелом на бывших соседок, как ее мать хорошо живет: кому охота при полной деревне родни возбуждать общественное мнение!

Хочется быть в порядке, как все люди.

— А сей день она брякнулась с подзеркальника, а, ба, брякнулась?

Мать неопределенно улыбается, выставив нижнюю губу и застрявший в ней кончик языка.

— А, ба?

— Нна гныть ка анады дать.

— Шизофреник, — откликается дочь.

Затем идут переговоры, как ехать и куда и когда, совместно оформлять покупку, и наш будущий владелец с обгрызенными перстами встает уже у дверей, чтобы держать путь обратно.

Но тут, отработав свое, приходит хозяин, Сам или Он, и хозяйка рассказывает ему, что вот, нашелся покупатель, Сам тоже стоит у дверей, маленький, большеголовый, с носом курносым как у смерти, крупными челюстями, огромным лбом и мощными надбровьями, под которыми глаз не видно.

Нечто фантастическое, думает покупатель, актер на фильмы ужасов, но ничего, благообразно слушает, кивает, порядочный человек, жена и трое детей да приютили тещу.

Даже что-то симпатичное, Феллини бы дорого дал за такую внешность, скромный порядочный малорослый семьянин, да и жена маленькая, а бабулька просто стручок.

Семьянин серьезно кивает, отец и муж, зовут Слава, и тут вдруг из ванной комнаты раздается как бы грубое покашливание, еще один персонаж просится на волю.

Дочь выпускает из ванной белую небольшую свинку, чудо изящества, и выясняется, что свинка чистоплотна и не пачкает где живет, то есть на полу в ванной, а просится и даже гадит только на полу прихожей и только в подставленную миску.

— Сосед шумел, что свинья живет, а я говорю, приходите да понюхайте. Я мою за ней! За этой мою и за ентю мою, две свинки-те у меня!

Старая свинка возбужденно хихикает, давая понять, что она здесь полновесный член общества, затем снова усаживается на подзеркальник, выставив одну ногу пистолетом.

Хозяин удаляется на кухню, а хозяйка на прощанье рассказывает, что прошлый год свинка была у ей худая, борзовала, болела, борзовала, хотела гулять, и нынче взяли хряка, хряк кладеный, яички вынутые.

А на том еще году был хряк, вот умный, мяса его хозяйка не могла есть, все понимал как человек, так что половину детям отослала и Самого кормила, даже плакала, а сама не ела, такой был умный хряк!

А свинья здорово борзовала, из-под себя весь пол вытаскивала, лежит и головой не ворочает, — зачем-то рассказывает хозяйка, — температура у ней, я ей в тарелочке пить носила, марганцовки разведу и мажу ей писку.

Так выступая, хозяйка провожает умного молодого хряка (это он уже про себя подумал), и тот вылезает на холод, чтобы ехать, опять тащится до автостанции и, дождавшись автобуса, посещает теперь уже своих почти друзей, которые дали ему адрес и обо всем договорились, та самая молодая пара.

Ну что, ну как, а Оньку видел?

Он рассказывает, а ему, в свою очередь, тоже сообщают то, чего раньше не говорили.

Оказывается, Онька гуляющая была старушка (сейчас ей семьдесят один), и лет с пятидесяти пяти спала со своим зятем, тем самым из фильма ужасов.

Молодой человек не может переварить информацию и снова принимается грызть пальцы.

А подошедшая вовремя бабушка семьи, добрая и пузатенькая, еле вползши на больших ножках, подхватывает, что Онька и к сыну своему ложилась, и к внуку (Саш, подвинься) под одеяло, а он встал и ушел — но куда уйдешь, не к соседям же! — сидел всю ночь в разрушенном клубе, родители были в городе.

— Они все и уехали-те, — говорит бабушка в заключение, смеясь, — кто куда.

Далее бабушка подчеркивает:

— Ихова изба получше нашей, тама ничего не изгнило. А дочь Онькина теперя бабку-ту взяла, бабка по шизофрении большую пенсию получает, выхлопотали первую группу, да она и так хорошо огребала. Теперя и дом продали. Тоже деньги большие. Солить, что ли.

— Да, — откликается бородастик, — но за ней надо убирать.

— Это ладно, — поправляет его бабка, — она караулит, чтобы у их опять с зятем не началось. Потому она ее не брала к себе и туда не ездила. Поверишь (она уже с приездом на ты), поверишь, Онька тогда идет по деревне, а они едут из города ей навстречу, она его видит, кричит, вот Слава, мой муж, идет. А последнее время вообще, бежит в поле, ложится, поет: «Ой мамынька, ой возьми меня к себе», так-то поет, плачет. Слушать не было возможности.

Молодой человек выходит на мороз, ждет автобуса, садится и едет в город на станцию, все представляя себе этот дом, где они будут жить, брошенный дом, в котором так борзовала старуха, что лишилась разума, чтобы уже больше ничего не помнить, весело улыбаться, просто и чисто жить среди плюшевых ковров в роскоши, и кофта у ней зашита на месте пуговиц, чтобы бабка не заголялась, дочь старается.

Дочь, видимо, полюбила свою мать и смотрит за ней, как за своей свинкой, — думает новый хозяин.

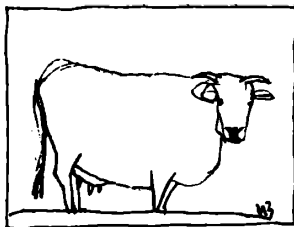
Теперь у них все в порядке, размышляет он, все прощено, все как у других. В конце-то концов надо всем простить, такие дела, хотя для этого приходится ждать, пока человек не станет такой свинкой, что ли, — думает умный отец (и сын) перед своей дальней дорогой. Перед дальней своей дорогой домой.

■

КАРАМЗИН

(Деревенский дневник)

■



облако прошло
лист расцвел и упал
ветер подул
трава полегла
спел песню далекий поезд

все это существовало
и исчезло
я
единственный свидетель

кроме меня никого
в этом
театре

что будет
если я отвернусь

все пропало
заплакало зарыдало

закрыло лицо
свернулось
свистнуло

но я здесь

и плавно движется
главный режиссер

АВТОВОКЗАЛ

С вокзала идем через пути на автостанцию
весь народ повалил направо
я одна пошла прямо
извините я не с вами иду
думаю что это они таким кружным путем
иду прямо
там невидимая мне яма
народный опыт возобладал
теперь иду путем людей
все путем
мне вдвое длинней
иду странница
пока дошла встала в очередь
народ взял последний билет
на мой автобус
теперь жду следующего
через час
о народ народ
восхищаюсь сию

■

В автобусе
(едем в Меленки)
Девушка впереди
лицом к зрителям

в последнем возрасте
после 30
лицо
меняется
как лист на ветру
то она закатит
глазки
(взгляд вверх
на пляшущий
автобусный
потолок)
то взор
в окно
(бешено скачет
пейзаж
елки
палки)
нижняя губа
у ней
сложена
трубочкой
а верхняя
в полуулыбке
как это она
делает
(нижняя губа
на излете
последнего звука
в слове
люблю
плю-ю
а верхняя губа
в полуулыбке
полукорытом
звук ы-ы
ю-ы
пели губы
круче
нн-ых
заумь)

Высший пилотаж
И с кем это она так умильно
разговаривает
активно меняясь
(глазки стрельнули
по пассажирам
как говорится
от живота
и веером, веером)
рот
умиленно
растягивается
(верхняя позиция)
удерживая
внизу
стойкую дудочку
фантастика
текст же
самый прозаический
кто сколько
огреб в зарплату
у них в магазине
ее собеседница
старуха
крашенная хной
виден только ее
унылый полупрофиль
мешок под глазом
как у пеликана

седой затылок
и все это ей
такой фейерверк
веер
глазки девушкины
как коляски
туды-сюды
только нос
к месту прирос
но рот рот
вот опять глаза в потолок
силится вспомнить

что-то
но хватать!
опять
очередь
по пассажирам
трассирующими
с огневых точек

кто там стоял
лицом к ней
мы
так и не
разглядели
какой-то мужик
мы смотрели
на нее
во все глаза
из задних рядов

вот опять огонь
команда «ложись»

потрясающая работа
в целях
продолжения рода

не снимешь
не снимешь
кино про жизнь

про безымянных красавиц

нежных детей
глухих старушек

гордых алкоголиков

неуместных интеллигентов

местных

и приезжих

на нас
тоже
смешно смотреть

жизнь вообще
нельзя
наблюдать со стороны

она неприлична

беззащитна

смотри на звезды
в августе и январе

на рощу в мае
и в марте

они величественны

все остальное
так мелко

но так любимо

БУДУЩЕЕ

Позавчера
по дороге
в Славцево
увидели мужика
он ворошил сено
рогатинной

рогулька
первое орудие
после палки

обезьяна
может взять
палку

но взять рогатину
это уже человек

пещерный
неандерталец
синантроп
троглодит

с рогатиной

он змею прищемит
съест

лягушку
мышь
вот до чего
довели людей
сказал мужичок
кивая
на рогатину
в магазине
нет ничего

мужик сказал
от чего ушли
к тому пришли

но это уже не 1917
даже не славный 1913
это млн. лет до н. э.!

будем думать

идиллия
страна живет
все добывая
своими руками

на зиму
200 банок закатал
привет

мы готовы
к любому строю

выживем зимою

пусть хлеб
дорожает
у нас запас
картошка
грибочки

моркошка
икра кабачк.
каша тыкв.
варенье плод.-яг.
мед
ура
спокойно
смотрим
телесериалы
в которых
не дай Бог
ничего похожего
и слова какие-то
иные
и лица
неземные
фотороботы
составные
носы
зубы
глаза
вставные

счастье
скоро начнем
ходить
с рогатиной
на медведя

(березовую рогульку
ошкурить
обскоблить
заточить)

начнем
одеваться
в шкуры

НО

видимо в собачьи
кошачьи

медведей тут
нет

витязи
в собачьей
шкуре
кошкодавленный
воротник

тачать сапоги
валять
валенки

выращивать
наконец
лен

на рубахи
онучки

ткать при лучине
ты гори гори

не дубравушка шумит
то мое сердечко
стонет

лошадь
стоит
миллионы

начнем
помолясь пню
ставить мельницы

на речке
черничке

О!
какая пойдет жизнь
какие люди тут будут жить!
Это их все ждал Чехов!

еще через сто лет
изобретут деревянный
велосипед

не для наших, правда, дорог
но без единого
гвоздя

металл
еще не пришел

горшки
еще не обжигаем
но
огонь добываем

трением

кремнем

этого добра
у нас на полях
до фи́га
прямо каменный век
неолит
где так вольно
дышит человек

как только
рубли изотрутся
расплачиваться
будем самогоном

жалко
бутылок не станет
побьют
как пить дать

возродятся
бондари
бочары
бондарев, ку-ку!
бочаровы, привет!

корова будет
стоять приблизительно
15 1/2 бочек
самогона

а сколь стоит
ваше манто

из двух шариков
жучки дамки
и джильбарса?

сто кадушек
и
пол
ушата
сэр

•

сенокос
все косят
как
каторжные
по двести пудов сена

на голову
ого-го

полотьба
(усадыба картофеля)

тоже каторга

якобы каторга
потому что все лето
это
свободное дело
свободных людей

боящихся голода

РАССКАЗ Н.

я по телевизору смотрел

люди голые живут
дома из прутьев

на пеньках

они туда шныряют

едят червей

он у него в руке возится

он его ест

■

у нас прижились
с прошлого года
три полевые

с луга
гвоздики
три малиновых
звездочки

теперь мы нацелились
на голубые
колокольчики

так

надо взять лопату
ведро
идти далеко
где не скошено

выкопать ком земли
с колокольчиком

а в огороде
приготовить яму

и одно вставить в другое
портрет в раму

ВЕЧЕР

У Веры Ивановны открывается дверь

на дорогу падает свет

в дверях темный силуэт

Димка
шепотом

— У Дябы дед пьяный

Алеша (3 года)

т. е. Дяба

вопит:

— Дед пьяный!

причем на всю деревню

деревенский вечер

светит

пол-луны

солнце давно

село в туман

завтра

снова дожди

японские гравюры

по холмам

■

Наташа

ноет

не люблю ждать

не могу

хочу чтобы поскорее

раскрылись

цветы

на нашей

клумбочке

в день

по пять раз

ходим на экскурсию

к клумбе

считаем

ростки

шишечки

бутоны

Наташа смущенно

признала

что вырастила в углу

не мак

а неизвестно что

берегла пол-лета
ждем что это будет
похоже на осот

МАМА МЫЛА РАМУ

сегодня плотники Николай и Иван
должны закончить наш чулан
косой гонец из Пизы
наш чулан

сегодня будем мыть окно раму
короче это я
мама
помою раму

эту раму привез на велосипеде
гонец из Адино
4 км по дождю

год назад

приехал продать мне вечером банку краски
поскольку прошел слух

у нее есть бутылка

соседи мне купили
на всякий случай
и видимо
проговорились кому-то

каждая весть
распространяется здесь
как ветер
не зная преград

со скоростью 4 км/день

до Адино 4 км
короче

краска была встречена мною прохладно, я сказала: таких в магазине навалом вдвое дешевле я ходила

— А что,
возопил гонец
из Адино

промокший весь
ему ведь была весть

он первый выпьет здесь

он ехал Бог весть сколько по дождю чтобы прийти первым
первый среагировал на сообщение

но я
вот что интересно
владелица бутылки

я

хозяйка положения

феодалка

от нас и до

Адино

царица мира

но:
дом протекает
чулан вечно лежит на боку

Обломов

никого не найдешь
вплоть до Ляхов

(Ляхами, Ляхах)
кто бы помог

Обломовка

и вот тут
он вопрошает
царицу положения

— А ЧТО НАДО-ТО

я начинаю думать
что мне действительно надо

забор лежит на боку
соседские куры порхают по огороду
когда я бегу с граблями

но мимо, мимо
(Н. Гоголь)
это сейчас неосуществимо
так

— НЕТ ЛИ У ВАС СТАРОЙ РАМЫ

есть! он говорит
есть!

ему ведь была весть
он первым
сегодня
выпьет здесь
никто кроме

исчез

через час
через бурю и дождь
он
пройдя огородами

как Че Гевара

возникает

и возникает

видение рамы

плюс

он привез какой-то мокрый грязный моток
тряпок
что ли платок
это что

бережно разворачивает

у нас должно быть странное выражение лиц

это был в платке десяток сырых яиц —
он утверждает
что был десяток
теперь уже
не проверишь

гонец из Адино

нечем обтереть
мокрое лицо

(платок почитай что
выброшенная вещь)

его лицо
течет как треснутое яйцо

он вез в бурю
как в опере
Тихона Хрен
ни
кова

«В бурю»

одномоментно
раму со стеклами яйца в платке велосипед
хорошо что сам
остался цел

и рама

повторяю
ему была весть
ему нальют здесь

налили!
он выпил сразу
еще посидел
понюхал корочку хлеба
от еды отрекся как от скверны

и канул в дождь
оставив нам платок

как бы плащаницу со следами лиц
сырых яиц

и что же
проходит год

наш чулан восстал из руин

имена

Николай Токарев
дядя Иван Кузьмин

они врезали раму
ту самую
в чулане светло

сегодня я мама
мыла раму

так воплощаются старинные мечты

каждая доска
полы
потолки

история выпитой

буты-
лки

карамзин блин
где ты

■

соседки, ревниво:
у вас не плотники

золото

действительно
золотые
довольны своей работой
Николай
говорит:
— Стефановна
я с-улицы смотрю
у вас теперь
три жилья
переднее
заднее
и клеть

соседки
мечтают о них
о плотниках
выпытывают
военную тайну
сколь они взяли
с меня

все уже решили
что дешево

ревнивая деревня

у каждой хозяйки мечты
то изгнило
это упало
мечты
о мужике
с молотком с топором

вечная мечта
каждой бабы
во всем мире

чтобы вечно

стучало
колотилось
в доме
сердце

молоток

по этому стуку
и узнают
в доме
мужик

■

просыпаюсь теперь на рассвете
в восточном окне картина
восход
сырого желтка
в свежем белке
много времени для жизни
если встать на рассвете

СБЕРКАССА

как-то
при людях
внук
алкоголик
привел бабушку
(долго его
не было
пришел из тюрьмы)
привел ее
в сберкассу
снять
все ее деньги
смёртное
она тряслась
подписала

мы пришли позже
сберкасса
вся красная
переживала

что делать
последний вопрос

■

только что
шумел пьяный
дайте мою
пенсию
лично мне
она не дает
пенсия
возможно
присуждается
его жене

(если есть жена)

пьяный
плачет
это же мне, мне

то ли афганец
то ли
последняя
стадия
туберкулеза
принес
из тюрьмы
первую группу
просто так
молодым
инвалидность
не дают

но вот
ему
его пенсию
не выдают

о почта
почта

сберкасса

деньги
нужны

греческие
трагедии

рок

полный крах
сила судьбы

порок
наказан
у нас на глазах

но —
ушел
Леночка рассказала
его диагноз

все не так
трагично

он не афганец
не туберкулезник
в последней
стадии

он
простой инвалид
1-й группы
по шизофрении

так просто

тоже

этим званием
не наградят

все время
дуррак
путает
день
пенсии

никто не путает

никогда

это святое

а он придет
плачет
отдайте

стонет
на неделю раньше

шизофрения
отягченная
хр. алкоголизмом
у них так
что хочется
вынь да подай
хр. нет терпения
умные
хр. (хронически) терпят
он дурак

■

сберкасса
рассказывает
мужу

он
(какой-то «он»)
говорит
возьмите
у меня
холодильник

а я
не нужен
мне
холодильник
внесите деньги

а он
(какой-то «он»)
вы что
меня посадите

посажу
(твердо)

как же
жена без меня
не справится
маленькие дети
беременная

сберкасса (мужу)
я прям
заплакала
так жаловался

муж слушал
не понимая
то ли
сберкасса-жена
шутит
то ли она
действительно
заплакала
но вряд ли

врачи
сберкасса
почта
менты
палачи
не плачут

это
чисто
профессиональное

каждый час
плакать
вы что

■

что ты
все пишешь
талантливо
но уж очень мрачно
пиши
о счастье

сказал А. Т.

в 1969 году
в январе

пиши о счастье
о людях
счастливых

но А.Т.
литература
этим
занимается
очень редко

это епархия
импрессионистов
комп.
Дебюсси
де
бю
с
си

это
по другому
 адре
су

роскошь
свет
счастье
другие
берега

млн. долл.

а здесь
такие
не проживают
ошиблись
номером
перезвоните

■

Рая
мы пришли к ней за молоком
рассказывает

про женщину Катю

Катя как-то говорит
ой
иду по деревне
мне встречается
какая-то баба

как я

одета как я
ну прям как я
идет навстречу
вон там
у Грунькина дома

через три дня
Катя умерла

видно ей повстречалась
ее смерть .

оделась как она
обулась в калоши

покрылась платком
как Катя

бедно одетая
смерть

больная убогая

своя

■

Стадо пришло само
без пастуха

сначала было
явление коз

рогатые жены ада

робкие
с больными глазами

явились
запылились
трясли хвостиками
пели
фальшивыми голосами
нерешительно
толпились

их гнали всенародно

потом

деревня опять всполошилась
кричали от избы к избе
пошла тяжелая пехота
кентавры
непристойно волоча
между ног
свою грудь

где же пастух?

— Спит где ни то, —
сказала Окся, —
Напоролся
теперь спит

■

Как куры орут
в родильных муках
несдержанно
животно
никто не слышит

петух победно

отвечает
миг его
торжества

ГОЛУБЬ

Ефимка громко, сипло:

— Голубы! Смотрите, голубы!

Наташа:

— Мама, там больной голубь!

Иду с усадьбы
(с картофельного поля)
в траве гуляет
в полном смысле слова
бесцельно ходит
голубь

кристально-серый
грудка перламутр
глазок блестящий
красно-черный
все у него в порядке
гуляет
нет только
одного крыла
лишь связка перьев
на кровавом месте
наверно, прикусила кошка

он ходит, ходит
жадно ходит

Наташа побежала
за хлебом
намочила в бочке
я голубя взяла
за лапки
он спокоен
одним крылом
усиленно трепещет
но он спокоен
он видит цель

чтоб спасти от кошек
кладу его на крышу
туда же хлеб кидаю
он плавно, важно
трудолюбиво
идет по скату вверх
не замечая хлеба
мимо, мимо

Наташа причитает:
— А хлеб-то хлеб

но голубь вверх по скату
дошел до перевала
и исчез

там на вершине
пускай мы думали
он там пересидит

хлеб есть

на крыше нет собак
но кошки но вороны

а впрочем
там было не до хлеба
он не прятался
он шел
оказывается
все вдаль и вдаль

Наташа ускакала
жизнь потекла
вдруг новый крик
Наташин

— Мама, мама
там голубь
с той стороны
он прячется
под досками

он рухнул видимо
он думал полетит
упал
сидит под досками

а кошка напряженно
замедлила свой ход

мухи залетали

ворона боком
проскакала
как бы случайно

насторожился мир

детишки
не так играли
я
не так стояла
Наташа
— Мама, голубь!

я: что же делать
он умирает
нельзя ему мешать

и вот явление
он вышел
из-под досок
имея цель

он двигался
пешком
в траве
он шел
не остановишь

мир остановился
на мгновенье

все

■

соседка тетя Тося
лежит в кружевах
в своей красивой высокой кровати

рассказывает

моя племянница

и я ей все
и она мне все

и эта племянница

говорила
ой тетя Тося
я так-то петь буду
испоюсь
исплачусь

Тося лежа боля
рассказывает

у меня и место
есть

мама
папа
рядом

а в головах
сестрин свекор
со свекровью

потом лежит
она сама
сестра

и трое ее детей

рано дети померли

одна девочка
трех лет

не открывала
рот

ее поили
по каплям
умерла
голодом

лежат все вместе

место

есть

прекрасно утро
свет зари
вороны

потом пойдет
пастух

труба
зовет

поднимутся
коровы
в своих
коронах

млечный путь
потек

СТРАШНАЯ НАХОДКА

иду лесом
на дороге валяется шуба
богатая седая отдает в зелень
полная картина катастрофы
рукава закинута
полы врозь
сдалась убита
сосна
молодая

мы в нашей местной
столице
блестит асфальт
двухэтажки

чу
идет
цистерна
прямо нам наперерез

шланг наперевес

остановилась
в кустах
ах
звуковая картина
характерный акт испускания

криво висит
ржавый лозунг
всех времен и народов

«осторожно запретная зона»

это у них место слива
здесь конец
всего

а наша жизнь
складывается
счастливо

в нашей деревнюшке
редко у кого
есть отхожее место

ходят просто так
на гумно
с живым заодно

прикапывают

потом
землю в огород

потом все это
из земли прет

зелень плоды

население ест

круговорот

все возвращается
на круги своя
сказано бо

БЕДНАЯ РУФА

вроде бы ее звали Руфа
хотя плотники сомневались

медсестра
помнишь
она утопилась

спрятала
от мужика бутылку

в бочке с водой
в огороде

так и не нашел

Руфу нашел
она торчала в бочке
с водой .

только ноги
наружу

маленькая была Руфа
а вечером шел дождь
бочка набралась всклянь

видно полезла к ночи
в бочку за бутылкой

шарила
не достала

не вытерпела
нырнула

бедная Руфа
плотники
смушенно смеялись

представить
какие были
похороны

действительно
вот уж бедная
Руфа

■

там
большая деревня

там асфальт велосипеды
столица

трактора разъезжают
автобус
возит перемещаемые
лица

бабы на каблуках по грязи а где же еще прикажете другого
не предвидится

не вечно же в сапогах

жизнь проходит

косметика духи юбки блузки прически колготки детки ляльки
сами в огороде скотина как у всех но держатся красавицы

мысль не новая
и все это ради кого

тот в телогрейке третьего срока
этот как пехота
после двух недель отступления по болотам
а ентот вечно в сером незаметном
разведчик

постоянно то тюрьма то война
в мужской моде отражена
жди меня и я вернусь
оттуда не возвращаются

■

старики пашут
с недоумением взирая
на своих стариков
детей

что-то здесь

не то

наши дети
были не такие старые
фокус
игра
времени

качать в колыбели
старого алкоголика
и его незнакомую
старуху

ДОМ

ходили смотреть дом
продается

знакомые
хотят купить

бабушка
в нашей деревне
померла
в начале мая

ее дочь
пожилая
привела

села сама

поговорили

проводжала
заплакала

дом-то холодный

а я
говорит
не понимала

мама все бывало
скажет
теперь
дом
теплый
я его грею

а будет холодный

а я не понимала
плачет дочь

теперь поняла

да
ледяной дом

но наш знакомый
не чует
холода

чует
будущее
тепло

свое
тепло

так оно и идет

холодно

тепло

греем
греем

В ЛЯХАХ

Всегда
уезжать из деревни
целая эпопея
пешком полтора км
скорей на автобус
опоздали

но и он опоздал

затем мы в Ляхах
Ляхах Ляхах

местный храм
7/8 лежит в руинах

домик автостанции
демоли
(старческая атрофия)
стены стропила
скелет
это все
что оставили местные
поженили
дверные оконные коробки
половицы

без окон без дверей
полна горница дерьма
туалет
на общественных
началах
коллективный договор
в собственном соку

кроме того
нет расписания
его-то за что
шарахнули?
а: там была рама

гуляет мусорный ветер
шевели бумажные
помои

путем опроса
выясняем
автобус на Муром
через 4 часа

идем
среди милых кур
собак кошек
разноперых петухов
любоемся
дорога ведет к храму

и награда
новые кованые
решетки
сияют стекла
1/8 храма
отреставрировали

реставрация
после
бомбежки
советской культурой
в храме был клуб

от клуба осталась
реликвия
культурные отложения
на обрыве

уборная

вместо двери
навек
приварен железный
лист
прочный
ржавый гнутый
настежь навек

врешь не закроешь

все сраным навех
как любит выражаться
наша бабушка
при виде чьей-то квартиры

о как много
места
занимает безобразие

но мимо мимо опять
(Н. В. Гоголь)

мимо
будет вершина
обрыва

два дерева
соединенные
врубленной в них
скамейкой

вниз с обрыва
стекает крапива
вверху на скамейке
Наташа
рисует
дали
(с ударением на 1-м слог)
вот мы и пришли
Ока широка
старица внизу
тихая вся в цвету
дали
с любым ударением

(сюрреализм
реализм остался за спиной)

в неописуемой дымке
лета
июль
блестит
даль

белые дома
там вдали
за рекой

лучше
не приближаться

к этому прекрасному
далеку

■

ну скажи
такое как это
я могу написать
километр

а я
не всегда
почти никогда

только когда
мне диктует
население
местоположение

exegi
им
monumentum

вечная память
моментам

МОЛИТВА ОКСИ

(на дорогу)

Богородица девица
Господня царица
Господи ты мой
Перепути со мной
Очисти путь предо мной

Помяни царя Давида
И всю кровь его

(от воров)

Воззвав тебе Господи
воспев и воспевающе

Сохрани меня Господи
От вора и от разбойника
Не дай ему Господи
войти в жилище мое
Когда он придет
к жилищу моему
Пошли на него Господи
страх темную тучу и
Страфела птица
Сомкни ему
Господи ясные
очи огради его
Господи камнями
стенами высокими
горами густыми
камнями большими
озерами нашли на
него Господи блуд
страх слепоту чтобы
он не мог войти
в жилище мое
аминь

■

вчера
между двумя дождями
на лугу
собирала букет
колокольчиков
ожидая
Наташу

она убежала за грибами
куда неизвестно

пошел дождь

она ходит мокнет

я тоже хожу
мокну

с ее плащом
пока собираю
букет колокольчиков
кричу в пространства

— НАТАШАА

не отвечает
хотя вокруг
казалось бы
все слышно

все видно
на километры
вокруг

то Паново
то Славцево

то мелькает
стадо коров
в березнике

то идет
туча
таща неопрятную
марлю
дождя

Наташа пришла

ой какой
красивый букет
колокольчиков

а ты знаешь Наташа—
времени нет
есть букет
колокольчиков

букет тому назад
я вышла в пространства

букет тому назад

я орала
над полями
как орел

через один
букет колокольчиков
ты пришла

В ЛЯХАХ — 2

Было сыро тепло
пасмурно
как
зима в Индии

по нашему
местному
Гангу
(река Ока)
сквозила ладья
вдалеке

соломинка
с муравьем

муравей
шевелил усиками

в пасмурный вечер
темная точка
на светлой воде

точка стремилась
явно
гребла домой

вечер
местный Ганг
дали
опять дали
опять скамья
над обрывом
в Ляхах
лучшее место
в мире

мы целый день
путешествовали
втроем
над Окой

видели
самое красивое поле

золотое

на фоне синего неба

текущее вниз к Оке

за Окой
непомерные горизонты
нашей страны

мы присвоили
этому полю
звание
мисс мира

пардон
миссис мира

поле
полное колосьев

миссис .

когда Клаву
выгнала свашня
сын
и вся сыновняя новая родня
сват невестка внучка
(якобы Клава ударила внучку
якобы внучка курила)
то Клава пошла в люди
пенсионерка
в одной рубашке чемоданчик кинули ей на улицу валялся
то Клава
пришла
в дом Алевтины
самой-то не было дома
был только дедушка Ваня
Клава:
пусти
Иван Петрович
он пустил
живи
мужик когда он один
полоротый
заходи кто хошь
уноси что возьмешь
приехала
Алевтина
а ей говорят бабы
твой дед
женился
Алевтина мудрая жена обрадовалась Клаве
ну живи
Две жены легче чем я одна
меньше материться будет при посторонних
смеялись
я говорит Алевтина и чайку всегда налью
и бери в огороде что хошь то-другое

долго Клава жила у Алевтины дней ли десять
потом Алевтина посоветовала
пойти к Оксе

и Клава жила у Окси пока не купила дом
в соседней деревне
с тех пор
Клава
когда приходит
говорит Алевтине
ты говори когда умрешь-то
с Ваней пожить охота
смеются

и деревня
умылась
скандала
не получилось

мудрая Алевтина

ЛЯХИ

Еду в Ляхи
автобус трясет

впереди
сидит молодая
склонивши кудри
кудряшки

на голове
черная кружевная
косынка
донна Анна

это знак

кого-то потеряла

бледный невеселый
профиль

выходим гурьбой
в Ляхах

идем все
дорогой одной
как при коммунизме

мимо
школы для дураков

Соколов Саша
описывал
не такую

навстречу трое
дети нищие
и едва прикрыта грудь

из этой школы
студенты

в шлепанцах

т. е. что-то
без задников

обувь большое место
обуви нет
лаптей еще не ввели

раньше смеялись
над рифмой
ботинки — полуботинки

здесь рифма
тапочки — полугапочки
т. е. почти тапочки
кеды —
полукеды
рифма
жизнь — полужизнь

полудурков
брошенных деточек

идем рядами
мимо них

мою вдовушку
у проулка
встречает
хоп
такая же вдова

мамаша
тоже в черном
платок платье
ведет за руку
девочку
лет пяти

девочка
без траура

но хмурая

итак
встречают молодую вдову
старая вдова
и вдова-ребенок

кого-то
совместно
потеряли

лица
встревоженные
у трех
вдов

девочка бледная

ладно идем дальше
колоннами

дальше хозмаг

в хозмаг
дружную толпою
нет ли чего
влились
это жизнь

в хозмаге гвозди вазы
ножи
в хозмаге аврал

Киселев удавился
какой Киселев

отец? отец.
он пришел из тюрьмы
сестра не приняла
выгнала

хотел продать
свою квартиру
а он там выписан
вообще в разводе
жена сидит
не пускает

не продал
удавился

дальше
тем же сплоченным
коллективом
(вдовушки давно испарились)
все пассажиры автобуса
прут
в торговый центр
может что выкинули
туда же с нами
буквально скачет
какая-то встревоженная бабка

колесит как танк
в камуфляже

халат
маскхалат
зеленый пятнистый
из-под халата мелькает
ночная рубашка

русская
форма одежды
да что там
все московские
интеллигентки
дома так ходят

мужчины в трусах
женщины в ночных рубашках
по выходным

Ляхи не исключение

ладно
бабка вприпрыжку
поспевает
чточто
какой Сережка
Зайцев
удавился
кто это
ей бабы в ответ
из торговых рядов
сливы сливы сливы
ведрами ведрами
бабы в ответ

иди
Валька Коноплева
она все знает

Вальке
лет за шестьдесят
тоже сливы
в ногах
стоит ни с места
как каторжник с ядром

Валька объяснила,
не Зайцев какой Зайцев
К и с е л е в

это в тех домах?
дадада
удавилси?
удавилси
К и с е л е в какой?
сирота?
от бабулька
бестолковщина
нет нет нет
отец отец отец
ты что
сирота

так это сироты отец!
дадада
а постой
ты что
сын-то Киселев
разве с и р о т а ?
отец был у него
мать

бабулька
(маскхалат):

— да сирота
жил по людям
дом у них был
пустой
отец у него пил
его бил

тут сына забирают в армию
отец провожает
проводил проводил
пили пили
так и не проводили

до армии не дошел
с автобуса сошел

в армии сделали бы
человеком
а так сирота

тут опять из проулка
три вдовушки

возможно
это и есть
сестра старуха
которая не пустила
и ее дочь

приехала к ней
из Меленок
(с нами в автобусе)

еще бы

кто бы пустил

пьянь тюремную
никто бы

его пусти
вынесет все
как герои Некрасова
продаст пропьет

грудью дорогу проложит себе
убьет

на нервной почве

жить не придется
ни мне ни тебе

правильно
сказал Некрасов

кто такого пустит

да никто

не плачьте вдовы брата

вы были
правы

бедные опозоренные
большое несчастье все же
выгнали своими руками

удавился
по вашей причине

теперь что же

в хозмаге сказали

его похоронят
за счет государства

денег-то у сестре
нет
есть черный плат
и все
вот накрылась

в знак чего-то
что страшной скорби

прости прости

■

на автобусной остановке сидим
ожидая автобуса на Ляхи

автобусная остановка

это сценическая коробка
дом без четвертой стены

остальные стены
сцены

исписаны

ТАНЯ СОСКА РВАНАЯ
modern talking
алег дурак

математические выражения
с иксом

КОЛЯ 72

свежее изображение
фаллоса
(al fresco)
видимо гвоздем
по штукатурке
последние дни помпеи

наскальные писаницы

сцена исписана
писали
со всеми ударениями

чувствуется аромат эпохи

местное место встречи
чекпойнт

на этой сцене
лежит бревно неотесанное

древнейший вид мебели

на сцене на мебели
сидит парень

надувшись как бас
перед арией Ивана Сусанина
«Ты взойди моя заря»

такой белобрысый качок
плечи гуляют

сам сидит
сейчас взорвется

пока что жжет спички

одну что называется за одной

зажжет мигом погасит
гасит об скамью типа бревна

пых зажег

тык погасил

реакция мгновенная

пых!
сразу тык
сразу видно
деловой мужик

пришла веселая бабка
расхвасталась грыжей пупочной
1,5 кг

показала из руки

парню сказала
у брюшина непутная
че не женисси

ушла веселая поддатая

он: пых-тык пых-тык
я ему говорю
че спички жжешь
он
а че
че
че

я говорю
эта детская страсть к огню

он говорит нет
че ты хочешь сказать
че
че

я например афганец

Господи

я говорю
с детства боюсь пожара

попала под бомбежку в три года

он хотел что-то возразить
плюнул ушел

обидела человека
одна война другую

осталось побоище
горелых спичек
вид с самолета
взрыв на лесоповале

хотя какой лесоповал
в Афганистане

явление второе
пришла опять грыжа
села
завязалась веселая беседа

ейной грыже одиннадцать лет
сама доярка
а парень который жег и гасил
действительно пришел с Афгана

не женится
кто за него пойдет
брюшина непутная

пьет

кстати парень был одет как на бал

голубая джинса
весь из себя
белые кроссовки
черная майка «Босс»

оделся пошел
куда еще

остановка автобуса

место встречи

если вы потерялись

в Чернове

пришла
испуганная
дочка
боится сказать
там в клубе
валяется Гошка
какой-то мокрый

Мы любили Гошу
черного котика соседей
собирали для него сырные корочки
куриную кожу
кормили

он ел как помпа
делая так:
хаф хаф
смотрел глазами
с грузинской
поволокой

лежа
складывал под грудкой
белые ступни врозь
большие деликатные

деревня полна
его котятами
боимся говорить
хозяйке кота
ей недавно
снился покойник

НА БАЗАРЕ

(трио)

— Ты не знаешь я чья
я соседка Нинкина

— ДА

— котора
тебя обворовала

— ДА Я ТЕБЯ ПРИЗНАЛА

— ой что там деетсяя

она

она Витьку выгнала он ей окна побил в окно залез из тюрьмы
пришел ночевать негде переночевал у ей
все унес

украл

ее избил

— ДА

— он же закодированный (3-я бабка)

— он лопаает

как лопал так и лопаает

— кто закодировался нельзя пить умирает

— не умер

живет

лопаает

— ДА

— а какой у ней муж был какой муж не пила она пила жила он
на кровати она на диване с другим его спрашивают что же ты
ты муж а он а что я поделаю

— и умер

— и умер

инфаркт

инсульт

— сердце не выдержало

— А ОНИ ЖИВУТ

— они живут а Витька ее избил

у нее рот зашит

глаз один зашит

живот зашит

инвалидность через него получила

— инвалидность это пенсию платить будут
хорошо

— дом пустой окна выбиты все вынес продал
пропил

а она

ворует капусту по огородам

придет

ой какой пододеяльник я люблю в цветочек только постирали
вывесили

она раз

унесла

— У МЕНЯ УКРАЛА ДА

— ну вот

я ей соседка

— А Я ТЕБЯ ПРИЗНАЛА

• • •

одна баба сказала

я ждала внука как ворон крови

другая баба удивляется — никто мне не нужен слышишь он
пришел наконец слышишь после долгих лет прозвонился

из другого города

нашелся

явился тот

которого я любила всю жизнь

ну и что ты кто ты

зубы мосты

протезный лысый глаза со слезой

не люблю не люблю подпись: Наина

а мой внук ему три годика спит рядом моя и его кровать

мы прощаемся на ночь и засыпаем держась за руку

я сплю счастливо

устаю с ним так только бы до подушки добраться

изматывает то слезы то соплями весь обмотан

вот он

хэппи энд жизни

настоящий

представляете
у нее был счастливый конец
жизни

■

Окся пришла
ты смородину-ту возьмешь

возьму

хорошо

дальше идут жалобы

Манькин белый петух
мою курицу уводит

Шуркина кошка
у моей
ест
все приела

а где мой Барсик чай у Вальки

она чай не кормит

пойти поискать его
околеет не емши

ушла

в окно видим
развитие событий
Окся идет кричит
БАРСИК БАРСИК
а Барсик скачет за ней

то было обиделся на нее
ушел
теперь простил вернулся

у Окси из родных
не считая далекой сестры в городе
только коза Зорька
баранье
кошка
котенок Барсик
куры

Клавка племянница
она после менингита

все время
беззвучно
смеется
курносенькая

ходит с косой
косит траву

Окся ей отписала
дом

Оксе 84 года
Клавка смеется
худая курносая
с косой

ШАПКИН В АВТОБУСЕ

ТЕТЯ НЮРА (*Шапкину*). Ты пьешь, больше пьешь раньше
умрешь.

ШАПКИН. Не.

ТЕТЯ НЮРА (*Шапкину*). Скоро умрешь!

ШАПКИН. Не. Не умру, не умру.

ТЕТЯ НЮРА. Ты себе гроб делай!

ШАПКИН (*оживляясь*). Одна ко мне пришла ей гроб сделай,
а я говорю: материала нету.

ДЕДУШКА ЧЕМОДУРОВ. У нас мужик гроб себе сделал,
двадцать лет прожил. Себе сделал и хозяйке.

ТЕТЯ НЮРА. Это кто? (*страшно заинтересовалась*).
ДЕДУШКА. Это я еще молодой был, в тридцать ли восьмом.
В Киргизии город Сталинск.
ШАПКИН. Я зарплату получил 6 тысяч, о!

Весь автобус смеется.

ДЕДУШКА (*недослышал шутки*). Что он сказал?
ШАПКИН. Три тысячи пропил, три тысячи домой везу
(*показывает деньги*).
ТЕТЯ НЮРА (*осторожно*). Ты деньги-те не высовывай.
ШАПКИН. А ты сколь получила?
ТЕТЯ НЮРА. А я тебе не должна.
ШАПКИН (*легко вздохнув*). Тыщи-шищи.
ТЕТЯ НЮРА. Ты вот закодируйся, а не пей.
ШАПКИН. В Чернове все мужики закодировались, а ба-
бы валяют дуба (*щелкает себе по горлу*) как хотят, бух-бух-бух
и все.

ОТЕЛЛО

Вот кого баба Таня опасается, не принимает — это Катю: Катя молодая пенсионерка, свежая, цветущая, крепкая, с города Волгограда учительница, ямочки на щеках, кудряшки, шея все вынесет: две жилы, двужильная; кормит большую семью, солит, закатывает, варит, сушит, маринует; нога под ней как из-под рояля, только не катается, руки борца, тащит на себе весь дом, загар, как из Соч, всем помогает советом — но чего-то не может, не умеет в сельском хозяйстве: то не уродилось это как сажать облепиха мужская не растет только женская облепиха: цветами залит сад все попусту.

ни шута не получается.

спрашивает совета как что прибить дом валится да он сто лет простоит твой дом внукам-правнукам хватит

ну а как же течет крыша это как

как-как свари вару

где взять мучается учится

засматривает в глаза ищет как Диоген
человека

вот почему бабы ее опасаются мужиков к ней не пускают:
у нас и в своем доме столбы изгнили работай

Катя одинокая ей и помочь-то Бог велел
а они не велят
и баба Таня тоже туда же хотя в целом добрая
всем помогает
но полагает
что когда
тогда

когда баба Таня лежала в больнице с кистой
баба Таня с кистой а Катя бегала к ее деду Николаю за
консультацией что где куда

дед Николай
всем поможет посторонним считает баба Таня
окромя своей семье

никак не возьмется за баню банимся в тазу по частям ни
постираться каждый день все тазы и тазы

то-другое не изготовлено считает баба Таня
а он помогает иным
ну так вот пока вскрывали брюшину
тут

считает баба Таня
вскрыли дом
и все

Катя сошлась с дедом

дела-то прошлые
но Катя боится к ихову дому подходить
сколь лет
прошло
все еще чешется
больное место в душе

короче чтой-то у них было
баба Таня с больницы прилетела
кричала на Катю не стерпела
ох дела

баба Таня Отелло
дед Коля Дездемона белая рубашка
соседки
бабы
Яги

ПЕСНОПЕНИЯ ЛУГА

I

вперед! кричит пастух

вперед, блядины!
твари ебаные
(здесь и далее текст
подлинный. — *Прим. авт.*)

эти твари бродят
в кустах
внизу
а пастух поет на холме
— Вперед, твари —
(см. выше)
поет пастух

и вдруг происходит
некое
столпотворение

коровы как бешеные
скачут галопом вверх
а вымена
как знамена
полощутся
у них в ногах

II

это просто
овчарка пастуха
всех собрала

одну куснула

остальные твари —
(см. прим. авт.)
опомнились

все поняли

и под песню
(см. прим.)
рванули вверх
полоша
знаменами
по траве

рывок — и снова
покой
пастух сидит

собака пошла

знакомиться
с хугорским бобиком
который
презренная помесь
лайки с овчаркой
лай-лай
конференция

III

все то же
уши окрас
чепрак
но досада
хвост кольцом

ноги тонкие
коротковаты
лакей
лай-лай-кей

но
овчарке пастуха
все равно
все едино
познакомиться
а там будет видно

мужчина

— Назад, блядина
(прим. авт.)
сказал пастух
без надрыва
и овчарка вернулась
— Лежать, —
сказал пастух
и она легла
с пастухом
а не с бобиком

Бобик
сделал собачий вид
что ему все равно
ушел

покой
песня луга

РАЗГОВОР ТЕЛЕФОНИСТКИ

да!
ой, ой,
ой, врешь
ну врешь!

врешь

так

изоврался весь
(смеется)

да вот
слушаю
как ты загинаешь

ну

ну

еще
валяй

ну врешь ведь
как тогда

я было слушала
а тут
хватит
(смеется)

ой ну вру-ун
ну врешь (и т. д.)

судя по интонации
это было начало
романа

ни разу его не послала
рано

СКАЗКИ ПРО ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

I

идем с электриком

электрик Иван

от автобуса

лесом

полями

разговор об

электричестве

счетчик гудит

наш счетчик

в избе

трещит

и подает

азбуку Морзе

(— - - - - - -

----- - - -)

мучительно непонятный

текст

— Это он так, да, —
говорит Иван.

— Так работает, да.

— Ничего не поделаться?

— Посмотреть могу. —

но не пришел

уже второй год

не идет

II

его первая фраза:

— День простоял.

мы не поняли

то ли он весь день

простоял
не работал
то ли чем
любовался
стоял
полный день
нет!
оказывается
это Иван
о погоде
как англичанин

первая фраза
о погоде

день
простоял
т. е. не было
дождя

III

дальше с Иваном
наши пути разошлись
но тема электричества
получила
свое продолжение вечером
когда пришла
Лида Ивановна
речь о бабке Н.
у нее в прошлом году
погибли дочь и зять
вместе
в Муроме

Лида объясняет
шли с вокзала
проводжали сестру
в Москву

пошли домой
коротким путем
а днем была буря

помните?

прошлый год-то буря.

мы помним.

Лида:
в Муроме
провода
порвало

они вдвоем
в темноте

наступили на провода

он-то погиб сразу
она еще жила

еще кричала

приехала скорая
дотронуться побоялись
пошли звонить на подстанцию
чтобы отключили
в районе
ток

пока звонили
она кричала

дозвонились
ток отключили

она умерла

IV

да
год назад
стояла жара
я помню

в августе дело кончилось
сухой бурей

на наших глазах
треснуло
с грохотом упало
дерево
на той стороне улицы

мы с Наташей
сидели на крыльце
мело пылью
листьями
по улице
мы сидели
дрожа от радости
что пойдет
долгожданный дождь

было жутко

интересно

дождь не пошел
стемнело
мы убрались в дом
заперлись
так же мело пылью

v

в это время они
погибшие
еще пили чай
с сестрой
и дочкой
собирались
на смерть
на вокзал
буря кончалась
кончалась жизнь

а мы
ложились спать
тихо

весело
и пошел наконец
дождь

и в трех местах
с потолка
закапало

я полезла на чердак
подставлять тазики

Наташа тряслась
внизу
в темноте чулана
наконец
все уладилось

мы улеглись
спать

в это время
они уже тоже лежали
соединенные
током
навек

Лида сказала
они хорошо жили
говорят
не ругались

VI

на другой день
по нашему порядку
мимо нашей избы
под окнами
проехал зеленый уазик
с красным крестом
скорая помощь

к кому неизвестно

к ней, к бабке Н.,
рассказывает Лида

ехали из Мурома
сообщить о смерти
дочери и зятя
сразу на скорой

знали, на что ехали

как сказала
одна медсестра
ну до чего не люблю
сообщать родным

искренне так сказала

VI

жили счастливо
умерли в один день
сказка
про электричество

■

рисовала акварель

василек ромашка
розовая мальва с берега Оки

стакан воды
три стебелька преломляются в стекле

никогда

не передать чудо этого утра
никогда

всю жизнь надеюсь
вдруг а вдруг

великим удавалось
поймать
розу в стакане грязновато-жилистую
ветку цветущей яблони
мощно-белую
красную как снег на закате
распростертую
над клетчатой скатертью

Петров-Водкин
Врубель
боги создатели

ИДУ ВНИЗ

Иду вниз
к реке
скоро мелькну
там

вдалеке

и исчезну
как прохожий
в мультфильме
«Сказка сказок»

Моцарт
Концерт
для клавесина

музыка
Михал
Саныча
Мееровича

он
уже

ушел
туда за холмы
они с Моцартом
там
в
сказке
сказок

у всех тут
котята
щенята
рядом дом
Мурзик, 1 месяц
Тишка
2 месяца

Напротив
Шарик
Шарик ртути
2 мес.

Через дом
безымянный
черно-белый
гошевич
сынок
погибшего Гоши

через порог
поднявшись
на задние лапки
выглядывает
хозяева дверь
не закрывают
а то раздавишь
берегут

видимо те
предыдущие

разом ушли
сговорились
поколение

они тут
коротко живут
работяги
опасная жизнь
крысиный яд
на соседских
помойках
цепи
еда одна
черный хлеб
молоко
крысы

■

кто-то
тявкает
тихо
за окном
как шеночек
тявк тявк
тявк
Наташа говорит
это наседка
с цыплятами
разговаривает
тихий
мирный
успокаивающий
голосок
тявк тявк
наша Мурка
с котятами
говорила такими же
короткими словами
мурк мурк мурк
материнское бормотание
люблю люблю

•

соседка
осуждает
своего щенка
не лаёт
(куда ему лаять
пять недель от роду
пишит
няв няв)

нет, не лаёт
она говорит

она по привычке
на всякий случай
осуждает огурцы
(сидят пупыльчики
не растут)
помидоры
одна гниль

котенка
(се Гоша был
полусиамский,
этот из Панова
пановский
целиком пановский
тот, Гоша, был
полупановский
полусиамский)

осуждает щенка
(тот Тишка
был хозяин
во дворе)

затем
проходит время

оказывается
огурцов закатали

28 банок
будут еще
корзину собрали

котенок
большие глазки
хоть и пановский
ходит в миску
(в углу миска с песком)

а щенок
Тишка №2
вдруг вчера
мы просто
удивились
залился
злобным
лаем
маленький
сидя
в конуре

видимо
кончилось
его собачье детство

стал
неуправляемый
подросток
уйеа йеа
хаааа
хаа хааа
аа ааааа!
прямо Битлз
молодец

■

у всех в деревне
здесь
незапятнанная совесть

и честь
но все жалуются

вывод
о участь
праведника

все жалуются
одна только
алкоголичка
на почте
пришла
за пособием
по безработице

она не жалуется
лихо кричит
огурцы у меня желтые
помидоры черные
эх жись
кричит
дайте мне
мои деньги
кричит два часа
но напрасно
ибо приперлась
на неделю раньше
выплаты

дайте ей да подайте
НАДО
почта отвечает
чо кричишь
у тебя вон в сумке
бутылка
— да не моя, — отвечает
в том и дело
не моя

врет, конечно,
ох Зинка
делать тебе нечего
Зинка

обычная жизнь

алкоголичка
на почте
мужской
прокуренный вид
стоит
спортивные штаны
подсмыкивая локтем
лицо маленькое
прокопченное
веселое
монгольское
руки корявые
огородные
ей надо
получить
пособие
по безработице
так наз. «биржу»

сберкасса
невольню
смеется
— ты чья
новая
лицо знакомое

сберкасса
хохоча
считает деньги
сбивается
хохочет
заливается
сама не понимая
почему
— ну как
тебя зовут
Ленка
как ее зовут?
А! Лариса
Лариса
вот симпатичная

та была
у блядина

— ну не ругайся
— я не ругаюсь
только
на фиг
на фиг

чья ты
— меленковская я

муж Ларисы
смирно слушает
тут же
локтями на стойку

алкоголичка
Зинка
ухаживает
за его женой

в целях получения
«биржи»

•

Серафима
тайно говорила
моя мать была мормонка
знаешь
слышала
были мормоны такие
знаю
знаю
Серафима
у мормонов разрешается многоженство
одному можно брать много жен

Серафима
посуровела

больше речи о мормонах не заводи
осталась
в православии всей душой осуждая многоженство
у отца
было много баб вспомнила некоторых он привозил
чай пить
мать молчала кормила поила он ее бил
мормонка
тут много мормонок

■

я в сарае
что-то дочка моя поет
как обычно поют малыши

без мелодии ноет, тянет
как будто сквозь бумагу
на гребенке
и все время у меня за спиной
как ни оборачивайся не видно
и как-то очень одинаково

что-то нечеловеческое
настырное
ноющее

так! этот исполнитель
беспеременно, тонко
ноет, тянет
песнь на гребенке

песнь плена

однажды так вот
кто-то спел у меня над ухом
спел
и укусил
цапнул
как мотыгой
по черепу

кто-то мерзкий
типа саблезубой
осы

о
так и есть
в рукаве плаща
сидит нечто
новейшее
мы вас не видали
маленькое желто-черное
вооруженное как робот
поет свою
жуткую песню
плоско прижавшись

времена наступают
каких-то страшилищ

то прилетит крылатый таракан
то муха с саблей в жопке
то жук как черепаха

все хотят крови

■

весь мир
копится в тех
кого обидели

с трудом
просачивается
сквозь них

как верблюды
через игольное ушко

обиженные
злые
узкое место

мира

вдруг раз
и вообще
перекроют
кислород

через добрых
мир
свободно идет

■

у соседей
скулит
подвывает
пес сеттер

без конца
как дверь намазаная
туда-сюда
уоиииии-ииии

он больной
красавец
его трижды
бросали
хозяева
с ним почти
невозможно
жить

больные кишки
не ест
скрипит

подобрала
сердобольная
Валечка
теперь она
ни в дом
ни из дома

он
не пускает
каждый раз драка
он рвется вои
собака

не ест ничего
его
поносит
может укусить
ночью
защищая
любимую кость
легкая форма
идиотии

но идти
с ним рядом
по улице —
гордый красавец
коричнево-пятнистый
вот так бывает
с кобелями
на людях красавец
дома
сами понимаете

■

Д.
рассказывает

меня сглазили после родов
целый месяц
ничего не ела
не могла
поднять руку
t° 40

приехала сестра
из Сухуми с родины

пошептала как шепчут
азербайджанки

потом скатала 40 шариков
из ваты
подожгла
горело с треском
как порох

о как тебя сглазили

пеплом
нарисовала
два креста
на лбу
и ТАМ
там
самое слабое место
женщины

больное

на следующий день
утром
я встала

как ни в чем не бывало

соседи удивились
я встала
начала стирать
ребенку-то месяц
другому год и месяц

надо стирать

вечером
пошла к врачу
показаться

надела
новые трусики
из пачки

вечером стала переодеваться
в трусиках
дыра
совершенно новые
трусики

дыра

ТАМ

о
сказала моя
сестра

это вышел

ГЛАЗ

■

Д.
рассказывает

когда ей самой
был годик

она умирала
от с у х о т ы

мать носила ее
к врачам
одна врач сказала
выбросьте ее
кому такое нужно

но мать
не выбросила

какая-то старушка
посоветовала

три раза

завернуть
в теплую тресбуху

теплую
только что
из коровы

мать договорилась
на бойне

понесла меня
оказалось
там принесли
еще одного
ребенка
цыганенка

да
та бабка сказала

ПОСЛЕ
она у тебя будет
спать
не удивляйся

действительно
я спала долго
проснулась
стала есть
как мясорубка

и так три раза
и все прошло

может быть
действительно
помогло

но сейчас
говорит Д.

коровы все больные
нет той требухи
того говна
кишок
в которые
их
заворачивали
с цыганенком
братом
по крови

это говно
больно

■

я все думала
какая может быть
женщина у Ляпы
первое
сидел
второе
алкаш
никакого
хозяйства
одна кровать
в избе
стол
стул
чисто

промышляет
говорят

нечист на руку

иконы

зайдет
купить молока
плесни баб
ка

наутро
бабка
сунется помолиться

иконы нет
горе горе

тут
милиция
тут
скорая

никаких концов

также
носит
продавать
грибы
бревна
на зиму
запасает
картошечку
ночами

откуда-то
возит

да

еще
есть приданое
велосипед

все
на велосипеде

стало быть
какая может быть

женщина у Ляпы

у него
должна она быть

у всех
почти
почти что
у всех
есть женщина
здесь

хотя
здесь деревня

тут
все девушки
просватаны
начиная с пяти
лет

пятiletние
женишки
запасаются
заботятся

у Ани
ей шесть лет
жених
Фимка
Фимке 5 лет

также
он сватался
к нашей
Наташе

Наташа
еще старше
ей 11

вопрос
у Фимки такой

ба
она будет меня ждать
ей вона скоко
она старше

вопрошал он
на сон грядущий

бабу Тосю

умытый
чистый

все помыли
что
положено

лицо руки ноги попку

БА

она будет

меня ждать

будет
будет
спи
сынок

так вот
женщина
ценится
тут
ее с детства
пасут

полны деревни
женихов

когда к нам
приехала
в гости

поселилась у Окси
Наталья Борисовна

с биофака
университета
с дочерью
красавицей Анютой

тут же ночью

через два дня
(вести распространяются здесь
со скоростью
пастуха Андрея)

в 12 ночи
стук в окно
все спят давно
Наталья Борисовна
воскликнула
кто вы
я вас не знаю
ответ был такой

отчиняйте
на дворе холодно

я вас не знаю

думали наутро
он к Анюте

приметил

давеча на пруду
красавица
стройная
коса
до пояса

красивые
импортные очки
18 лет

или думали
он к Оксе рвался
купить вод
ки
нет
нет

это он приходил
свататься
к Наталье Борисовне
из Панова

напоролся пьяный
нажрался
набрался
сил
к 12 ночи
припилил

пришел
дурак
рази
так
сватают
деревня
хохотала
две деревни

ему
сказали
женщина с дочкой

разводка
с Москвы
сорок семь лет

ничего что старше
чеши
он и явился
дуррак

от него
жена ушла

он и сватается

а ты не пей

а Наталья Борисовна
научный сотрудник
биолог
университет
кафедра
ведет аспирантов

как она хохотала
заливалась
у меня теперь
есть жених

жаних

так вот
какая
может быть женщина
у Ляпы

с кем он пьет
пропивает
грибы
иконы

он ничего
не копит

с кем
с кем

а с кем
ей семьдесят лет
в обед

веселая
а он у ней
не один
еще приезжает
с города Репкин
Репкин
да Ляпа

Репкина дом
теперь
занимает

директор ателье
Петров

он купил у Репкина дом
за 2 ящика
водки

и какие-то
рубли

Репкин
дом продал
стал бездомный

бомж

жил по огородам
брошенным

вырыл ямку

землянку

Шшляпа

все репкины
штаны
рубашки
хранились

в людях
по деревне
в разных
домах

потом Репкин
все понял
плакал

пошли дожди
снега жди

одинокая ямка

но сначала
гулял
веселился

стянулись все силы

адские

из Адино

пановские
из Панова

гуляли
у ней

у ей
у подруги своей

веселились

потом потом

зимой

деревню

занесло

снегами

раз!

Петрова

обокрали
унесли
старый
телевизор

холодильник

штаны были по снегу

рассеяны

по дороге на Адино

отомстили

но

теперь
Ляпа
и
Репкин
ходят

как

давшие подписку
о невыезде
о невыезде

куда

невыезд

невыездные

Репкин

Ляпа
но женщина
у них
есть
здесь

■

август

все созрело

крапива
особенно жжет
на память дня на три
вперед

мошка
лезет в глаза

мухи
соззрели умственно
эту песню
не задушишь не убьешь

август
звездные пути
луна в тумане

а
крики у костра
на той стороне реки

обалдевших
школьников
переходного периода
переходного в девятый класс

просто так
ночью
крики

АААААООО
бубубубу

Наташа боится
чутко слушает
глаза врасстыр
одиннадцать лет

крики
на той стороне

все зреть

август

ХОКУСАИ

вчера в девять вечера закат догорал
автобус ехал среди туманов
японские дела
Хокусаи
гравюры по дереву по деревьям по пояс в тумане
вышла в Адино
страшно идти одной
закат догорает
лимонно-апельсинные дольки заката

одна спустилась в долину реки Часовинской
река как река шириной в рукав
но все же своя долина полная тумана
я вошла в гравюру в туман ничего не видно в радиусе протянутой
руки
но иду ничего
долиной реки

так всегда
входить страшно войдешь нормально

дальше лес ой ты лес
действительно темный лес
вот где ужас-то

и мать сыра земля
точно: сырая
мать
затем поле русское поле все как по писаному и вроде на слова
Инны Гофф
но
это, с другой стороны, поле деятельности трактористов деревни
Фурсово
широкое поле деятельности по регулярному перепахиванию
дороги я уже предчувствую
только-только наладится дорога жизни в нашу деревню
протопчут примнут терпеливые бабы с сумками полными
старого хлеба
свиньям курам собирают корки несут
только проторят по пахоте злые автолюбители везут детишек
стариков
масло пустые банки крышки мешки пленку
единственная дорога в нашу деревеньку

бац
снова они трактористы вышли на большую дорогу
ахтунг
начинается охота
дорога виляет
трактора поймают
взрежут брюхо навалятся размясят

и вот в десятом часу вечера солнце уже смылось но небо
еще светлое
выбегаю в чистое поле
оуууу дорога растворилась
трактористы опять постарались
мокрая глубокая пашня что поделать чтооо чт чт чт чт
иду

через поля
как уже описано
и одна
ноги утопают
о сырая мать иду по матери
послана трактористами

ладно моя тропа первая следом пойдут другие нас не убьешь
протолпим новую дорогу
а трактористы игруны что им стоит поднять лемеха раз в десять
минут побережь нашу дорогу
стоп!
вы что вы что когда это кто делает что
без бутылки

как-то через нашу речку черничку человек сердобольный при-
нес бросил доску уф

переходили целый день
думали завтра же украдут
украли

а что
ходить так
по воде яко
по суху другие ходили же

привожу подробности
жизнь подробна
промедление жизни подобно

и этот живой ужас
идти по ночному лесу
одна на десятки километров
дай Бог чтобы одна

ходить по дорогам такой гравюры
даже Хокусаи было тяжело
возвращаться с природы

поэзия (в двух словах)
преодоленный путь
ушедший страх

все кончилось
можно рисовать писать
плакать

вдали фонари в нашей деревне семь фонарей
в тумане во тьме
печаль дождя
тихо вхожу в сени
обитая драной холстиной толстая дверь

открываю тепло у стола под лампой в тепле рисуют дети
возгласы радости
ты мокрая
ешь ешь
тебе оставили
девочки виснут на шее милая тяжесть

я вернулась
Хокусаи
я вернулась

■

по деревне ходят
глухие слухи

когда приезжает
один мужик
у бабок
начинают
пропадать
иконы

он не вор
нет
но стоит
ему приехать
такая примета

бабки плачут
к ним вызывают
медичку
из больнички

божница пустая
лампадка горит
и все

Окся пришла
плачет
у ей
распятьё унесли

вечер начистила
поставила к иконе
как золотое
распятьё

это э н т о т унес

а энтот купил

Бог себя не защищает
а они бабки
когда благодарны
говорят не спасибо

а

Бог спасет

■

грузовик
едет по нашей тихой улице по травке по песку
остановился

вдруг
дикие звуки песен

БУ-БУ-БУ!

О-Ё-Ё!

страшные металлические голоса

это у шофера в кабине
орет радио
к нам пришла цивилизация

это Оксе наконец
привезли
дрова

какие-то кривые пни

она вышла
стоит
руки кренделем

наверно
в душе сомневается
как такие коренья
пилить
но печку-то надо топить

из сельсовета прислали
как престарелой
она оплатила как престарелая
теперь стоит сомневается
матом ругается

Оксе
восемьдесят четвертый
по Оруэллу

■

у Окси над кроватью
висит коврик
сама вышивала

называется СИНАТОРИЯ

в центре дом с трубой

пара сцепившись
гуляет
пришита
друг к другу
локтями
сиамские дела

далее рыбы
птицы
того же размера

елки
какие-то кочки
наскальные рисунки
непостижимо прекрасно
темная река через весь горизонт
музейный вариант

Руссо Пикассо

я задрожала
как это делается

как как

берут хороший мешок
холщевый

и брюки
полушерстяные синие

и красные нитки
обшивать

я нашла хороший мешок
выстирала
выгладила
далее выстирала

распорола и выгладила
чьи-то синие
полушерстяные штаны
висели у меня на сушилах
на сеновале

видимо в них тут ходили все мужики
на Троицу
на Духов день
на Николу

взяла у Окси
СНАТОРИЮ
стала срисовывать
переводить
ничего не вышло

слепое копирование

синаторию
надо делать
в память
о тех днях

когда ехали
через Москву
с мешком за плечами
чемоданов не было

в Кисловодск

набралось
трое земляков
еще женщина
и
парень

получили путевки

приехали стесняясь своих заплечных мешков их с мешками
усадили в автомобиль привезли дали места покормили

спать уложили

утром
с той бабой
пошли в столовую
а где
земляк

не дождались

он ночью
умер

какой там Руссо

в память о тех днях
Окся
сделала
коврик

всегда у нее
над кроватью

пары
сшитые локтями
там никогда не расстаются

гуляют среди рыб
птиц
кочек
речек
среди мироздания

все живы

■

в двенадцатом часу ночи
Наташа
вышла в огород
сказала

подышать
не хотела ложиться спать

кричит оттуда
ОЙ

что это что это такое
в небе
там
там что-то упало

смотри смотри ой опять
М А А А М

а что
это
как как называется
млечный пуууть

а что это шевелится
ЗВЕЗДА?
стоим в небесах по грудь
первый раз
она увидела
августовское небо

безлунная ночь

шевелиятся звезды
торжественное
закрытие
фестиваля

■

зовут к телефону
бежим
через деревню
входим в дом

— А Москва положила трубку

присели ждем

какая-то тяжесть в избе
хозяйка праздно
сидит

— Отдыхаете наконец?

— Нет, корова болеет

в доме ожидание
вот она тяжесть
там лежит дорогое существо
протянула голову

то ли зарезать
а то худеет
то ли подождать еще

ждут

ждут

сон
что все в порядке
счастливый
неожиданный

Как? Все в порядке?

ответ:
да
я приняла меры
все красивы
он красив
с ним все в порядке
ноги ходят
я приняла меры —
говорит какая-то женщина
то ли врач

то ли
кто

Ты ходишь?

смущенно:
— Да, я теперь хожу

умершие
о умершие
смущенно признаются
что у них теперь
другая жизнь
все в порядке

■

простите нас все
(говорим)
простите все
родные

бабушки
старый прадед
Илья Сергеевич
погибший под автобусом
седая борода
в крови
прости

прости бабушка
Валентина Ильинична
такая маленькая
перед смертью
как ребенок
прости
что я тебя не увидела

прости меня
ты
что я закрыла
тебе глаза

может быть
слишком рано
прости прости

простите нас
наши слова
наши мысли
то что мы сделали

а мы пока
мы живые
мы ничего не прощаем
за это
простите

■

над колодцем
опрокидывая ведро
вспоминаю
(почему-то)
прибалтийский городок
Шяуляй

такое же
пасмурное лето
запах воды

театрик пантомимы
бродячий автобус лазик
лазит по городкам

режиссер
накачаный кофе
и табаком
до кофейного цвета кожи

он кстати любил
говорить перед спектаклем
перед занавесом
для своих литовских зрителей

что-то наверно простое

объяснение спектакля по имени
чайка по имени
Джонатан Ливингстон

пантомима
фигурное катание в тапочках
на пяточках
выгнутые спины
как у котов

развинченные локти
розовые софиты
меловые лица
голубой задник
каждый вечер праздник
но ночь это ночь
а утром
трезво
на репетицию
кофейный режиссер
с чашечкой и сигаретой

о маленький Шяуляй
розы
белые пеларгонии
как взбитые сливки
диетстоловая
скатерти
взбитые сливки
над тарелкой киселя

кружева жизни

из окон гостиницы
видна
плоская
асфальтированная
крыша тюрьмы
по углам вышки

окна
тяжело забранные намордниками

часовые

никаких нарушений

под крышей кипит
там сидят смертники

в подвале
когда приезжает
областной палач

идут свои
спектакли

■

когда мы заблудились
в нашем лесу
я поняла
но ничего не сказала Наташе

мы весело пели
оперные арии
я вспомнила
весь мамин репертуар
благословляю вас леса
на воздушном океане
ни сна ни отдыха измученной душе
а также
а я быть может
я гробницы
сойду в таинственную сень

четыре раза ходил дождь

мы шли шли шли мокрые
Наташа тоже веселилась
но глаза были круглые
дело двигалось к вечеру

моей единственной надеждой
было далекое шоссе

услышать машину
значит спастись

однако было воскресенье
машины не ездили видимо
да и лес очень шумел
и мешал

наши леса
на сотни километров
в маленькой Наташе
метр с небольшим
что-то страшное
этот шумный лес

вечный шорох
длящийся века

вдруг
далекий звук

натруженный писк
грузовика

когда мы пришли
в деревне уже
беспокоились

Окся сказала
а я-то как блудила
никому не говорите

мои уж по мне истомились

мы с Манькой да с Катей
с четырех утра
до одиннадцати ли вечера
да полные мешки клюквы
в ноябре

тут
сердце России

■

Аня впервые (8 лет)
вымыла
всю посуду

от пяти
человеко
едоков

посуда в деревне

о
грязная посуда

больной вопрос

Аня
впервые
в жизни
взвалила
ношу
жизни

на себя

так легко
и так сияла
потом

наградой была
чистая кухня
мир
покой

женщинам
не нужно
видимо
искусство

они творят
ежеминутно

еду
мир
чистоту

сытых
здоровых
спящих
чистых
детей
мужей
стариков

во веки веков

МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ

I

в прошлом году в деревне жила из Москвы старушка
избушка
почти не покрыта

в дождь
старушка из Москвы
так и жила
просто пересаживалась
на сухое место
как святая

ничего не просила
курила
приглашала детей на сливы

дети к ней любили бегать
свято место пусто не бывает

ничего не чинила
не строила
ничего не делала
ни сил ни денег

счастье
было сухое лето
знаменитое сухое лето
раз в одиннадцать лет

и она
наслаждалась
теплом
спала
под звездным небом прямо у себя дома

воздух сливы
яблоньки
густой сад
красота
деньги на хлеб молоко сигареты
остальное бесплатное с огорода
счастье
которого не бывает
у бедных
пенсионеров

||

в этом году она не приехала
к августу
люди говорили
она сидит
с больной сестрой

как бы то ни было
дети всполошились

стали пропадать исчезать нигде их нет
на улице нет

оказывается
девочки смирные маленькие
свили
себе гнездо
в старушкином доме

свято место пусто не бывает

девочки —
кто сбегает от крикливой бабульки
у кого вообще инстинкт витья гнезд

кто прячется в лесу
строит шалаш —

девочки
помыли полы
приколотили к дверям крючок
сидят наслаждаются без крыши
воздух
деревья
никто не орет
сливы яблоки поспевают
красота

в гости пришли другие девочки
их угощали из чистых
майонезных баночек чаем
блаженны
нищие
дети
старики

III

но счастье так коротко
вокруг зажуужжали
подростки
исчадия
отродье
прореха
на человечестве

прыщи
глаза
глаза уклончивые

голоса
голоса бронхитные

стремление
доломать что еле держится

девочки
робкие души
все помыли прибрали
приколотили

мальчики
все присвоят
сомнут согнут
выдернут с корнем
выбьют стекла

разберут по дощечкам
раскатают
большевики
но им не дали
деревня детей разогнала
бабушкин дом защитили
дверь забили

IV

ежели вдуматься
сломать чужое — это уже полдела
освоение территории
Мамай тоже ничего особенного не строил
строя империю
коммунисты тоже создавали
до основанья а затем
а затем им зачем

однако ожидается
все пойдет как полагается

мальчики
построят себе
каждый по дому

а за спиной
будет

маячить
собственная девочка
с младенцем
обвитым
ее
руками
слабая девочка
двужильная
семь лошадиных сил

помоет
навесит занавески
постирает погладит
подоит
прополет
заготовит на зиму
накопительница

ладно
живи дом без крыши
игра в счастье
при хорошей погоде
уют
приют
слабых
старух и детей

ты не для наших дождей

■

красила
раму
в чулане

сложила
лоскуты
в одеяло

времени
не хватает
сшить

последняя
неделя
в деревне

как хороша
жизнь

■

Сидели
над обрывом
над Окой

под зонтом
под дождем

Наташа
Маша
Аня
на лавке

Наташа
Аня
сидели

Маша (5 лет)
упала

плашмя
на землю

лежит
маленькая

вниз лицом
молчит

я ей позавчера
сказала
в деревне
не плачут

она
лежит
не плачет

наша
парализованная Маша
молчит

■

вот
и отъезд

лица
остающихся
детей

Кирилл
с Машей
на шее

Анюта
прыгает

солнечный вечер
в Ляхах

никто
не плакал

(в деревне
не плачут)

у Маши
в этот день
ее отец
Кирилл
вырвал
первый
зубик

Маша не плакала
(в деревне)

зато
они
пойдут теперь
в сельпо

покупать
Маше
подарок
на зубок

то-то радости
будет

наш отъезд
был украшен

зубом Маши

никто не плакал

я
в том
числе

■

НАТАША: Никуда не хочу
Ни в Москву
Ни в Муром
Хочу обратно в деревню

— Там же осень
все уедут
ни одного ребенка
одна Надя

Наташа:
— Ой бедная Надя
Совсем одна

— Ну почему одна
она с бабушками

— Ой бедная Надя
Одна с бабушками
— Осенью там плохо
идут дожди
Никого-никого
Антонина плакала
Ма, почему Антонина
плакала, когда нас провожала
— Говорила не пишете
обижаюсь не пишете
Зимой в деревне
день короткий
телевизор посмотрим
и спать
и спать

Не знают как мы их помним

РЕКВИЕМЫ

- Я люблю тебя 7
Еврейка Верочка 14
Дама с собаками 17
Мистика 21
Смысл жизни 25
Сирота 28
Кто ответит 31
Грипп 33
Богема 38
Медя 41
Гость 49
Элегия 54
Серёжа 61
Нюра прекрасная 66
О, счастье 69

В САДАХ
ДРУГИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

- Новые Робинзоны
(Хроника конца XX века) 73
Бог Посейдон 84
Новый Гулливер 87
Новый Фауст
(Отрывок) 92
Гигиена 99
Два царства 107
Черное пальто 113
Чудо 123
Луны 136

ПЕСНИ
ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

Случай в Сокольниках 141

Рука 143

Материнский привет 146

Новый район 150

Тень жизни 155

Жена 159

В маленьком доме 162

Фонарик 165

Месть 169

ТАЙНА ДОМА

Васеньки 173

Мост Ватерлоо 178

Тридцать лет 185

Перезимуем 196

Тайна дома 203

Сила воды 212

Нина Комарова 220

Мильгром 224

Теща Эдипа 229

КАРАМЗИН

(Деревенский дневник) 235

Литературно-художественное издание

ПЕТРУШЕВСКАЯ ЛЮДМИЛА СТЕФАНОВНА

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В 5 томах

Том 2

ИЗ ПЯТИ КНИГ

**Ответственный за выпуск В. В. Гладнева
Художественный редактор Ю. А. Модлинский
Технический редактор Е. В. Триско
Корректурa автора**

Подписано в печать с готовых диапозитивов 19.07.96. Формат 60×84¹/₁₆.
Бумага типографская. Гарнитура Тип Таймс. Печать офсетная. Усл.-
печ. л. 21,39. Усл. кр.-отт. 21,51. Уч.-изд. л. 17,64. Тираж 11 000 экз.
Заказ № 505.

«Фоліо». 310002, Харьков, ул. Чернышевского, 34.

ТКО АСТ. Лицензия ЛР № 060519. 143900, Московская обл.,
г. Балашиха, ул. Фадеева, 8.

При участии ТОО «Харвест». Лицензия ЛВ № 729 и МППО
им. Я. Коласа. Лицензия ЛВ № 82.

Минский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат МППО
им. Я. Коласа. 220005, Минск, ул. Красная, 23.

Качество печати соответствует качеству предоставленных
издательством диапозитивов.

2

DISTRIBUTED BY
EAST VIEW PUBLICATIONS
eastview@eastview.com
Fax (612) 559-2931
<http://www.eastview.com>

